

Евгения Марлитт Вторая жена

Глава 1

Над прудом высоко в синем весеннем небе виднелось неподвижное черное пятно. В серебристой воде играло множество рыб; все было здесь так уединенно и безмолвно, что даже старые гигантские деревья, окаймлявшие зеркальные воды, не могли защитить их обитателей от крылатого хищника, стремительно спускавшегося с поднебесья за добычей и нарушавшего веселую жизнь водяного царства. Сегодня, однако, он не решался спуститься, так как против обыкновения здесь было много людей: и взрослых и детей, и последние кричали, шумели и бросали в него своими пестрыми мячиками; распряженные для отдыха лошади громко ржали и копытами взрывали прибрежную землю, а сквозь верхушки деревьев неслись к небу легкие облачка дыма. Людской шум и дым не нравились хищнику, и он, мрачный, стал подниматься все выше и выше среди детских голосов, пока совсем не скрылся, точно тяжеловесное тело его рассыпалось и рассеялось в голубом эфире.

На левом берегу пруда ютилась рыбацья деревенька – домиков в восемь, разбросанных поодаль один от другого, под тенью столетних лип, ветви которых спускались так низко, что соломенные крыши приходились как раз под нижними ветвями; южная сторона домиков окружена была кустами шиповника и боярышника, вдоль стен развешаны были сети с сачками, а перед входными дверями стояли деревянные скамейки, – все это резко выделялось на светлом фоне прибрежья.

Но напрасно ваш взгляд стал бы искать мощные фигуры рыбаков: их не было тут и следа. Хорошо было и то, что громадный парк со своими вековыми деревьями совершенно скрывал лежавшую за ним столицу; думалось, что находишься в патриархальном центре сельской жизни, пока не отворялась дверь одного из домиков.

Если бы германский герцог мог предвидеть, что за безвинный малый Трианон блестящая французская королева поплатится впоследствии головой, то рыбацья деревенька, наверно, никогда не была бы построена; но он не обладал даром предвидения, потому это прелестное подражание вот уже более ста лет стояло на берегу пруда, представляя собою снаружи первобытную идиллию, внутри же вполне удовлетворяло всем прихотям избалованного роскошью человека. Если войти в один из домиков, то ваша нога тонула в богатейших пушистых коврах; мебель и стены были обиты тяжелыми шелковыми материями, простенки скрывались под зеркалами, хотя по наружности домики и кокетничали бедностью и простотою; но нельзя же было, на самом деле, обедать за белым деревянным столом, а тем более отдыхать после упоительной игры на жесткой деревянной скамейке.

Герцогский дом, одному из владельцев которого рыбацья деревня была обязана своим существованием, строго придерживался старого обычая, по которому каждый наследник престола должен был посадить липу на восьмом году от рождения. Таким образом луг, раскинутый на левом берегу пруда и прозванный Майенфестом, сделался историческою знаменитостью, нечто вроде генеалогической таблицы. Случалось, что посаженная герцогскою рукою липа не принималась, но в общем Майенфест обладал поистине редкими экземплярами: вековые исполины, стволы которых покрыты были серо-зеленоватым мохом, точно панцирем, простирали длинные ветви над своими потомками и над слабыми деревцами, которые – увы! – и здесь встречались, несмотря на то что были посажены рукою герцогского сына.

Сегодня, в мае, наступила знаменательная очередь наследному принцу Фридриху. Само собою разумеется, двор и лояльная столица праздновали этот день по предписанному издавна обычаю. Были приглашены все дети лиц, принимавшихся во дворе; менее счастливые, не имевшие ни баронской, ни дворянской короны, тоже выехали со своими родителями, чтобы хоть издали видеть, как природный принц будет управляться с заступом. За Вагенбургом тянулось по дорогам и тропинкам множество народа, а молодые парни влезали на деревья, служившие, бесспорно, самыми лучшими наблюдательными пунктами.

Торжество было двойное. Полтора года тому назад умер владетельный герцог, отец наследного принца, и только сегодня вдова его, красавица герцогиня, сняла долго продолжавшийся траур.

Она стояла тут же, возле только что посаженной липки. При взгляде на нее нельзя было ни минуты сомневаться в том, что она здесь царица всего собрания. Она была вся в белом, только у пояса приколот бледно-розовый цветок шиповника, да от пунцовой подкладки маленького зонтика, который она держала над непокрытой головой, падала розоватая тень на ее лицо, на прямой, остренький, очень маленький носик и полные, хотя и бледные губы. Поразительно не правильные черты лица, густые, как грива, с синеватым отливом волосы, легкая синева под глазами и тот восковой, безжизненный цвет лица, который так часто служит признаком страстной натуры, придавали ее лицу красоту испанской креолки, хотя, разумеется, в жилах немецкой герцогини не было ни капли этой крови.

Она следила за полетом хищника так же внимательно, как и толпа детей, сопровождавшая восторженными криками его исчезновение.

– Ты опять не кричал с нами, Габриель, – сердито заметил маленький мальчик стоявшему около него другому, постарше, белое полотняное платье которого резко отличалось от изящных костюмов прочих детей.

Мальчик не отвечал, а растерянно и смущенно опустил глаза, и это страшно рассердило младшего.

– Разве тебе не стыдно перед другими мальчиками, негодный мальчишка?.. Кричи сейчас ура! И мы тоже закричим, – приказывал и в то же время ободрял он.

Мальчик в белом платье тревожно отвернулся. Он пытался было уйти, как вдруг маленький мальчик с быстротою молнии приподнял свой хлыст и ударил им по лицу несчастного.

Остальные дети мигом разбежались, и дрожащий от гнева мальчик на несколько минут остался один. Это был идеально красивый ребенок, в изящном зеленом бархатном костюме, с чудными каштановыми локонами, полный силы и величия; наследный принц, брат его и вся их детская свита не могли бы с ним сравниться.

Бедная и испуганная наставница его поспешила к нему; но герцогиня предупредила ее и взяла его за руку, крепко сжатую в кулак.

Это нехорошо, Лео, – сказала она, но в голосе слышалось более нежности, чем гнева.

Мальчик резко высвободил свою руку из нежной, бархатной руки герцогини и, бросив искоса взгляд на удалявшегося, побитого им товарища, повернулся на каблучке.

– Что ж такое, – ворчал он, – и поделом ему! Папа его тоже терпеть не может и говорит: «Этот трус боится даже собственного своего голоса».

– Положим, что так, маленький упрямец; тогда для чего же ты настаиваешь, чтобы этот Габриель сопровождал тебя всюду? – спросила улыбаясь герцогиня.

– Потому... ну, потому, что я так хочу!

С этими словами Лео гордо поднял свою кудрявую головку и, повернувшись спиной ко всему обществу, как будто оно для него и не существовало, скрылся за одним из домиков. Он пошел в обход, чтобы достигнуть той старой липы, за которую спрятался обиженный им мальчик.

Бедняжка одиноко стоял, прислонившись к дереву. То был мальчик лет около тринадцати с выразительным, печальным лицом, худой, но со стройной, изящной фигуркой. Он намочил в пруду платок и приложил его к левой щеке, между тем как губы его нервно вздрагивали, быть может, менее от боли, какую причинил ему удар хлыстом, чем от внутреннего волнения.

Маленький Лео обошел вокруг него несколько раз, порывисто щелкая в воздухе хлыстом.

– Тебе очень больно? – спросил он вдруг коротко и резко, с мрачно сдвинутыми бровями, и топнул ногой.

Габриель отнял от лица платок, чтобы снова смочить его водою, причем на щеке его обнаружился шедший поперек щеки красный рубец.

– О нет, – отвечал Габриель кротким, в высшей степени симпатичным голосом, – только

жжет немного.

В одно мгновение хлыст очутился на земле, и с раздирающим душу криком Лео бросился на шею к Габриелю.

– Я слишком дурной мальчик! – воскликнул он. – Вон там лежит мой хлыст, Габриель, возьми его и прибей меня также!

Прочие дети смотрели, разинув рот, на этот неожиданный порыв горького раскаяния. Герцогиня тоже была недалеко; должно быть, странное ощущение овладело ею, потому что она стремительно бросилась к ребенку, прижала его к сердцу и стала осыпать поцелуями его красивое лицо.

– Рауль! – едва слышно прошептала она. – Ах, глупости! – проворчал мальчик, с силою освобождаясь из ее объятий. – Раулем зовут моего отца!

На бледных щеках герцогини вспыхнул яркий румянец, она выпрямилась и с минуту оставалась неподвижною, потом медленно повернула голову и робко и нерешительно оглянулась кругом; дамы, только что стоявшие неподалеку от нее, теперь исчезли за дверью ближайшего домика.

Глава 2

По дороге из столицы катился придворный экипаж; в глубине его сидел господин, а рядом с ним на голубых шелковых подушках лежали принадлежности для игры в крокет. Карета только что свернула на главную дорогу, пролегавшую вдоль пруда, как из чащи деревьев показался пешеход. Находившийся в карете господин тотчас же велел кучеру остановиться.

– Здравствуй, Майнау! – воскликнул он. – Не сердись на меня, если я замечу, что тебя ждут с замиранием сердца, а ты бродишь Бог знает где!.. Липа уже давно стоит, и ты лишил дом Майнау возможности с гордостью передавать из рода в род предание, что твоя рука держала ствол липы в то время, когда Фридрих двадцать первый засыпал землей ее корни.

– За это когда-нибудь завесят мой портрет траурным флером.

Господин в экипаже засмеялся и, отворив дверцу, движением руки пригласил Майнау сесть в экипаж.

– Как! Сесть в карету, Рюдигер? Нет, благодарю покорно! – воскликнул с комическим ужасом Майнау. – Я, слава Богу, еще не страдаю подагрой!.. Поезжай далее, с гордым сознанием исполненной тобою миссии! Ведь ты должен был привезти забытый крокет, счастливец?

Рюдигер выскочил из экипажа, захлопнул дверцу и, приказав кучеру ехать вперед, пошел вместе с Майнау по тропинке, ведущей через парк к рыбацкой деревне... Странно было видеть их вместе: приехавший в экипаже был маленьким, полным и чересчур подвижным; товарищ же его был очень высок, так что ему приходилось часто раздвигать нижние ветви деревьев, чтобы не задеть их головой. Этот человек обладал блестящей наружностью; в выразительном лице и во всех его движениях замечался какой-то демонический огонь, то кротко и мечтательно светившийся в его глазах, то через минуту заставлявший нежную, мягкую руку его сжиматься в кулак, точно она готовилась свалить на землю ненавистного противника. Своевольный мальчик, которого мы видели в рыбацкой деревне, был похож на него до смешного.

– Так пойдем! – сказал Рюдигер. – К несчастью, на обед сегодня мы не опоздаем ни в каком случае... брр!.. детская кашка и пудинги во всевозможных видах!.. Выговора я также не боюсь, потому что я приведу тебя с собою... А propos¹, ты, дня на два уезжал, как сообщил твой Лео герцогине?

– Да, уезжал, достойнейший друг.

Этот лаконичный ответ звучал такою иронией, что у маленького подвижного господина вопрос «куда?» так и замер на губах... Они только что вышли из чащи, как перед ними

¹ Кстати (фр.).

открылся вид на спокойную поверхность пруда и рыбацью деревеньку, расположенную по другую его сторону.

Под липами были расставлены покрытые белоснежными скатертями столы. Между ними и тем из домиков, в дверях которого был виден герцогский повар в белом колпаке, суевившийся у плиты, бегали взад и вперед официанты – готовился обед.

Взволнованная всех сцена, разыгранная маленьким Лео, была давно забыта; дети играли в разные игры, и все способные бегать принимали участие в игре: и грациозные фрейлины, и стройные камер-юнкеры. И даже менее подвижные кавалеры, толстяки и страдающие одышкой обер-гофмейстеры ковыляли, похлопывая в ладоши, среди групп резвившихся детей.

Герцогиня подошла так близко к берегу пруда, что вода едва не касалась ее ног. Точно белоснежный лебедь, тихо колыхалось ее отражение в зеркале воды. Некоторые из приближенных дам принесли ей венок из дикого винограда и полевых цветов; он окружал ее лоб, спускаясь длинными зелеными гроздьями на ее роскошную фигуру.

– – Офелия! – воскликнул барон Майнау вполголоса и с патетическим жестом, и в тоне, с каким он это произнес, прозвучал бесконечный сарказм.

Спутник его заволновался.

– Ну, к чему это, ведь это чистая комедия, Майнау! – воскликнул он в негодовании. – Это может быть хорошо с дамами, которые трепещут перед тобой, как овечки, а не со мной.

Он заложил руки в карманы своего легкого пальто, поднял плечи и начал, лукаво улыбаясь:

– Однажды жили-были прекрасная, но бедная принцесса и блестящий, красивый молодой человек. Они любили друг друга, и ее высочество хотела отказаться от своего высокого титула и сделаться простою баронессою... – Он на минуту умолк и бросил искоса взгляд на своего спутника, заметив, однако, как вдруг побледнел красавец барон и как, стиснув зубы, устремил такой жгучий взгляд в чашу, что, кажется, молодая листва должна была бы от него поблекнуть, и простодушно продолжал:

– Вдруг является кузен принцессы, владетельный принц, и просит ее прекрасной руки. Много горьких слез было пролито чудными черными глазами; но под конец гордая кровь восторжествовала над страстью, и принцесса допустила возложить герцогскую корону на свои роскошные черные локоны... Положив руку на сердце, Майнау, – вдруг с живостью прервал он самого себя, – кто бы мог осудить ее тогда? Разве только глупые люди!

Майнау не положил руки на сердце и ничего не ответил; он гневно сорвал маленькую ветку, дерзнувшую коснуться его щеки, и далеко отбросил ее.

– Как должно биться сегодня ее сердце! – сказал Рюдигер после минутной паузы; он, видимо, желал во что бы то ни стало продлить интересный для него разговор. – Траур по мужу кончен; герцогская гордость удовлетворена навсегда, потому что она герцогиня и всегда останется матерью владетельного принца, ты тоже свободен от своих брачных уз. Обстоятельства так отлично складываются... и теперь ты меня не надуешь!.. Мы знаем, что сегодня должно произойти.

– Как же вы проницательны, подумать только! – воскликнул Майнау с притворным изумлением.

С этими словами они вышли на открытую поляну, где стояли экипажи. Не желая быть замеченными резвившимися детьми и толпой народа, наши друзья предпочли идти по тропинке, пролежавшей вдоль берега.

– Эй, малый, с ума ты сошел! – воскликнул вдруг Майнау, схватив за шиворот здорового нищего мальчика, который, избрав себе очень опасный пост, качался, сидя на тонкой ветке, спустившейся над прудом, и, встряхнув его несколько раз, как мокрого пуделя, поставил на ноги. – Положим, что холодное купание не повредило бы тебе, любезный, – засмеялся он, похлопывая одна о другую руками, затянутыми в изящные перчатки, – только я сомневаюсь в твоём умении плавать.

– Фу, как он грязен! – сказал Рюдигер, брезгливо морщась.

– Это правда, но уверяю тебя, что я не особенно брезглив к подобным прикосновениям –

это просто плебейские замашки, в которых душа не принимает участия... Да, но, воля твоя, нам еще далеко до того совершенства, когда и тело наше проникнется аристократизмом и подобные замашки сделаются для него невозможными. Что? Ты не согласен?

Рюдигер с досадой отвернулся и ускорил шаг.

– Твой геройский подвиг замечен там, на Майенфесте, – сказал он торопливо. – Вперед, Майнау! Герцогиня покидает свое место... А вот и твой необузданный мальчик бежит!

Маленький Лео, обогнув пруд, быстро бежал навстречу к отцу. Барон Майнау нежно поцеловал сына и повел его за руку.

Между тем игры на Майенфесте продолжались; герцогиня в сопровождении нескольких дам и кавалеров медленно приближалась к ним... Она обладала еще и воздушной походкой, неподражаемой грацией и гибкостью креолки... Да, мрачное, траурное платье было сброшено, как сбрасывает пестрая легкокрылая бабочка безобразную куколку. Условия долга и приличия были строго соблюдены, наконец можно было надеяться на счастье, и глаза могли беспрепятственно гореть ярким пламенем страсти, как это было в настоящую минуту.

– Я должна побранить вас, барон Майнау, – сказала она нетвердым голосом. – Вы сейчас испугали меня своим героизмом, а потом вы являетесь слишком поздно.

Он снял шляпу и, держа ее в правой руке, низко склонил голову. Луч солнца заиграл на темных кудрях этого загадочного человека, перед которым женщины трепетали, «как овечки».

– Я вместе с другом Рюдигером мог бы заявить, как я несчастлив, – возразил он, – но боюсь, что ваше высочество не поверит мне, когда я сообщу, что именно меня удержало.

Герцогиня удивленно взглядела в его лицо – оно немного побледнело, но взгляд его, почти всегда загадочный, горел таким диким торжеством, что она невольно прижала руку к сердцу; маленькая роза у пояса сломалась и упала незамеченная к ногам красавца.

Напрасно ждал он вопроса царственной женщины: она молчала и тоже ждала, затаив дыхание. После минутного молчания он, почтительно поклонившись, продолжал:

– Я был в Рюдисдорфе, у тетки моей Трахен-берг, и осмелюсь доложить вашему высочеству, что обручился там с Юлианой, графиней Трахен-берг.

Все присутствовавшие при этом разговоре точно окаменели; у кого достало бы мужества хотя бы одним звуком прервать это ужасное молчание или хотя бы бросить нескромный взгляд на герцогиню, которая стояла пораженная, крепко сжав побелевшие губы?... Только племянница ее, молодая принцесса Елена, весело и непринужденно засмеялась.

– Что за дикая фантазия, барон Майнау, избрать себе жену с именем Юлиана?... Юлиана! Фу! Ее иначе себе и представить нельзя, как с очками на носу.

Майнау тоже засмеялся, и как мелодично и простодушно звучал его смех!.. Это был спасительный исход. Герцогиня тоже улыбнулась своими смертельно бледными губами. Она сказала несколько слов жениху таким невозмутимо спокойным голосом и с таким достоинством, как может приветствовать своего подданного только повелительница.

– Mesdames, – непринужденно обратилась она к группе молодых фрейлин, – к сожалению, я должна снять ваш прелестный венок: он давит мне виски, а потому я удаляюсь на минуту... До свидания за обедом!

Она отказалась от услуг, предложенных ей одной из придворных дам, вошла в один из домиков и затворила за собой дверь.

Цвет лица ее всегда напоминал нежную белую лилию, а прекрасные глаза нередко горели тем жгучим огнем, в котором сказывается южная кровь; она, по обыкновению, улыбалась и приветливо кланялась и исчезла за дверью подобно воздушной фее. Никто и не предполагал, что, войдя туда, она, как подкошенная грозой ель, бессильно упала на устланный мягким ковром пол близ кушетки, с безумным хохотом сорвала с головы венок и, невыносимо страдая, вонзила тонкие ногти свои в драгоценную шелковую обивку... Только на одну минуту, так как все ее время было строго рассчитано придворным этикетом, она могла предаться охватившему ее горю, а затем эти бледные губы должны были опять улыбаться, чтобы окружающие могли сохранить убеждение, что кипучая кровь ее спокойно и бесстрастно течет в ее жилах.

Между тем барон Майнау стоял с сыном, которого по-прежнему держал за руку, на берегу

пруда и, по-видимому, с любопытством присматривался к движению толпы у Вагенбурга. Его поздравили, но все придворное общество казалось парализованным, и вскоре он остался один. Вдруг Рюдигер подошел к нему.

– Ужасная месь! Блестящий реванш! – проговорил он, и голос его еще дрожал от ужаса. – Бррр... и я скажу, как Гретхен: «Генрих, мне страшно за тебя!..» Боже мой! Видел ли кто когда-нибудь, чтобы мужчина удовлетворил свое оскорбленное самолюбие так жестоко; так утонченно и так безжалостно поразил свою жертву, как ты сделал это сейчас?.. Это безумно, смело, возмутительно!

– Потому что я выразился не в общепринятой форме и не заявил: «Теперь я не хочу!..» Неужели вы думаете, что я позволю себя женить?

Маленький подвижный господин искоса робко взглянул на него: этот утонченно вежливый Майнау бывал иногда очень резок, чтобы не сказать – груб.

– Я утешаю себя тем, что при всей твоей жестокой и непреодолимой гордости ты все-таки очень страдаешь, – сказал он почти сердито после непродолжительного молчания.

– Надеюсь, что ты представишь мне полное право самому справиться с собою.

– Ах, Боже мой! Разумеется... Но что же дальше?

– Что дальше? – рассмеялся Майнау. – Дальше свадьба, любезный Рюдигер.

– В самом деле?.. Да ведь ты никогда не бывал в этом Рюдисдорфе, – это я наверно знаю... Значит, это наскоро приобретенная невеста из Готовского альманаха?

– Угадал, друг.

Гм!.. Она знаменитого рода, но... но Рюдис-дорф, как известно, теперь опустел... Какова же она собою?

– Добрейший Рюдигер, это двадцатилетняя жердь с рыжими волосами и потупленными глазами – больше я ничего не знаю. Ее зеркало должно лучше это знать... А, да что в этом?.. Мне не нужно ни красивой, ни богатой жены – она должна быть только добродетельна, не должна беспокоить меня своим поведением, за которое не пришлось бы мне краснеть. Ведь ты знаешь мои воззрения на брак.

Та же самая жестокая, гордая улыбка, которая только что заставила побледнеть герцогиню, промелькнула на его губах – очевидно, он вспомнил о «блестящем реванше».

– Что же мне остается делать? – спросил он с наивной беззаботностью после некоторого молчания. – Дядя прогнал гувернера Лео за то, что тот по ночам читал лежа в постели и носил сапоги со скрипом, а наставница имеет скверную привычку немилосердно прятать глаза и мимоходом тайком лакомиться с подносов конфетами – она просто невозможна! Я же намерен в непродолжительном времени предпринять путешествие на восток, ерго – мне нужна дома жена... Через шесть недель назначена моя свадьба, – хочешь быть у меня шафером?

Маленький господин переминался с ноги на ногу.

– Что же с тобой поделаешь! Разумеется, я должен быть, – возразил он полугневно, полушутливо, – потому что из тех, – и он указал на группу перешептывавшейся и пересмеивавшейся молодежи, – из тех никто не пойдет к тебе в шафера, в этом ты можешь быть уверен.

– Слышишь, Габриель, – сказал вслед за тем взволнованный маленький Лео своему товарищу, – новая мама, которая к нам скоро придет, похожа на жердь, говорит папа, и волосы у нее рыжие, как у нашей судомойки... Я ее терпеть не могу, я не хочу ее и стану бить ее хлыстом, когда она придет.

Глава 3

– Посмотри-ка, Лиана, подарок Рауля! Он стоит шесть тысяч талеров! – послышался голос графини Трахенберг из другой комнаты, после чего она сама показалась на пороге.

Зал, куда она вошла, находился в нижнем этаже одного из боковых флигелей замка. Весь передний фасад его представлял одну сплошную стеклянную раму гигантских размеров с тонкими свинцовыми переплетами, отделявшую покои нижнего этажа от площадки этой

террасы, с которой открывался вид на лужайки, полные цветов и прорезанные дорожками, усыпанными мелким гравием; на перекрестках этих дорожек стояли скульптурные группы из белого мрамора. Весь этот изящный цветник был окружен рощей, казавшейся непроходимым лесом, и как раз против средней стеклянной двери зала пролегла сквозь всю чащу леса бесконечной длины прямая аллея, заканчивавшаяся высоко бившим фонтаном, освещенным теперь чудным сиянием майского солнца.

В общем замок и сад были образцовым произведением старофранцузского вкуса; но – увы! – на каменном фундаменте террасы зеленел мох, ступени поросли травой, которая пробивалась уже на дорожках, и даже на широкой аллее виднелась изумрудная трава... Но чего только не рассмотрел потолок прилегавшего к террасе зала, украшенный великолепно живописью!.. Теперь он с грустью нависал над расставленной по стенам мебелью в стиле рококо. Эта мебель, уже вышедшая из моды, давно была изгнана из парадных комнат замка, перенесла все стадии унижения и, наконец, дожила до того, что была перенесена в комнату конюха и в числе прочего хлама скрывалась под густым слоем пыли... Но вот она опять очутилась на прежнем месте, как неподкупный свидетель превратностей судьбы. Вытеснившая ее когда-то роскошная обстановка: новая изящная мебель, кружевные гардины, часы, картины, зеркала, – все подверглось общей неизбежной участи, все пошло с молотка и разошлось на все стороны, и тогда-то старинная мебель, не подлежавшая как фидеикоммис секвестру, наложенному на все имущество графа Трахенберга, поставлена была на прежнее место. Этот «постыдный признак беспокойного времени, возмутительная победа, которую правосудное небо не должно было бы допускать», как постоянно повторяла графиня Трахенберг, случился четыре года тому назад.

Среди этого зала стоял длинный дубовый стол, за одним концом которого сидела девушка, поразительно некрасивая собой. Можно было просто испугаться при виде этой непомерно большой головы, с жесткими рыжими волосами и с физиономией негра, с тою только разницей, что кожа ее, хотя и покрытая веснушками, была необыкновенно бела и нежна. Только проворно работавшие руки были чудно хороши, точно изваянные из мрамора. Девушка вертела между пальцами ветку лиловой сирени, и казалось, чудный аромат исходил от этой ветки и наполнял комнату – так свежа была она; но стебелек ее в эту минуту обвивался тонкой полоской зеленой бумаги, почему только и можно было догадаться, что это был искусственный цветок.

При входе графини девушка вздрогнула от испуга, цветок полетел в сторону к прочим материалам, а на молчаливых свидетелей ее занятий был брошен платок.

– Ах, мама! – воскликнула вполголоса молодая девушка, стоявшая у другого конца стола, спиною к двери.

Волосы ее, белокурые с красноватым отливом, были совершенно распущены и, подобно золотой мантии, покрывали ее плечи до самого подола ее светлого кисейного платья.

Увидав ее с распущенной косой, графиня на секунду замедлила шаги.

– Почему ты так растрепана? – спросила она коротко, указывая на волосы.

– Я возвратилась домой с сильной головной болью, милая мама, и поэтому Ульрика расплела мне косы, – робко ответила молодая девушка. – Ах, это ужасная тяжесть! – вздохнула она и закинула голову, как бы изнемогая под этой тяжестью роскошных волос.

– Ты опять бродила по этой жуткой жаре и на несла сюда негодной травы для забавы мужиков? – спросила графиня гневно и строго. – Когда же настанет конец этому ребячеству?

Она пожала плечами и бросила презрительный взгляд на стол. На нем лежала целая кипа папиросной бумаги рядом с прессом, из-под которого молодая девушка только что вынула несколько орхидей, чтобы уложить их в гербарий. Ее сиятельство графиня Трахенберг, урожденная княжна Лютовиская, знала очень хорошо, что старшая дочь ее, графиня Ульрика, занималась изготовлением искусственных цветов, которые посылались в Берлин, где очень хорошо оплачивались; дело) I о велось с помощью старой кормилицы, и никто не подозревал, что голова искусной художницы украшалась графской короной... Графине также было известно и то, что ее единственный сын и наследник замка Трахенберг с помощью сестры своей

Юлианы отлично высушивал презренную, негодную траву и в виде сборника образцов чужеземной флоры продавал в Россию под чужим именем. Но урожденная княжна Лютовиская не должна была этого знать – и горе той руке, которую она застала бы за неприличной работой, или языку, который решился бы намекнуть об источниках увеличения доходов семьи: это было просто забавой, на которую следовало смотреть сквозь пальцы, – и более ничего!

Проходя мимо, графиня подхватила волосы дочери и взвесила на руке их «ужасную тяжесть»; что-то похожее на чувство материнской гордости промелькнуло на ее еще прекрасном, с резко очерченными чертами лице.

– Рауль должен бы это видеть, – сказала она. – Глупенькая, ты скрыла от него свое лучшее украшение!.. Я никогда не прощу тебе тех огромных бархатных бантов, которые ты придумала надеть на голову в первый визит его к нам... С такими волосами...

– Да ведь они рыжие, мама.

– Вздор! Вот эти рыжие, – сказала она, указывая на другую дочь, Ульрику. – Боже меня избави от двух рыжих голов! За что такое жестокое наказание?

Графиня Ульрика, вынувшая между тем из кармана какое-то вышивание, сидела, как статуя, и слушала беспощадные слова эти с невозмутимым спокойствием. Ни один мускул на ее лице не дрогнул: ведь ее красавица мать была права; но сестра подбежала к ней и, ласкаясь, положила голову ей на грудь, а потом принялась с нежностью целовать ее рыжие волосы.

– Сентиментальности без конца! – раздражительно проворчала графиня Трахенберг и положила на стол принесенный с собой большой пакет.

Взяв со стола ножницы, она торопливо вскрыла его и вынула оттуда футляр с ожерельем и белую шелковую материю, затканную серебряными арабесками.

С необыкновенною жадностью бросилась она на футляр, открыла его и, закинув назад голову, устремила испытующий взгляд на подарок; при этом она едва могла совладать с охватившим ее чувством неприятного удивления и зависти.

– Посмотрите-ка! Моя скромная овечка предстанет пред алтарем прекраснее, нежели прославленная княжна Лютовиская, – проговорила она медленно, подчеркивая каждое слово и играя в лучах солнца ожерельем из брильянтов и крупных смарагдов. – Да, конечно, для Майнау это возможно!.. А ваш отец был бедняк, я должна была бы еще тогда это заметить.

Ульрика вскочила, как будто мать ударила ее по лицу; в некрасивых, но выразительных, опущенных длинными ресницами голубых глазах ее сверкнула искра негодования; но тотчас же, овладев собой и протергивая зеленую нить в шитье, она сказала серьезным, монотонным голосом:

– Трахенберги обладали тогда большим состоянием, равнявшимся полумиллиону. Они, кажется, всегда отличались бережливостью и умением жить, и мой дорогой отец оставался верен этим добродетелям до сорокового года своей жизни, когда он женился... Я работала вместе с чиновниками, чтобы пролить свет на этот хаос, а поэтому знаю, что отец обеднел только вследствие своей безграничной уступчивости.

– Бессовестная! – закричала графиня, и приподнятая рука ее невольно сжалась в кулак, но в ту же минуту с презрительным жестом опустилась. – Ты всегда защищаешь твоих Трахенбергов; у меня с тобой ничего нет общего, кроме того, что я должна была дать тебе жизнь. Ты в этом еще больше убедишься, когда посмотришь на всех своих предков, собранных в портретной галерее, где рыжеволосые обезьяны покрывают стены сверху донизу! Недаром я плакала и проклинала судьбу, когда тридцать лет тому назад положили мне на колени новорожденное чудовище, живую Трахенберг!

– Мама! – воскликнула Лиана.

– Успокойся, успокойся, дитя! – уговаривала ее, кротко улыбаясь дрожащими губами, сестра. Она свернула свое вышивание и поднялась с места. Обе сестры были одинакового роста, стройные, как сильфиды, с благородными красивыми руками и ногами, гибкой талией и детски неразвитым бюстом.

В то время как мать гневно бросила на стол футляр с ожерельем, Ульрика не спеша развернула шелковую материю. Необыкновенно плотная, она скорее походила на парчу времен

наших прабабушек, и такая тяжелая, что выскользнула из ее рук и, шурша и шипя, упала на паркет. Бросив испуганный взгляд на драгоценную ткань. Лиана отвернувшись, устремила свои взоры в сад и стала всматриваться в даль так пристально, как будто задалась задачей пересчитать золотистые брызги отдаленного фонтана, сверкавшие на солнце подобно алмазам.

– Ты будешь величественной невестой. Лиана... Ах, если б отец мог видеть тебя! – воскликнула Ульрика.

– Рауль издевается над нами, – прошептала глубоко оскорбленная девушка.

– Он издевается над нами? – переспросила графиня, от тонкого слуха которой не ускользнули слова дочери. – В уме ли ты? Не будешь ли ты так любезна объяснить мне, каким образом может он издеваться над Трахенбергами?

Лиана молча указала на полинявшую материю старомодной мебели, возле которой лежало роскошное подвенечное платье.

– Можно ли вообразить себе более поразительный контраст, мама? Разве это не бестактно, не унижительно перед лицом бедности? – возразила она, стараясь преодолеть страх, внушаемый ей матерью.

Графиня Трахенберг всплеснула руками:

Боже мой! И это я, я произвела на свет такие пустые головы с плебейскими воззрениями, которые меряют свое высокое положение на аршин торгаша?... Унижительно! И это говорит графиня Трахенберг!.. Ты снисходишь до Майнау, делая эту партию... Пойми ты это!.. Неужели я должна напоминать тебе, что твоя мать происходит по прямой линии от польских королей, а твои предки со стороны отца еще до крестовых походов были владетельными князьями?... И если бы Рауль поверг к твоим ногам сокровища всего мира, то и тогда он не оплатил бы знатности твоего безупречного рода... Он не насчитает и десяти поколений предков, и ты, выходя за него, скорее делаешь *mesalliance*. Если бы мне не была невыносима мысль, что у меня дома торчат две незамужние дочери, то я никогда не согласилась бы на его предложение. Он и сам хорошо это знает, в противном случае он не взял бы тебя так необдуманно.

Молодая девушка стояла неподвижно, опустив сложенные руки. Красновато-золотистые волосы ее падали теперь и на грудь, почти скрывая ее профиль, между тем как сестра ее молча скорыми шагами ходила взад и вперед по залу.

В эту минуту дверь, выходящая в коридор, осторожно отворилась, и в ней показалась старая кормилица, исправлявшая теперь должность кухарки.

– Осмелюсь доложить вашему сиятельству, – сказала она почтительным, тихим голосом, – почтальон еще тут; он не хочет больше ждать.

– Ах, да! Я совсем забыла о нем. Ну, пусть он еще подождет, пока я выйду к нему. Дай ему чашку кофе в кухне, Лена!

Служанка ушла, а графиня вынула из кармана записку.

– Почтальону надо дать на чай, да по этой повестке мы должны уплатить сорок талеров. Реймские купцы до того дерзки, что высылают заказанное мною для свадьбы шампанское наложенным платежом!.. Заплати! – обратилась она лаконически к Ульрике, подавая ей счет.

Яркая краска разлилась по некрасивому лицу дочери.

– Ты заказала шампанское, мама! – воскликнула она с изумлением. – О Боже, и на такую громадную сумму!

Графиня Трахенберг злобно усмехнулась, показав при этом целый ряд искусственных зубов.

– Неужели же ты думала, что я стану угощать гостей на свадебном завтраке смородиновой наливкой твоего собственного изготовления? Впрочем, как я уже говорила, я никак не ожидала такой бессовестности со стороны купцов, чтобы требовать немедленной уплаты денег, – она пожала плечами. – Теперь приходится, как говорят, *faire bonne mine au mauvais jeu*² и уплатить.

² Делать хорошую мину при плохой игре (фр).

Молча отперла Ульрика письменный стол и вынула оттуда два свертка с деньгами.

– Вот все наше достояние, – сказала она коротко и решительно. – Тут тридцать пять талеров, но на них нам надо жить, потому что не в одном Реймсе отказывают нам в кредите: во всей окрестности не дают нам ни одного лота мяса без немедленной уплаты денег. Ты не можешь этого не знать, мама.

– Разумеется; моя мудрая дочка Ульрика довольно часто проповедует мне на эту излюбленную ею тему.

– Я вынуждена идти на это, мама, – спокойно возразила Ульрика, – так как ты часто забываешь, да, впрочем, это понятно, что наши кредиторы сократили цифру нашего годового дохода с двадцати пяти тысяч до шестисот талеров.

Графиня Трахенберг зажала уши и бросилась к одной из стеклянных дверей; все жесты этой величественной дамы напоминали избалованного ребенка. Она рванула дверь, хотела было выбежать вон, но вдруг остановилась, точно вспомнила что-то.

Ну, хорошо, – проговорила она, снова хлопнув дверью, по-видимому уже спокойнее, – только шестисот талеров. Но позвольте же, наконец, спросить, куда они тратятся?.. Едим донельзя скудно, – какой-то нищенский суп; Лена кормит нас рисом, яйцами да молочными кушаньями до тошноты, а порции пекко, которыми ты ежедневно угощаешь нас, становятся все гомеопатичнее. К 1 ому же я облеклась в этот вечный мундир, – тут она указала на свое черное шелковое платье, который вы сообразовали подарить мне к Рождеству. Все, что могло сделать мою отшельническую жизнь сколько-нибудь сносной, новейшие французские книги, конфеты, духи – все это давно сделалось для меня недоступным... а потому я справедливо заключаю, что у тебя денег на расход больше, нежели ты показываешь!

– Ульрика никогда не лжет, мама! – воскликнула возмущенная Лиана.

– Не могу же я отослать назад на почту повестку, – невозмутимо сказала графиня. – Прошу закончить эту комедию и уплатить деньги по счету.

– Но откуда же я возьму их?.. Надо отправить вино назад! – ответила спокойно Ульрика.

Мать с громким воплем бросилась навзничь на диван и разразилась истерическим хохотом.

Спокойно, со скрещенными руками стояла Ульрика у изголовья дивана и смотрела, как билась и металась графиня в припадке истерики, и на губах ее мелькала горькая, ироническая улыбка.

– Бедный Магнус! – прошептала Лиана, указав на дверь соседней комнаты. – Он там, как встревожится он от этого шума!.. Пожалуйста, мама, успокойся! Магнус не должен видеть тебя в этом состоянии: что он подумает? – обратилась она не то просительно, не то с упреком к матери.

Возмутительная сцена, которую дочери старались предотвратить всевозможными уступками и покорностью, все-таки разыгралась до конца. Лианой овладело справедливое негодование, какое ощущает человек с характером при виде подобного малодушия. Молодая девушка дрожала уже не от страха – было что-то уверенное в движении, с которым она подняла руку, серьезно уговаривая мать. Но проповедь ее была гласом вопиющего в пустыне: крики и хохот продолжались.

Дверь в соседнюю комнату действительно отворилась, и Лиана побежала к ней.

– Уйди, Магнус, останься там! – попросила она детски растроганным голосом и с нежностью постаралась удержать входившего брата.

На самом деле не требовалось большой силы, чтобы не впустить в комнату этого худенького, деликатного молодого человека.

– Пропусти меня, маленький Фамулус, сказал он ласково; умное лицо его светилось радостью. – Я все слышал и принес пособие.

Но при виде графини, бившейся в судорогах на диване, он невольно остановился на пороге.

– Мама, успокойся, – сказал он несколько дрожащим голосом, подходя к ней. – Ты можешь заплатить за вино. Вот деньги, пятьсот талеров, милая мама!

И он высоко поднял руку, в которой держал банковские билеты.

Ульрика тревожно глядела ему в лицо; она сильно покраснела, но брат этого не заметил. Он небрежно бросил деньги на диван, где лежала мать, и развернул принесенную с собой книгу.

– Посмотри, душа моя, вот она наконец! – сказал он растроганной Лиане.

Лежавшая на диване графиня начала успокаиваться. Со стоном провела она по глазам рукой, и сквозь сжатые пальцы ее взгляд, вдруг сделавшийся сознательным, устремился на книгу, которую сын держал в руке.

– Только не возгордись, мой милый маленький Фамулус! – проговорил Магнус. – Наша рукопись возвращается к нам изящным изданием. Она одобрена наукой и победоносно проходит сквозь перекрестный огонь критики; ах. Лиана, прочти письмо издателя!

– Молчи, Магнус! – сурово и повелительно прервала его Ульрика.

Но графиня Трахенберг уже сидела на диване.

– Что это за книга? – спросила она. Ни в грозных чертах ее лица, ни в повелительном голосе не было заметно и следа только что прекратившегося истерического припадка.

Ульрика поспешно взяла из рук брата книгу и обеими руками прижала ее к груди.

– Это сочинение об ископаемых растительного царства, написанное Магнусом, а Лиана снабдила его рисунками, – объяснила она коротко.

– Подай сюда, я хочу ее видеть!

Взглянув с упреком на брата, Ульрика подала нерешительно книгу; Лиана же побледнела и, судорожно сжав свои тонкие пальцы, закрыла ими лицо: она с самого детства привыкла бояться этого выражения на лице матери, как едва ли боялась адских мук, которыми грозила ей когда-то няня.

– «Ископаемые растения, сочинение графа Магнуса фон Трахенберга», – громко прочла графиня.

Гневно сжав губы, она с минуту пристально и уничтожающим взглядом смотрела поверх книги в лицо сына.

– А где же имя художника? – спросила она, повертывая заглавный лист.

– Лиана не захотела напечатать своего имени, – сказал молодой человек совершенно спокойно.

– А, так хоть в одной из этих голов нашлась искра здравого рассудка, слабое сознание своего положения!

Она принужденно захохотала и отбросила от себя толстый том с такою силой, что он с шумом пролетел сквозь открытые окна на каменные ступени террасы.

– Вот где место этой чепухе! – воскликнула она, указывая на книгу, которая при падении открылась на одном из великолепных рисунков, изображавших допотопный папоротник. – О, трижды счастливая мать, какому сыну дала ты жизнь! Слишком малодушный, чтобы сделаться солдатом, слишком ограниченный, чтобы быть дипломатом, он, потомок князей Лютовиских, последний граф Трахенберг, унижает себя до того, что сочиняет книги за плату!

Со страстным порывом неудержимого горя Лиана обвила своими руками худенькие плечи брата, который, видимо, всеми силами старался сохранить наружное спокойствие при этих оскорблениях.

– Мама! Как можешь ты оскорблять Магнуса? – вспылила молодая девушка. – Ты называешь его малодушным? Но не он ли семь лет тому назад, с опасностью для собственной жизни, вытащил меня из пруда? Да, он решительно отказался от военной службы, но только потому, что его кроткое и мягкое сердце противится кровопролитию... По-твоему, он слишком ограничен, чтобы быть дипломатом, – он, неутомимый и глубокий мыслитель? О мама, как ты жестока и несправедлива к нему! Он ненавидит лицемерие и не хочет осквернять своего благородного и высокого ума шахматными ходами дипломатического искусства... Я тоже горжусь, очень горжусь своим старинным родом, но никогда не пойму, почему дворянин должен непременно владеть мечом или быть дипломатом.

– А теперь я спрошу, – прервала сестру Ульрика, выходявшая поднять книгу, – что

достойнее имени Трахенбергов – быть ли творцом замечательного труда или считаться в числе неоплатных должников?

– О, ты! – прошипела графиня, задыхаясь от гнева. – Ты, бич моей жизни! – И она, как безумная, несколько раз пробежала по залу. – Впрочем, не понимаю, что же заставляет меня жить с тобою, – сказала она вдруг со зловещим спокойствием. – Ты уже давно пережила тот возраст, когда цыпленку нужно еще покровительственное крыло матери. Я слишком долго терпела тебя, теперь даю тебе волю, неограниченную волю. Поезжай, если хочешь, в продолжительное путешествие по всему свету, ступай куда угодно, только поторопись очистить мой дом от твоего присутствия!

Граф Магнус схватил руку девушки. Все трое – брат и две сестры – стояли, дружно обнявшись, перед бессердечной женщиной.

– Мама, ты вынуждаешь меня в первый раз заявить о моих правах как наследника Рюдисдорфа, – сказал тихий, кроткий ученый, покраснев от волнения. – Пред лицом кредиторов только я имею право на замок и на доходы с него... Ты не можешь лишать Ульрику родного крова, – она остается у меня.

Графиня повернулась к нему спиной и направилась к двери. Сын был так неоспоримо прав, что у нее не нашлось ни одного слова для возражения. Она уже взялась было за ручку двери, но вдруг обернулась к нему еще раз.

– Ты не смей ни одного гроша из этих предательских денег смешивать с нашей расходной кассой! – приказала она Ульрике, указав на лежавшие на диване пятьсот талеров. – Я лучше с голоду умру, нежели дотронусь до чего-нибудь, купленного на эти деньги... За вино я сама заплачу. Слава Богу, у меня довольно еще серебра, уцелевшего от крушения. Пусть же это серебро, на котором ели мои предки, будет обращено в деньги, по крайней мере мне будет утешением сознание, что я чисто по-княжески угощаю гостей, а не на заработанные деньги... Ты не замедлишь получить достойное наказание, – обратилась она к Лиане, – за то, что и ты восстала против матери! Переезжай только в Шенверт! Рауль, а еще более его старый дядя, Майнау, вытрясут из тебя сентиментальные и ученые бредни.

С этими словами она вышла, так сильно хлопнув дверью, что эхо этого стука разнеслось по всем сводам отдаленных коридоров.

Глава 4

Прошло пять недель после этой сцены в замке Рюдисдорф. Теперь в нем шли большие приготовления к свадьбе. Лет шесть тому назад при подобном событии этот стеклянный замок походил бы на муравейник, потому что графиня любила окружать свою особу такой массой раболепствовавшей перед ней прислуги, как какой-нибудь индийский раджа. Лет шесть тому назад златокудрая фея встретила бы своего жениха со сказочным великолепием, роскошнейшими пиршествами в залитых морем огней обширных залах замка; теперь же жених брал свою невесту из глубины запущенных садов, из опустелого замка, украшенного статуями, мраморные колонны которого, свидетели минувшего счастья, затянуты были паутиной, точно грязными занавесами... В большом зале арендатор ссыпал зерновой хлеб; все окна были закрыты белыми ставнями, и, если сквозь них проникал солнечный луч, он падал на невыметенный паркет и совершенно пустые стены.

Хорошо еще, что гордые предки с их панцирями, шлемами и шляпами, украшенными перьями, на рыжих волосах, и дамы в воротниках *a la Marie Stuart* и в пышных платьях из золотой парчи не могли выглянуть из роскошных рам, которыми украшалась портретная галерея, и бросить взгляд в зал, прилегавший к террасе, – они, наверное, выронили бы роскошные веера из павлиньих перьев или бледную розу из своих белых нежных пальцев и в ужасе всплеснули бы руками, потому что там, перед старинною мебелью, на коленях стояла Ульрика – настоящая Трахенберг, как называла ее графиня-мать, – и обдирала старую, съеденную молью обивку с дивана и кресел, заменяя ее пестрым ситцем, который прибавала сама, своими графскими руками. Старая Лена усердно вытирала с мебели пыль, стараясь

придать ей более лоску. Благодаря вовремя присланным издателем деньгам стояли тут новые соломенные кресла и плетеные подставки для цветов. По белым стенам опять вился зеленый плющ, а из групп широколистных растений спускались до самого пола ветви клематиса и дикого винограда. В пустом до того помещении стало снова так мило и уютно, как и подобало быть в зале, где назначен завтрак после венчания.

Во время этих приготовлений Лиана, вооружившись маленьким заступом и жестяным ящичком для растений, ходила вместе с братом по лесам и полям, собирая растения для гербария, точно до этих свадебных приготовлений ей не было никакого дела. Брат же ее, созерцая чудеса природы, совершенно забыл, что его маленький Фамулус, никогда с ним не разлучавшийся и всегда вместе с ним трудившийся, теперь должен будет покинуть его; а с уст сестры часто слетали латинские названия или критические замечания, но ни разу не было произнесено имя жениха. Странная была л о невеста!

В родительском доме ей иногда случалось слышать имя Майнау, один из князей Лютовиских был женат на ком-то из Майнау, но между отдаленными родственниками никогда не существовало близких отношений. Вдруг графиня Трахенберг стала получать из Шенверта письма, на которые очень ревностно отвечала, и однажды ее сиятельство объявила своей младшей дочери, что дальний родственник ее, барон фон Майнау, просит ее руки, на что и получил согласие графини; а чтобы не допустить никаких возражений, она заявила, что и сама была помолвлена точно так же и что это единственная приличная их положению форма помолвки... Потом неожиданно приехал и жених. Лиана едва успела прикрыть большими бархатными бантами растрепавшиеся от ветра волосы, как ее позвали в комнату матери. Что потом было – она смутно помнила. Высокий красивый мужчина, стоявший до ее появления в оконном простенке, пошел ей навстречу; весеннее солнце, светившее в окно, было так ослепительно, что она принуждена была потупить глаза. Потом он отечески, дружелюбно говорил с ней о чем-то и, наконец, протянул ей руку, в которую она по приказанию матери, а еще более по предшествовавшим тайным и неотступным просьбам Ульри-ки положила свою руку. Тотчас же вслед за этим он уехал, к несказанному удовольствию графини Трахенберг, мысли которой во время помолвки, точно привидения, носились в пустых погребках, где виднелись только бутылки со смородиновой наливкой; а старая Лена напрасно ломала себе голову, как бы ухитриться приготовить обед для графского стола, имея в запасе всего пяток яиц да остаток жареной телятины.

Все, что касалось свадьбы, было решено женихом и матерью невесты письменно, и только свадебный подарок сопровождался коротенькой запиской к Лиане, запиской, правда, изысканно вежливой и любезной, но зато холодной и формальной. Да и Лиана пробежала ее равнодушно, и с тех пор эта записка лежала в ящичке вместе с подарком.

Все было так безукоризненно прилично и так «аристократично», а «повиновение» Лианы так беспрекословно, что графиня осталась вполне довольна и через несколько дней после бурной сцены стала опять обедать вместе с детьми и даже иногда обращалась к ним с милостивым словом. Конечно, она не знала, как сильно страдала молодая девушка от предстоящей разлуки; впрочем, она умела скрыть это даже и от брата с сестрой...

Настал день свадьбы. Проснувшееся июльское утро было пасмурно и сыро. После жарких сухих дней шел освежительный дождик и серебристыми каплями падал на широкие листья растений и пестрые лужайки. На ветках деревьев и кустарников и на крыше замка громко чирикали птички, а старая Лена, хлопотавшая около плиты, загляделась в окно, радуясь, что венки невесты будут окроплены дождем.

Одна только карета, да и та нанятая на ближайшей станции железной дороги, подъехала к крыльцу Рюдисдорфского замка. Пока она отъезжала и наконец скрылась в одном из громадных пустых сараев, двое приезжих медленно поднялись на крыльцо замка. Барон Майнау был чрезвычайно аккуратен: он приехал, как было условлено, за полчаса до венчания.

– Господи помилуй, и это жених! – вздохнула старая Лена и отошла подальше от окна.

Наверху широко растворилась стеклянная дверь, и графиня поспешила навстречу гостям. Дождевые капли падали на ее темно-фиолетовое бархатное платье с длинным шлейфом и

сверкали па взбитых черных волосах рядом с несколькими, еще уцелевшими от крушения, бриллиантами. С томным взглядом приветливо протянула она барону тонкие, изящные руки в богатых кружевах, и кто бы мог вообразить, что эти руки в ми-путы бешенства способны были с силою фурии швырнуть тяжелый предмет и пробить им стеклянную раму.

От дождя приезжие укрылись в комнате графини, и там Майнау представил ей своего шафера, господина фон Рюдигера. Среди веселой болтовни светского разговора раздавались крики ара в оконной нише, а на выцветшем ковре, ворча, играли два крошечных белоснежных пуделя... Если бы не гирлянда, которую сплела старая Лена, чтобы украсить к приезду жениха входную дверь, и не княжески роскошный туалет графини, никому не пришло бы в голову, что в этом доме готовится брачное торжество, – так пуст и банален был разговор графини, так равнодушно, спокойно и неподвижно стоял у окна жених в элегантном черном фраке и смотрел на двор замка, где теперь снова воцарилась тишина, прерванная только на минуту шумом колес привезшего его экипажа. Хотя Рюдигеру известно было, при каких условиях заключался этот брак, и он был слишком светским человеком, чтобы не находить все это в порядке вещей, эта страшная пустота и безмолвие пугали маленького подвижного господина, и он вздохнул свободно только тогда, когда наконец медленно и торжественно отворилась противоположная дверь.

Вошла невеста под руку с братом и в сопровождении Ульрики. Вуаль закрывала лицо и падала ей на грудь, а сзади касалась подола ее скромного белого тюлевого платья с высоким воротом, кое-где подколотого миртовыми букетиками, да несколько веток мирта украшали ее голову. Напрасно ваш взгляд стал бы искать тяжелого, затканного серебром подвенечного туалета. Бедная невеста из бюргерской семьи не могла бы придумать себе более скромного наряда. Она вошла с опущенными глазами, а потому не заметила сначала удивленного, а потом сострадательно-насмешливого взгляда, которым смерил ее барон Майнау; но она невольно содрогнулась, когда мать с ужасом окликнула ее:

– Что это значит, Лиана? На кого ты похожа?.. С ума ты сошла?

Таково было благословение, которым разгневанная графиня приветствовала молодую девушку, готовившуюся сделать решительный шаг в своей жизни. Она казалась до того взволнованной, что забыла все, и уже подняла было руку, чтобы вытолкнуть дочь за порог.

– Ты сейчас же возвратишься в свою комнату и переоденешься!..

Но тут она невольно замолчала: барон Майнау сжал ее дрожавшую руку; он не сказал ни слова, но взглядом и движением так энергично и красноречиво запрещал дальнейший разговор по этому предмету, что графине поневоле пришлось уступить.

Из-за притворенной двери выглядывала старая Лена и, затаив дыхание, ждала минуты, когда жених заключит в свои объятия ее «прекрасную стройную графиню» и в первый раз поцелует ее; ни «этой дубине» и в голову не приходило приветствовать свою невесту поцелуем; он ограничился тем, что сказал ей несколько ласковых слов, поднес как бы нехотя к губам ее руку, едва коснулся ее, точно боялся сломать эти хрупкие пальчики, и подал ей букет великолепных цветов.

– Цветы у нас у самих есть, – ворчала старуха, и взгляд ее машинально скользнул по длинному коридору, усыпанному зеленью и цветами...

Вслед за тем зашуршало злополучное тюлевое платье по рассыпанным розам и герани, а графиня-мать, шедшая под руку с Рюдигером за женихом и невестой, своим тяжелым бархатным шлейфом сметала в кучи эти бедные цветы.

Мраморные изображения апостолов, украшавшие алтарь и кафедру церкви Рюдисдорфского замка, не раз видели бледное, грустное лицо невесты и слышали холодное «да» из уст равнодушного жениха, потому что в роде Трахенбергов не существовало обычая не только поощрять «сентиментальную любовь», но даже осведомляться – по сердцу ли невесте избранный для нее жених.

Но такой скромной, без пения и органа, свадьбы не было здесь еще никогда. Жених решительно отклонился от всех лишних свидетелей и любопытных зрителей, которые любят пересуживать жениха и невесту. А им было бы о чем пошептаться друг с другом: красивый

господин хотя и рыцарски вежливо подвел к алтарю свою невесту, но не удостоил ее ни одним взглядом; только раз, когда они преклонили колена, принимая благословение, казалось, глаза его на минуту остановились на невесте, при виде ее длинных, густых кос, которые, подобно красновато-золотистым змеям, извиваясь вдоль ее платья, лежали на белых плитах пола.

И как торопился он по окончании обряда! Священник слишком долго говорил, а надо было непременно поспеть на следующий поезд... Дождь усилился, и монотонный звук капель, ударявших в пестрые стекла церковных окон, был единственной музыкой, сопровождавшей брачный обряд. Но под конец его солнце проглянуло сквозь серые тучи и заискрилось разноцветными огнями в брызгах фонтана, осветило темную длинную аллею, высокую траву на лужайках, и под его теплым дыханием исчезли все серебристые росинки с цветов, нежный луч солнца заиграл на львиных головах массивного серебряного холодильника, единственного представителя блестящего прошлого, стоявшего на столе в зале, где был приготовлен свадебный завтрак. Завтракали стоя. Сестры и брат ни к чему не прикасались и не принимали участия в общем разговоре. Они стояли вместе, разговаривая вполголоса, и граф Магнус, с глазами полными слез, держал руку Лианы – только в эту минуту, казалось, понял он свою утрату.

– Юлиана, могу я просить тебя поторопиться? Пора ехать! – сказал вдруг барон Майнау, прерывая разговор.

Он подошел к своей молодой жене и показал ей часы, ослепившие ее холодным блеском крупных бриллиантов. Она испуганно вздрогнула, – в первый раз этот голос произнес ее имя; правда, он говорил ласково, но как чуждо и холодно звучало оно в его устах! Даже строгая и бездушная мать никогда так не называла ее... Она слегка поклонилась ему и всем присутствующим и в сопровождении Ульрики вышла из зала.

Молча и торопливо, будто преследуемые, поспешили сестры наверх в свою общую комнату.

– Лиана, он страшен! – вскричала Ульрика, когда дверь за ними затворилась, и, залившись потоком слез, обыкновенно спокойная и невозмутимая девушка бросилась на диван и скрыла свое лицо в его подушках.

– Тише, тише, не надрывай моего сердца!.. Разве ты ожидала чего-нибудь другого? Я же – нет, – убеждала ее Лиана, и горькая улыбка мелькнула на ее побледневшем лице.

Она осторожно сняла с головы миртовый венок и положила его в ящик, где до сих пор хранились разные вещицы – воспоминания из ее институтской жизни... Через несколько минут подвенечный наряд заменен был серым дорожным платьем и круглой шляпой с густой вуалью, подвязанной у шеи бантом, а изящные ручки затянуты в перчатки.

– А теперь пройдем в последний раз к отцу, – сказала торопливо Лиана и взяла зонтик.

– Подожди еще минуту, – просила Ульрика.

– Не задерживай меня, я не должна заставлять Майнау ждать, – возразила серьезно Лиана.

Она обняла сестру и вместе с нею вышла из комнаты.

Так называемая мраморная галерея находилась в бельэтаже, как раз над террасой, примыкавшей к залу, где подавался свадебный завтрак.

В полусвете от затворенных ставней сестры прошли всю ее длину и достигли противоположного конца, где дневной свет скупно просвечивал сквозь узенькие щели ставней и бросал бледные полосы на блестящий как зеркало красивый мраморный пол. Ульрика бесшумно отворила ставень. Оставляя в тени все портреты этих красноволосых рыцарей, свет сосредоточился на изображении почтенного старика, сидевшего у темного бархатного занавеса, положив на стол полную белую руку. Отличительная черта рода Трахенбергов – огненно-рыжий цвет волос и усов – заменилась здесь необыкновенно мягким серебристым оттенком.

– Милый, милый папа, – шептала Лиана, простирая к нему сложенные руки.

Она была его любимицей, его сокровищем, его гордостью, сонная головка девушки часто покоилась на его груди, и даже во время борьбы со смертью ее одну ласкала его холодеющая рука.

Сбоку виднелся другой портрет, на котором изображена была высокая, худая, неподвижная женская фигура; длинный шлейф ее платья был окаймлен горностаем, желтый цвет обнаженных плеч резко отделялся от белого меха, на взбитых волосах была надета маленькая корона. То была бабушка Лианы с отцовской стороны, тоже принцесса одного из мелких германских княжеств. Под туго стянутой шнуровкой билось сердце, которое ни разу в жизни не было согрето теплым чувством любви; ясные глаза безжалостно смотрели на внуку, с разбитым сердцем и слезами оставлявшую старый родовой замок, чтобы вступить в блестящую обстановку богатой жизни. Сухая рука, державшая веер, осыпанный бриллиантами, простерта была в глубину зала, как будто указывая на весь этот ряд портретов, бабушка хотела сказать: «Это все супружества по расчету со знаменитыми родами, – не в любви их призвание, а в умение вечно властвовать...»

И новобрачной почудилось, как будто шепот пробежал по устам предков, но то был только сквозной ветер, ворвавшийся в отворенное окно и пробежавший по бесконечной галерее... Внизу, на террасе, раздались торопливые мужские шаги и смолкли как раз под окном галереи. Сестры украдкой взглянули вниз. Барон Майнау стоял вполоборота у перил террасы и смотрел вдаль; теперь он вовсе не походил на холодного, сдержанного жениха, так пунктуально и безукоризненно совершившего все формальности брачного обряда. Он, видимо, старался сбросить с себя все то, что хотя бы на короткое время принудило его гордую и пылкую натуру сыграть шаблонную роль. Он, совершенно готовый к отъезду, курил сигару, голубоватый дымок которой поднимался до самой мраморной галереи.

– Я не говорю «красавица». Боже мой, слово это имеет слишком обширное и условное значение! – говорил его друг Рюдигер, высокий, мягкий голос которого уже раньше доносился отдельными звуками до сестер, теперь же ясно и отчетливо слышалось каждое его слово. – Конечно, у этой Лианы нет ни греческого, ни римского носа, да что до этого! Ее личико и без того чрезвычайно мило.

Барон Майнау пожал плечами.

– Гм, пожалуй, – сказал он неузнаваемым, насмешливым тоном, – скромная и добродетельная девочка, робкого характера, с мечтательным выражением лица и бледно-голубыми глазами а la Lavalliere, – чего же еще!

Он вдруг остановился и быстрым движением руки указал на открывавшийся ландшафт.

– Посмотри-ка лучше сюда, Рюдигер! У того, кто планировал Рюдисдорфский парк, была гениальная голова! Ничто не могло бы придать более эффекта архитектуре а la Renaissance, как эти чудесные группы буковых деревьев.

– Э, что там! – с досадою возразил Рюдигер. – Ты знаешь, что я в этом ничего не понимаю. То ли дело прекрасные глаза или прекрасные волосы женщины, вот, например, что за чудные косы лежали сегодня пред алтарем, у твоих ног!

– Несколько полинявший оттенок трахенбергского фамильного цвета, – равнодушно ответил Майнау. – Пожалуй, тициановские волосы теперь в моде, и новейшие романы изобилуют рыжеволосыми героинями, и все они любимы, – конечно, это дело вкуса!.. У моей возлюбленной подобное было бы немыслимым, но у жены!..

Он отряс пепел сигары о перила и спокойно продолжал курить.

Лиана инстинктивно скрыла свое лицо под густой вуалью; даже сестра, с невыразимой болью смотревшая вниз на говорившего, не должна была видеть краски стыда и унижения, залившей ее щеки.

Еще ниже, в цветнике, графиня Трахенберг прогуливалась с пастором. Окончив свой разговор с ним, она быстро приблизилась к террасе и стала медленно подниматься по ступеням.

– На одно слово, дорогой Рауль! – попросила она, взяв его за руку.

Медленно прохаживаясь с ним по террасе, болтала она об отвлеченных предметах, пока Рюдигер и пастор не удалились настолько, что не могли услышать ни одного ее слова.

– А propos, – сказала она вдруг, остановившись. – Ты не сочтешь меня нескромной за то, что взволнованное сердце матери побуждает меня в последнюю минуту затронуть несколько щекотливый вопрос... Могу я узнать, сколько ты назначаешь Лиане «на булавки»?

Сестры могли видеть, как насмешливо взглянул он на женщину с взволнованным материнским сердцем.

– Столько же, сколько давал моей первой жене: три тысячи талеров. Графиня одобрительно кивнула головой.

– О, ей остается только радоваться; когда я выходила замуж, я столько не получала!

Майнау насмешливо улыбнулся ее глубокому вздоху, которым она сопровождала свое восклицание.

– О, не правда ли, Рауль, ты будешь сколько-нибудь добр к ней? – прибавила она с притворной чувствительностью.

– Что вы хотите этим сказать, тетушка? – спросил он, замедляя шаги и бросив на нее недоверчивый взгляд. – Разве вы считаете меня настолько бестактным, что допускаете, будто я могу забыть уважение, которое обязан оказывать женщине, носящей мое имя?.. Но если вы требуете чего-нибудь большего, то это будет против нашего уговора. Мне нужна мать моему ребенку и хозяйка в моем доме, которая могла бы заменить меня в мое отсутствие, а я, быть может, надолго, очень надолго отлучусь. Все это вы знали, когда рекомендовали мне Юлиану как кроткое женственное существо, вполне соответствующее моим желаниям... Любить ее я не могу, но буду настолько добросовестен, что не стану возбуждать любви и в ее сердце.

Заливаясь горькими слезами, обняла Ульрика сестру и прижала ее к своему сердцу.

– Бога ради, не раздражайся так, Рауль! – просила струсившая графиня. – Ты совершенно не понял меня. Кто и говорит о сентиментальностях? Уж я, конечно, менее всех думаю о них... Я только просила твоего снисхождения к ней. Ты сегодня сам видел, до чего может дойти эта «вечно женственная натура», – сыграть такую шутку со своим подвенечным нарядом.

– Оставьте это тетушка: в этом случае Юлиана могла действовать, как ей было угодно. Пусть и всегда так поступает, если только будет уметь применяться к обстоятельствам...

– За это я ручаюсь... Боже, невыразимо грустно признаться, но Магнус – колпак, человек без всякой энергии, нуль, и именно те качества, которые я в нем презираю, украшают его сестру. Лиана необыкновенно простодушное дитя, и, когда Ульрика, этот злой гений моей семьи, не будет иметь на нее влияния, ты можешь вертеть ею, как захочешь.

– Мама очень быстра в своем приговоре, – сказала с горечью Лиана, когда шаги внизу мало-помалу затихли. – Она ни разу не потрудилась вникнуть в мою духовную жизнь – мы выросли на руках чужих людей... Но о чем ты плачешь, Ульрика?. Мы не имеем права бросить камнем в этого бездушного эгоиста. Разве я спрашивала свое сердце, когда отдавала ему руку? Я сказала «да» из страха перед мамой.

– И из любви ко мне и Магнусу, – добавила Ульрика еле слышно, как бы изнемогая от отчаяния. Мы употребили все усилия, чтобы уговорить тебя; мы хотели спасти тебя от ада домашней жизни, не сомневаясь ни одной минуты, что тебя должны полюбить везде, куда бы ни забросила тебя судьба, а теперь, к несчастью, я вижу, что в любви тебе будет отказано. Ты, такая молодая...

– Молодая?.. Ульрика, мне в будущем месяце минет двадцать один год; мы много горя пережили вместе, и я далеко не дитя по опыту, уже научилась правильно смотреть на жизнь... Не беспокойся обо мне, я не хочу любви Майнау и настолько горда, что не оставляю его в заблуждении на л от счет. Мой институтский аттестат, свидетельствующий о моих познаниях, особенно о моем знании языков, придает мне мужества; сегодня не баронесса Майнау переезжает в Шенверт, а только воспитательница маленького Лео. Мне предстоит благородная деятельность и, может быть, я буду иметь возможность сделать доброе дело, большего я ничего в жизни не желаю... Простимся теперь, Ульрика, оставайся здесь у отца, а мне приходится покинуть его дом!

Она несколько раз обняла сестру и, вырвавшись из ее объятий, побежала вдоль галереи в комнату матери; там у окна стоял Магнус и смотрел на подъехавшую к крыльцу карету.

В это время графиня проходила по двору замка с Майнау, Рюдигером и пастором. Хорошо, что она не могла видеть, как ее сын, «колпак», «человек без всякой энергии», с горькими слезами обнимал сестру. В какой гнев привело бы ее это раздирающее душу

прощание, которое так мало соответствовало его положению.

Опустив вуаль. Лиана твердыми шагами сошла с лестницы.

– Ступай с Богом, и да сопутствует тебе мое благословение, дитя мое! – сказала графиня с театральным жестом и коснулась рукой до головы дочери, потом приподняла вуаль и запечатлела на лбу ее холодный поцелуй.

Через несколько минут карета уже катилась по шоссе, ведущему к ближайшей станции железной дороги.

Глава 5

После четырехчасового пути путешественники приехали в столицу. Тут молодой женщине представилась новая жизнь во всем своем обаянии. Для переезда в Шенверт, находившийся от столицы на расстоянии одного часа пути, был выслан необыкновенно изящный и роскошный экипаж, мягкие подушки которого, обитые белым атласом, как бы предназначались лелеять избалованную роскошью красавицу; а Лиана в своем простом сером дорожном платье скорее походила на дочь какого-нибудь угольщика, которую сказочный принц похитил в лесу, чтобы перевезти в свой замок.

В то время когда Рюдигер садился рядом с Лианой, Майнау вскочил на козлы и взял вожжи. Он сидел с гордой небрежностью, а управляемые им лошади бешено неслись по широкому гладкому шоссе, прорезывавшему насквозь часть парка... Там, далее, виднелся пруд, и над рыбацкой деревней вилась целая вереница белых голубей... Всюду было тихо и безлюдно. Но вот дорога свернула в самую чашу леса, и только кое-где сквозь густую листву мелькал освещенный ярким солнцем красивый пейзаж. Вдруг шагах в пятидесяти от них выехала из чащи на шоссе амазонка – казалось, она поджидала летевший навстречу экипаж.

– Майнау, герцогиня! – крикнул Рюдигер, вскочив в испуге, чудные рысаки бешено летели, по барон Майнау ловким движением уже успел сдержать их, и они шли теперь мерным шагом.

Из леса выехала другая амазонка и последовала за герцогиней. Они быстро приближались. В ту минуту герцогиня походила на ангела смерти, скачущего на коне по бранному полю: длинная черная бархатная амазонка ее развевалась по воздуху; черные с синеватым отливом волосы были собраны на затылке, а прекрасное лицо смертельно бледно, и даже губы казались бескровными.

– Здравствуйте, барон Майнау! – приветствовала она экипаж.

Майнау отвесил низкий поклон.

Сколько насмешки слышалось в этих словах, произнесенных медленно, звучным женским голосом. Сделала ли герцогиня неосторожное движение, или лошадь ее испугалась чего-то, только вдруг она после бешеного прыжка понесла герцогиню прямо к подножке медленно проезжавшего экипажа.

– Сидите, Рюдигер! – сказала она поднявшемуся Рюдигеру, и, минуя его, ее горящие глаза с беспокойством старались проникнуть сквозь густую вуаль, которая скрывала от нее лицо испуганной молодой женщины.

Вслед за тем обе наездницы понеслись дальше.

Несколько секунд лошади их бежали рядом, голова в голову, и молодая фрейлина, склонившись к герцогине, сказала бесцеремонно:

– Эта серая монахиня и в самом деле красно-волосая Трахенберг, ваше высочество!

Шум колес заглушил ее слова, но барон Майнау, оглянувшись, заметил движение молодой фрейлины и улыбнулся. В первый раз увидела Лиана эту гордую улыбку торжества и удовлетворенного самолюбия; в первый раз при ней блеснули его глаза своим опасным огнем. В ту сторону, где сидела его жена, он ни разу не взглянул; но это равнодушие было так естественно и бессознательно, что даже его друг Рюдигер видел в нем совершенное отсутствие напускного спокойствия, в которое Майнау любил драпироваться перед самыми блестящими женщинами высшего круга.

Серые рысаки еще бешеной понеслись дальше по шоссе, как будто бледная герцогиня своим «здравствуйте» превратила в пламя кровь в жилах управлявшего ими Майнау. Молодая женщина следила за каждым его движением. Встреча в лесу вдруг пролила свет на некоторые обстоятельства – теперь она поняла, почему Майнау не мог любить ее.

Вот они выехали на опушку леса и стали спускаться в Шенвертскую долину мимо парка, далеко превосходившего герцогский парк. На всем его протяжении тянулась тонкая, как паутина, проволочная решетка; а далеко, в глубине, точно из-за серого флера, поднимались величественные группы чужеземных растений; на гигантских кустарниках красовались пурпуровые цветы, точно нитка кораллов в зеленой морской волне. Далее целая стена мимоз лепилась вдоль прозрачной решетки и доходила до вдруг открывшавшегося удивленному взгляду ярко раскрашенного индийского храма с золотыми куполами. Прозрачные воды большого пруда омывали его широкие мраморные ступени, а на переднем плане, повернувшись к проезжавшему мимо экипажу, пасся на ровно подстриженном прибрежном дерне породистый вол... Все по казалось сном, перенесшим вас на мгновение под небо сказочной Индии; но с окончанием решетки сон этот исчезал бесследно, тут опять шумели вековые липы, темные сосны простирали длинные ветви над покрытыми клевером лугами.

Еще один поворот сквозь темный разросшийся можжевельниковый кустарник – и экипаж покатился по ровному, усыпанному гравием двору и остановился прямо у подъезда Шенвертского замка.

Несколько лакеев в парадных ливреях бросились к экипажу, а дворецкий в черном фраке и белом жилете откинул с низким поклоном подножку.

Несколько лет тому назад Лиана была невидимой свидетельницей того, как молодой лесничий, привезший свою молодую жену в Рюдисдорф, с восторгом поднял ее из экипажа и понес на руках в свой дом; ее же муж, передав вожжи груму, холодно, хотя и очень любезно, взял, едва прикасаясь, ее правую руку и повел новую баронессу по широким ступеням Шенвертского замка.

Ей казалось, что она вошла в собор: так величественно поднимались своды над ее головою! И сходство это еще более усиливалось от света, проникавшего сквозь разноцветное готическое окно и отражавшегося на стенах, покрытых живописью духовного содержания. Здесь он освещал пурпуровое одеяние Богородицы, в другом месте – пальмовый венок над Святым семейством, там, бросив косой луч на красную порфиновую стену, ложился на широкий, во всю лестницу, разостланный ковер, такой мягкий и так плотно прилежавший к ступеням: все это в совокупности усиливало впечатление и поддерживало характер церковного стиля – а именно византийского в его последнем периоде.

Не успел Майнау войти в сени, как взгляд его с удивлением и гневом остановился на дворецком. С низким поклоном и не смея поднять глаз на своего повелителя, тот робко и с замешательством прошептал в свое оправдание:

– Я не смел, господин барон не позволили дотрагиваться до оранжереи, а гирлянды приказали снять в память покойной баронессы.

Яркий румянец вспыхнул на лице барона Майнау. Испуганные лакеи поспешили бесшумно удалиться, только один злополучный дворецкий должен был остаться на своем посту...

Но ожидаемая буря ограничилась на этот раз насмешливой улыбкой, мелькнувшей на губах красавца барона.

– Я ослеплен, Юлиана, – сказал он дрожащим от волнения голосом, – я бессилен этому противиться. В Рюдисдорфе наша дорога была усыпана цветами; здесь же ничем подобным не почтили твоего приезда. Извини дядю: эта высокочтимая им покойница была его дочь.

Он не дал Юлиане времени ответить. В сопровождении дворецкого и покачивавшего головой Рюдигера он быстро повел молодую женщину вверх по лестнице через парадные залы, к которым примыкала великолепная зеркальная галерея. Лиана видела себя под руку с высоким, гор дым бароном, по виду и манере они были парой, но какая неизмеримая пропасть лежала между ними, союз которых, хотя и основанный на одном расчете, был только что освящен

церковью. Дворецкий торжественно распахнул перед ними обе половинки входной двери. У Лианы закружилась голова. Несмотря на толщину каменных стен и высокие своды, в галерее было душно и жарко. Палящие лучи июльского солнца падали прямо на незанавешенные стекла многочисленных окон, а тут еще, на противоположном конце зала, топились камин. Пушистые ковры покрывали стены и полы, драпировали окна и двери, кроме того, последние были еще герметически обиты; все свидетельствовало о стараниях о том, чтобы внешний воздух не мог проникать сюда, и в этой удушливой атмосфере, напоенной вдобавок разными хсенциями, сидел перед пылавшим камином старик. Ноги его, завернутые в стеганое шелковое одеяло, казались безжизненными, между тем как верхняя часть туловища сохранила юношескую грацию и подвижность. Он был в черном фраке и белом галстуке. Маленькое умное лицо его было болезненно-бледно, и эта бледность еще более усиливалась от смешения золотисто-красного солнечного света с бледно-желтым светом топившегося камина. То был гофмаршал барон фон Майнау.

– Любезный дядюшка, позволь представить тебе мою молодую жену, – сказал Майнау довольно лаконично, между тем как Лиана подняла вуаль и поклонилась.

Маленькие карие глазки старика пристально впились в нее.

– Ты знаешь, любезный Рауль, – возразил он медленно, не отрывая глаз от покрасневшей Лианы, – что я не могу приветствовать эту молодую особу как твою жену, пока союз ваш не будет освящен нашей церковью.

– Ну, дядюшка, – ответил Майнау, – я только сию минуту узнал, что твое ханжество простирается так далеко, иначе я сумел бы предупредить подобную встречу.

– Та-та-та, не горячись, любезный Рауль! Это дело веры, о которой благородные натуры не спорят, – добродушно проговорил гофмаршал; очевидно, он трусил гневного голоса своего племянника. – Пока я приветствую ее, как графиню Трахенберг... Вы носите знаменитое имя, графиня, – обратился он к Лиане.

Говоря так, он протянул ей свою правую руку; она заколебалась, боясь прикоснуться к этой бледной руке с несколько искривленными пальцами; не то гнев, не то испуг волновали ее. Она знала, что в этот же день ее брак будет вторично освящен по обряду католической церкви, Майнау были католики, но то, что в этом доме совершенно не признавали действительным протестантского брака, совершенного в Рюдисдорфе, поразило ее как громом.

Старый барон сделал вид, что не заметил ее колебания, и вместо руки взял кончик одной из спустившихся ее кос.

– Посмотрите, что за прелесть! – сказал он любезно. – Не нужно называть вашего знаменитого имени, это верное его отличие – оно блистало еще во времена крестовых походов!.. Природа не всегда так предупредительна, чтобы сохранить из рода в род отличительный фамильный признак, как у Габсбургов толстая нижняя губа, а у Трахенбергов рыжие волосы.

Сказав эту любезность, он принужденно улыбнулся.

Рюдигер между тем нетерпеливо покашливал, и Майнау быстро повернулся к окну. Там неподвижно стоял маленький Лео, устремив глаза на новую маму; красивый мальчик небрежно опирался на великолепную леонардскую собаку, а в правой руке держал свой знаменитый хлыст. Эта группа вполне достойна была кисти художника или резца скульптора.

– Лео, подойди к милой маме, – приказал Майнау до неузнаваемости взволнованным голосом.

Лиана не стала ждать, чтобы мальчик подошел к ней. В этой ужасной обстановке прекрасное детское личико, хотя и смотревшее на нее враждебно и упрямо, показалось ей отрадой, лучом света. Она быстро подошла к ребенку, нагнулась и поцеловала его.

– Станешь ли ты хоть немного любить меня, Лео? – проговорила она, и в ее умоляющем голосе слышалось рыдание.

Большие глаза мальчика с робким удивлением вглядывались в лицо новой матери, хлыст полетел на пол, и маленькие ручки крепко обвились вокруг шеи молодой женщины.

– Да, мама, я буду любить тебя! – проговорил он со свойственной ему откровенностью и,

посмотрев через ее плечо на отца, добавил почти сердито:

– Не правда, папа, она вовсе не похожа на жердь, и косы у нее не такие, как у нашей...

– Лео!.. Неугомонный мальчишка! – оборвал Майнау сына.

Очевидно, он был в большом замешательстве, между тем как старик старался скрыть улыбку. Рюдигер снова сильно закашлял.

– Боже мой, да в чем же провинился этот бедняк? – прервал он вдруг свой дипломатический маневр и указал на темный угол комнаты: там на коленях, перед креслом, стоял, опустив голову, Габриель; сложенные руки его лежали на толстой книге.

– «Месье» Лео был непослушен, а я ничем чувствительнее не могу наказать его, как наказав за него Габриеля, – спокойно сказал дядя.

– Как! Неужели козлы отпущения опять в моде в Шенверте?

– Хорошо, если б они никогда и не выходили из моды! Это было бы и для нас всех лучше, – резко ответил гофмаршал.

– Встань, Габриель, – приказал Майнау, повернувшись спиной к дяде.

Мальчик встал, и Майнау с саркастической улыбкой взял толстый том с легендами, который должен был, по-видимому, читать бедный козел отпущения.

Во время этой тягостной сцены вошел дворецкий. Он нес на серебряном подносе мороженое. Как ни был раздосадован старик, но при виде подноса с мороженым он устремил пытливый взгляд на изящно украшенные серебряные тарелочки и знаком подозвал к себе дворецкого.

– Я проучу этого безмозглого повара, – ворчал он. – Такие горы самого дорогого фруктового мороженого!.. Да он с ума сошел?

– Так приказал молодой барон, – поспешил вполголоса сказать дворецкий.

– Что такое? – спросил Майнау.

Он бросил фолиант на стул и, нахмурив брови, подошел ближе.

– Ничего особенного, мой Друг, – добродушно сказал дядя, бросив искоса робкий взгляд на племянника.

Он покраснел и струсил, как ребенок, несколько раз уже уличенный в одном и том же проступке.

– Пожалуйста, дорогая графиня, снимите вашу шляпку, – обратился он к молодой женщине, – и попробуйте этого ананасного мороженого! Вам не мешает освежиться после утомительного пути.

Лиана ласково погладила курчавую головку Лео и, расставаясь с ним, поцеловала его в лоб.

– Благодарю вас, господин гофмаршал, – сказала она очень спокойно. – Вы пока не признаете за мной ни имени Майнау, ни прав хозяйки дома, а графине Трахенберг условия приличий не позволяют находиться одной в мужской компании. Могу ли я просить вас указать мне комнату, куда я могла бы удалиться до вторичного совершения брачного обряда?

Может быть, старику, опытному дипломату, никогда не приходилось слышать такого энергического ответа, или он всего менее ожидал его от этой более чем скромно одетой и робкой, угнетенной финансовыми обстоятельствами молодой женщины в сером платье, только глаза его широко раскрылись, и всегда хитрое выражение его лица сменилось совершенным недоумением...

Рюдигер злорадно потирал за его спиною руки, а Майнау с удивлением осматривался: неужели это говорила «скромная девочка с робким характером»?

– Э, да вы очень обидчивы, моя милая графиня, – сказал дядя после минутного замешательства.

Майнау подошел к своей молодой жене.

– Ты очень ошибаешься, Юлиана, если думаешь, что в Шенверге кто-нибудь не признает твоих прав как хозяйки дома, – сказал он сдержанным голосом: видно было, что он едва владел собою. – Для меня совершенно достаточно рюдис-дорфского венчания, оно навсегда дало тебе мое имя; а что думают об этом в здешних стенах – тебя не должно это смущать. Позволь мне

проводить тебя в твои комнаты.

Он подал ей руку и, не обращая внимания на старика, повел ее вон из зала. Пока они проходили по зеркальной галерее, он не говорил ни слова, но на лестнице остановился.

– Тебя оскорбили; поверь, что и мое самолюбие одинаково страдает от этого, – начал он гораздо спокойнее, чем говорил раньше. – Но я прошу тебя помнить, что моя первая жена была дочерью этого больного старика, его единственным ребенком. Второй жене поневоле придется быть предметом ревности родных покойницы. Я буду просить тебя не принимать этого близко к сердцу, пока сила привычки не возьмет своего... Я не могу оставить Шенверта и поселиться с тобою в одном из других моих поместий главным образом потому, что для Лео необходима материнская забота; а он должен здесь жить, – я не могу отнять у деда его единственного внука.

Лиана молча продолжала спускаться с лестницы; она не имела сил говорить с этим черствым эгоистом, который, приковав ее к себе навсегда прочными цепями, не предупредил даже о тягостной обстановке ее будущей жизни.

– Вы, конечно, поймете, что в данную минуту у меня нет более сильного желания, как удалиться отсюда, – возразила она, указывая чрез открытые ворота, мимо которых они проходили, на освещенные солнцем окрестности. – Но этому препятствует сознание, что я своим возвращением в Рюдисдорф сама как бы отрицаю силу неразрывности союза, освященного моею церковью...

Тебе было бы довольно трудно привести в исполнение такое намерение, – с ледяным хладнокровием перебил ее Майнау, проходя по длинной колоннаде, находившейся в нижнем этаже. – Я не считаю нужным уверять тебя, что не позволил бы безнаказанно компрометировать себя таким поступком... Венчание и развод – и сейчас же одно за другим! Гм!.. Да... сколько бы этот случай доставил пищи добрым людям, и без того уже набожно открещивающимся от моих «странностей» и «эксцентричностей»!.. Я всегда душою рад дать пищу их словоохотливости, и почему же нет? Но на этот раз намерен избежать такого пикантного скандала.

Он оставил ее руку и отворил дверь.

– Вот твои комнаты; осмотри хорошенько, все ли тут по твоему вкусу; каждое твое желание, особенно относительно изменений, будет, разумеется, тотчас же беспрекословно исполнено.

Он вошел вслед за нею и окинул взглядом анфиладу комнат, убранных с изысканною роскошью, и полугневная-полунасмешливая улыбка мелькнула на его красивых губах.

– Тут жила Валерия, но не бойся, – сказал он своим обычным язвительно-насмешливым тоном, от которого «дамы трепетали, как овечки», – ее душа была слишком легка и воздушна, точно сотканная из дорогих кружев, в которые она любила рядить свое изнеженное тело. К тому же она постоянно парила на крыльях строжайшего благочестия, и теперь она на небе.

Он позвонил горничной и, когда та явилась, представил ее новой госпоже. Сообщив затем Лиане, что через час зайдет за нею, чтобы идти к венцу, он, не дожидаясь ее ответа, удалился. В то же время горничная прошла в противоположную дверь, чтобы приготовить все для перемены туалета.

Глава 6

Лиана осталась одна среди незнакомой ей обстановки. В первую минуту она поддалась невольному чувству страха; пробежала по всем комнатам и осмотрела все замки у дверей: нет, она не была пленницей, даже стеклянная дверь одной из, комнат, ведущая в сад, не была заперта, и ничто не мешало ей спастись бегством из этого дома... Бежать? Да разве она не добровольно приехала сюда? Разве не от нее лично зависело сказать «нет», несмотря на грозные взгляды гневной матери и слезные мольбы брата и сестры?.. Она необдуманно поддалась страшному заблуждению, и виною этому была ее институтская жизнь. Большая часть ее институтских подруг, аристократок по рождению, не могли располагать своею рукою: они были уже помолвлены по выбору родителей и вскоре после выпуска выданы замуж. Одна из них, это

Лиана знала еще в институте, красивая молодая девушка, всю душой любила молодого бюргера и, несмотря на то, беспрекословно вышла за знатного старика. Под влиянием таких примеров и убеждений, поддерживаемая, с одной стороны, матерью, а с другой – братом и сестрой, Лиана думала, что подобное решение очень естественно. Магнус и Ульрика хотели спасти ее от домашнего ада, и она, позволив себя спасти, не имела ни малейшего права обвинять Майнау в обмане. Ведь и она сама ничего не имела в сердце, кроме желания свято исполнить свои новые обязанности. Только теперь она прозрела. Она навсегда разлучилась с теми, кого любила, и ничто в жизни не могло возместить этой потери. Да, она должна была поддерживать холодные отношения с человеком, с которым ее судьба была связана навсегда, который не мог любить ее и менее всего желал, чтобы и она когда-нибудь полюбила его... Целая долгая жизнь на чужбине, без малейшей надежды на чье-нибудь взаимное сочувствие!..

Она подняла глаза, и взгляд ее остановился на голубых волнах атласной драпировки потолка. Тут только увидела она, что все стены были обиты той же блестящей материей, и она точно парила в голубом эфире...

Вспомнив, с какой горькой иронией Майнау говорил о своей покойной жене, Лиана невольно подумала, что если жившая тут женщина и была упрямым, избалованным ребенком, то могла в минуты каприза без опасения топнуть ногами и истерически броситься на пол – под ногами ее находился дорогой пушистый ковер, затканый нежными васильками; во всем изящном и кокетливом будуаре не было видно ни полосы дерева или частички стены, везде, куда ни взглянешь, шелковая драпировка и мягкая мебель!.. Лиана отворила окно: эта покойница положительно упивалась благоуханием жасминов – так сильно наполнял он своим ароматом воздух и даже дорогие кружевные гардины и тяжелые драпировки! Кто знает, не встрепенулась ли гневно «легкая, из кружев сотканная, душа, улетевшая на небо» на «крыльях строгого благочестия», в ту минуту, когда вторая жена, отворивши окно, как бы принимала в свое владение эти покои? Тихий голос, подобно жалобному стону, коснулся слуха Лианы. Она затаила дыхание и прислушалась. Вошла горничная и доложила, что все готово для ее туалета.

– Что это такое? – спросила молодая женщина, переступая порог смежной комнаты, когда тот же таинственный звук снова коснулся ее слуха.

Теперь она ясно слышала, что он доносился к ней из окна.

– Там, напротив, на дереве висят золотые арфы, баронесса, – ответила горничная. Лиана посмотрела в окно и покачала головой.

– Но в воздухе так тихо!

– А может быть, этот звук доносится оттуда, где уже несколько лет лежит больная женщина, – заметила девушка, указывая на видневшуюся вдали проволочную решетку, за которой возвышался обелиск красноватого цвета. Я этого не знаю, я сама всего дней восемь как в Шенверте... Конечно, людям до этого дела нет, только в кухне говорили, что эту женщину содержат здесь из милости, ужасно, говорят даже, что она некрещеная... Я не хожу сама за проволочную решетку и боюсь большого страшного турецкого вола, что там бродит, а по всем деревьям прыгают обезьяны, эти отвратительные животные!.. Фи!

Лиана молча прошла в соседнюю комнату и беспрекословно отдала себя в распоряжение проворной и словоохотливой горничной. Теперь она надела роскошное платье из дорогой, затканной серебром материи, и когда через полчаса она встретила Майнау в голубом будуаре, то он невольно отступил... Эта «жердь» умела носить платья со шлейфом, и у этой «жерди» были античные руки и плечи, которыми она не щеголяла только по совершенному отсутствию кокетства и по чувству скромности, заставлявшему скрывать их под высоким воротом... На роскошных, изящно причесанных рыжевато-коричневых волосах лежал венок из флердоранжевых цветов, отчего он казался таким блестящим на голубом фоне стен, точно был обрызган золотистой росой.

– Благодарю тебя, Юлиана, что ты с таким фактом отказалась от любимой тобою простоты и в моем доме являешься так, как требует этого твое положение, – сказал он ласково, но вместе с тем не скрывая своего изумления.

Она подняла темные ресницы, и не бледно-голубые глаза, а la Lavalliere, а большие

темно-серые звездочки, полные ума и серьезной строгости, пристально смотрели на него.

– Не думайте обо мне слишком хорошо! – сказала она ему; у ней не хватало мужества так свободно говорить ему «ты», как это ему удавалось. – Не из скромности оделась я так просто в Рюдисдорфе к венцу, – назовите это гордостью, высокомерием, как вам угодно... Я очень хорошо знаю, что многие женщины из рюдисдорфской мраморной галереи носили порфиру и шлейфы, и я сама имею на это право, которое всегда сумею удержать за собою... Но потому-то я и не могла надеть на себя этот дорогой подарок (тут она указала на белое, затканное серебром платье) в родительском доме, в котором нам не принадлежит теперь ни одного камня. Я боялась, чтобы шелест его не разбудил моих славных предков, дремлющих в фамильном склепе под алтарем, а теперь-то именно им и нужно спать непробудным сном... Здесь я – представительница вашего имени, ему и приличен ваш подарок.

Майнау закусил губу. С неприятным, почти гневным удивлением смотрел он попеременно то на спокойно говорившие уста, то на смело смотревшие на него глаза.

– Да, но если бы Трахенберги и пробудились, то остались бы довольны, – проговорил он, саркастически улыбаясь. – Их всему свету известная фамильная гордость еще живет и умеет энергически заявлять о себе; это наверное вознаградило бы их за потерю состояния, о которой ты напоминаешь.

Лиана ни слова не ответила ему, но медленно и величественно прошла в дверь, которую он отворил ей с низким, почти ироническим поклоном. Сопровождая ее теперь, Майнау точно переродился: он не походил на того светского человека, который вел ее в Рюдисдорфскую церковь, словно к обеденному столу; не таким он был и в лесу, когда управлял бешеными лошадьми, следил торжествующим взглядом за удалявшейся бледной герцогиней, – в эту минуту происходила в нем та же борьба, которую только что пережила его молодая жена. Он глубоко раскаивался в сделанном им важном шаге, на который решился, поверив обещанию графини, что он получит в Лиане такую жену, из которой может делать все, что захочет... Еще было время, еще его церковь не освятила их союза... Вдруг шелест ее длинного тяжелого шлейфа затих. Лиана остановилась и высвободила свою руку из-под его руки; он тоже принужден был остановиться и с удивлением посмотрел на нее. Один взгляд на ее побледневшее лицо мог объяснить ему то, что происходило в пей; с вырази юльной насмешливой улыбкой взял он ее снова под руку и пошел вперед мимо парадно одетой замковой прислуги, выстроившейся шпалерою перед церковною дверью... Значит, его решение было непоколебимо, и она пошла далее, но уже не как овечка, обреченная на заклятие: гордая бабушка в зале ее предков могла бы теперь порадоваться величественным манерам своей внучки, по спокойному, сдержанному лицу которой нельзя было и предположить, как трепетно билось ее сердце.

С каким блеском был выведен здесь на сцену обман! В самые счастливые дни рюдисдорфского великолепия не видала Лиана такого богатства серебра, которым покрыт был алтарь; тысячи огней горели в люстрах, и вся оранжерея, в чем отказал больной старик для встречи новой госпожи, перенесена была сюда для придания большей торжественности священнодействию. Среди этого леса фонических растений, покрытых чудными цветами, и тысяч зажженных свечей золотистые лучи заходящего солнца проникали сквозь высокие готические церковные окна, клубились облака фимиама; как сквозь туман, видала Лиана лица множества присутствующих, в стороне – пунцовое одеяло и лежащие на нем бледные сложенные руки гофмаршала и великолепное облачение священника. Строго и повелительно стоял он на ступенях алтаря; она невольно содрогнулась, приблизившись к нему: точно огненный поток лился из глаз этого человека и глубокий пронизательный взгляд его встретился с ее широко открытыми глазами. Только после ее испуганного движения его взгляд обратился к небу, и над ее головою раздался звучный потрясающий голос; он говорил о вечной любви и преданности – какое кошунство!.. Безыскусные слова рюдисдорфского пастора успокоили было ее, эта же восторженная речь придворного проповедника пролила яркий свет на притворство и ложь, под прикрытием которых совершался настоящий союз, и каждое слово проповеди, как острый нож, входило в самое сердце. Молодая женщина трепетала пред этим священником,

огненные глаза которого не отрывались от нее, и, сама не зная зачем, она вдруг прикрыла подвенечной вуалью грудь и плечи.

Но вот кончился и этот день, самый тягостный и роковой во всей ее жизни. Настала давно желанная минута, когда она могла запереть двери отведенных для нее комнат, отделявших ее от всех обитателей замка. Отпустив горничную и сняв свой подвенечный наряд, она надела белый пеньюар. Спать она не могла – она чувствовала свое одиночество, ее мучила тоска по своим, и ей страстно хотелось увидеть, подержать в руках хотя бы какой-нибудь предмет, привезенный с собою... Нервно, дрожащими руками открыла она маленький сундучок, поставленный в зале по ее желанию. Сверху лежала тетрадь латинских сочинений, написанных ею; она невольно вздрогнула и бросила робкий взгляд на большой портрет, висевший против нее, – это был он, этот красавец, с загадочным лицом, на котором постоянно чередовались огонь страстей и ледяной холод, выражение душевной доброты и язвительной насмешки! Эти противоречия наводили на нее ужас. Она торопливо свернула рукопись: даже эти нарисованные на портрете глаза не должны были видеть написанного ею.

«Майнау вытрясет из тебя твои ученые бредни!» – припомнились ей слова графини Трахен-берг.

Не далее как сегодня за ужином, рассуждая об эмансипации женщин, Майнау с презрением заявил, что не знает, которая из женщин более заслуживает осуждения – та ли, которая не исполняет своих материнских обязанностей, кокетничая и предаваясь удовольствиям, или та, которая выгоняет из своей комнаты детей, чтобы сочинять стихи, писать ученые статьи. Чернильное пятно на руке женщины несноснее для него дурного обеда.

Она подошла к письменному столу, чтобы скрыть в нем от посторонних глаз этих немых свидетелей своей прежней духовной деятельности. Стол был из розового дерева – самое образцовое произведение, какое когда-либо выходило из-под руки художника. Каким мыслям предавалась, сидя тут, воздушная, беспокойная душа умершей?.. Доска стола почти гнулась под тяжестью дорогих безделушек и статуэток, из которых каждая была более или менее легкомысленного содержания и резко противоречила строгому благочестию. Лиана с трудом выдвинула один из ящиков стола; он был доверху наполнен свертками с золотом; очевидно, то были деньги, назначенные ей на булавки. С испугом задвинула она опять ящик и заперла его на ключ. Это открытие и душный комнатный воздух, пропитанный запахом жасминов, побудили ее выйти в соседнюю комнату и отворить стеклянную дверь в сад. Благодаря опущенным гардинам, Лиана не знала, что на безоблачном небе ярко светит полная луна. Она невольно отступила – так ослепителен, так необыкновенен показался ей тот Шенверт, окруженный остроконечными вершинами скалистых гор, частью покрытых чудным вековым лесом... Казалось, что эти горы, подобно драконам с оскаленными зубами, окружив Шенверт, стерегли это сокровище... Она вышла на веранду, крыша которой поддерживалась колоннами. Какой резкий контраст представляло собой новейшее убранство комнат с сероватыми от времени колоннами, гордо поднимавшимися в строгой красоте и облитыми теперь лунным светом. Не чувствовалось ни малейшего ветерка, хотя в верхних слоях воздуха, вероятно, было движение, потому что золотые арфы издавали по временам тихий, трепетный звук.

Среди этой торжественной тишины ночного часа вдруг слышались приближающиеся шаги; испуганная Лиана спряталась в тень за колонну, и в ту же минуту из-за северного угла дома выбежал ребенок; это был Лео. На босых ногах его были туфли. Наскоро надетые зеленые бархатные панталоны он держал обеими руками, а ночная рубашка его, обшитая кружевами, была растегнута и спускалась с плеч... Ребенок робко осмотрелся и побежал еще скорее к проволочной решетке. Лиана неслышными шагами следовала за ним.

– Что ты делаешь тут, Лео? – спросила она, удерживая его.

Он испуганно вскрикнул.

– Ах, новая мама! – сказал он, как бы успокоившись. – Ты скажешь об этом дедушке?

– Если ты намерен поступить дурно, то конечно.

– Нет, мама, – ответил он своим твердым, уверенным гоном и тряхнул локонами; он, по-видимому, выскочил из кровати. – Я только хочу дать Габриелю эти шоколадные фигуры, –

я не сам взял их, право, мама! Господин Рюдигер положил их мне за ужином на тарелку. Я всегда прячу их для Габриеля, но наутро не нахожу уже их в кармане: фрейлейн Бергер очень любит их, она целый день жует и всюду шныряет, противная...

– Да где же эта фрейлейн Бергер? – спросила Лиана.

Наставница была представлена ей после свадьбы и произвела на нее очень благоприятное впечатление.

Она играет в фанты в классной комнате и не позволяет мне входить туда; она заперла дверь, – ворчал Лео. – Они там ужасно шумят и пьют пунш; я слышу это сквозь замочную скважину... Я сегодня совсем не видел Габриеля, потому что худо вел себя, но покойной ночи я ведь могу пожелать ему, – проговорил он своим обычным упрямым тоном. – Могу я, мама? Да, могу?

Он просил хотя и настойчиво, но с полным доверием ребенка к матери; радостно встрепенулось сердце молодой женщины: этот упрямый ребенок с первой минуты добровольно подчинился ее материнскому авторитету, и луч счастья проник в ее изболевшуюся, печальную душу; она обняла мальчика и нежно поцеловала его.

– Дай мне конфеты, Лео! Я сама отнесу их Габриелю. Ты должен теперь лечь спать, – сказала она и протянула руку. – Я скажу ему от тебя «покойной ночи»; но где я найду его?

Лео охотно вывернул карманы и высыпал конфеты в красивые руки матери. Она улыбнулась: такого богатства шоколада нельзя было показать деду: выговор, сделанный за фруктовое мороженое, не ускользнул от ее тонкого слуха.

– Ты должна идти туда, мимо пруда, – объяснил мальчик, указывая на проволочную решетку. – А только в дом нельзя входить, дедушка это строго запретил, а фрейлейн Бергер говорит, что там живет колдунья с длинными зубами; конечно, это глупости, и я не боюсь. Ведь не кусает же она Габриеля?..

Молодая мать застегнула рубашечку Лео и повела его за руку обратно в замок... У потолка была привешена лампа, освещавшая сквозь зеленое граненое стекло магическим светом спальню ребенка. Постель царственного дитяти не могла бы быть роскошнее и изящнее постели этого потомка Майнау. Но несмотря на всю окружавшую его роскошь, на шелковые занавесы у постели, на дорогие кружева и шитье, украшавшие подушки и простыни малютки, бедному ребенку недоставало нежных попечений... Его сна не охраняла добрая любящая рука, хотя бронзовый ангел и поддерживал шелковые складки над его постелью и простирал над ним свои блестящие золотые крылышки...

Из соседней классной комнаты доносился веселый хохот и звон стаканов. Лиане казалось, что душа умершей матери должна, грозная, витать здесь и чертить на стене Mene, Tekel...³ забывшей свои обязанности наставнице.

– Мама, – сказал ребенок робко и торопливо, лаская ее своими маленькими ручками, в то время как она заботливо укрывала его одеялом, – как хорошо, когда ты здесь! Ты всегда будешь приходить? Первая мама никогда не приходила к моей кровати... А ты наверное пойдешь к Габриелю и отнесешь ему от меня шоколад?

Лиана все обещала. Успокоенный ребенок склонил свою головку на подушку, и минут через пять его ровное дыхание показало Лиане, что он уже заснул. Неслышными шагами вышла Лиана из комнаты и заперла снаружи дверь, в которую он выбежал.

Глава 7

Пробило половина одиннадцатого, когда Лиана снова вошла в цветник, расположенный перед окнами ее комнат. Вдали виднелась проволочная решетка. «Козел отпущения», как называл сегодня Рюдигер бледного, молчаливого мальчика, вероятно, уже давно спал, и не он был главной причиной непреодолимого желания, которое влекло молодую женщину к

³ Сочтено, взвешено... (арам.). Библия, Кн. Даниила, V, 25 – 29.

таинственному убежищу. Обернувшись назад, она внимательно осмотрела старинный замок, который в своем строгом величии, с массивными сводами, с резными листочками клевера, украшавшими сводчатые окна, и с фигурой родового патрона на выступе фасада, величественно возвышался наподобие аббатства, облитый серебристым светом луны. Все окна были темны, только из нижнего зала пробивался свет лампы в темноту колоннад... Ей показалось, что, прислонившись к одной из колонн, неподвижно стоял какой-то человек, и пристально смотрел в полуотворенную дверь – воображение! Ни одна песчинка не шевелилась под ногами человека, ни малейшее движение не обнаруживало его дыхания, то, вероятно, была тень, падавшая от колонны.

Молодая женщина шла с сильно бьющимся сердцем по узкой песчаной тропинке, головы ее еще касались нижние ветви орешника и можжевельника; но вот затворилась за нею калитка проволочной решетки, и характер растительности изменился: на мягкой зеленой мураве поднимался могучий индийский банан, широкие листья которого бросали на траву гигантскую тень; потом тропинка пошла сквозь густой кустарник. Кругом искрились мириады светляков; наверху, в ветвях, раздавался шорох; оторванная ветка упала на плечо молодой женщины, справа и слева к ней протягивались маленькие лапы обезьян и лукавые глаза их с любопытством заглядывали ей в лицо. Она невольно провела рукою по лбу, как бы желая освободиться от тяжелого сна; может быть, из темной зелени высунется зияющая пасть пестрой змеи или выступит перед ней неуклюжий исполин-слон, чтобы растоптать ее своими мощными ногами?.. Она, как бы ожидая их, остановилась; но из куста выпорхнула только испуганная цесарка, а через несколько шагов расступились кусты и деревья и перед нею явилась неподвижная, как зеркало, поверхность пруда; золотые купола индийского храма величественно поднимались к небу, как будто мраморные ступени его вели прямо к священным водам Ганга, а не к водам пруда немецкой долины.

Тяжело дыша от невольного страха, который наводит на нас одиночество в неизвестной местности и который вместе с тем неудержимо влечет нас вперед, Лиана медленно обошла пруд, не подозревая, что белая одежда ее, стройная фигура и роскошные золотые волосы, отражаясь в поверхности пруда, придавали какое-то особенное очарование этому своеобразному пейзажу; она не подозревала также, что, когда затворилась за нею проволочная решетка, виденная ею тень отделилась от колонны и неслышными шагами последовала за ней, как будто в золотистых косах, сбегавших вдоль ее спины и блескующих при лунном свете почти фосфорическим блеском, заключался магнетический ток, с непреодолимой силой увлекавший за собою эту тень.

Показались белые стены низенького домика; кругом его вилась песчаная дорожка, и весь он утопал среди чудных сортов роз; тут цвели и благоухали карликовые и штамбовые розы и даже по бокам дорожки вились некоторые ветки чайных роз, бледные цветки которых тяжело склонились, точно убаюканные кротким светом луны. Постройка этого домика была так легка, что, казалось, его снесет первый сильный порыв ветра вместе с тростниковой черепицей на крыше и бамбуковыми столбиками, поддерживавшими веранду. Окна были большие, но защищенные точеною деревянною решеткой.

Нерешительно ступила молодая женщина на низенькую ступеньку веранды, пол которой был устлан циновками из пальмовой коры; они были так гладки, блестящи и свежи, как будто предназначались прохлаждать ноги утомленного зноем индийца. Сквозь решетку окна виднелся свет от лампы, привешенной к потолку; штора из пестрой плетенки опускалась до того места, где был сердцеобразный вырез в деревянной решетке; сквозь это-то отверстие Лиана могла увидеть большую часть внутренней обстановки комнаты.

У противоположной стены стояла кровать из тростника. На белых, как снег, простынях лежало необыкновенно нежное существо, лицо которого было скрыто в подушках, и потому трудно было решить – женщине или ребенку принадлежало оно. Мягкие складки белого кисейного одеяния ниспадали до самых ног, чрезвычайно маленьких и мертвенно-бледных, лежавших неподвижно. Обнаженная до самого плеча, худая и тонкая, как у тринадцатилетней девочки, рука тяжело свесилась с постели; широкие блестящие золотые браслеты красовались у

кисти и повыше локтя и производили неприятное впечатление: казалось, они должны были раздражать эту нежную кожу... Высокая здоровая женщина, стоявшая у кровати с серебряною ложкой в руке и упрасивавшая о чем-то, стараясь придать своему грубому голосу мягкий оттенок, была знакома Лиане как представленная ей после свадьбы под именем г-жи Лен, ключницы замка.

Ложка, которую женщина старалась держать дальше от своего чистого, нарядного фартука, конечно, была наполнена лекарством и приводила в ужас больную. Как ни уговаривала ее женщина, как ни гладила ласково по голове свободною рукой, больная не уступала.

– Не могу ничего сделать, Габриель, – сказала наконец Лен, повернувшись к той части комнаты, которую Лиана не могла видеть, – ты должен поддержать ей голову... Ей во что бы то ни стало нужно уснуть, дитя мое.

Бледный мальчик, «козел отпущения» Лео, по дошел ближе и осторожно попробовал просунуть руку между подушкой и лицом больной. При этом движении больная с ужасом подняла голову, и Лиана увидела худенькое, бледное, но вместе с тем прекрасное лицо женщины. Лиану до глубины души поразил выразительный взгляд необыкновенно больших глаз, с таким нежным упреком и мольбою смотревших на мальчика. Мальчик отступил на шаг и опустил руки.

– Нет, нет, я ничего не сделаю тебе! – сказал он, и в его нежном голосе звучало горе и сострадание. – Не могу, Лен, ей больно!.. Лучше я усыплю ее песнями.

– В таком случае ты можешь петь до утра, – возразила Лен. – Когда ей так нехорошо, как сегодня, песнями не усыпишь ее, ведь это ты сам знаешь.

Она пожала плечами, но не имела духу принуждать Габриеля помочь ей. Какое мягкое сердце билось в груди у этой, по-видимому, грубой женщины, с резкими чертами лица, которая казалась такою угрюмою и неприступною во время представления ее новой госпоже!

Лиана отворила дверь, находившуюся между двух окон, и вошла в комнату. Ключница испуганно вскрикнула и чуть не пролила лекарства.

– Подержите больную, – сказала Лиана, я дам ей лекарство.

Внезапное появление стройной молодой женщины в белой одежде с аристократическими манерами, положительно парализовало больную – она, не шевелясь, а только пристально глядя в наклонившееся над нею миловидное лицо молодой женщины, беспрекословно приняла лекарство.

– Вот лекарство и принято, мой милый, сказала Лиана и положила ложку на стол. – Ей не причинили боли, и теперь она заснет.

Лиана нежно погладила темную головку Габриеля.

– Ты, верно, очень любишь ее?

– Она моя мать, – с неизъяснимою нежностью ответил мальчик.

– Это бедные люди, баронесса, очень бедные, вмешалась ключница грубым и сухим голосом.

Ни в голосе, ни в лице ее не было и тени той нежности и сочувствия, которыми несколько минут назад дышало все ее существо.

– Бедные? – переспросила молодая женщина и невольно указала на блестящие браслеты на руках, на дорогие ожерелья на груди больной, которая до сих пор не отводила своих восторженных глаз от Лианы.

Теперь ее лицо приняло выражение страха и тревоги, и она судорожно сжала левой рукой какой-то предмет, висевший на одной ниточке ожерелья, по-видимому, серебряный флакон.

– Ну, ну успокойся; баронесса ничего у тебя не отнимет! – проговорила Лен резким и повелительным тоном. – Они бедны, баронесса, – обратилась она снова к Лиане. – Эти безделушки ведь не прокармливают, – она указала на украшения, – да, в сущности, они ей и не принадлежат, и старый господин гофмаршал мог бы отнять их, если бы захотел. У нее нет никого и ничего на свете, и если она и мальчик получают здесь, в замке, приют и пропитание, то это чисто из милости.

Все объяснение было сделано с такою последовательною беспощадностью, что у Лианы болезненно жалось сердце, особенно когда Габриель, нагнувшись над матерью, осыпал ее нежными ласками, как беззащитного ребенка, которого ласками можно заставить забыть причиненное ему горе... Прекрасная головка мальчика, задумчиво склоненная набок, с грустной складкой вокруг рта, носила на лице отпечаток терпения и рабского послушания, выработавшихся вследствие постоянных притеснений. Лиана могла бы спросить: кто эта необыкновенная женщина и как она попала сюда с ребенком, осужденным расти под таким страшным гнетом? Но страх услышать дальнейшие беспощадные объяснения ключницы заставил ее удовлетвориться тем, что уже услышала. Она выложила из кармана на стол шоколадные фигуры.

– Это Лео посылает тебе, – сказала она, – и я пришла от него сказать тебе «покойной ночи».

– Он добрый, и я люблю его, – ответил мальчик со своей меланхолической улыбкой.

– Это хорошо, дитя мое, но ты не должен более терпеть наказание за его шалости.

Она взяла его за подбородок и, приподняв его головку, с любовью заглянула в его невинные глазки.

– Неужели у тебя хватает мужества всегда молча сносить несправедливости? – спросила она кротко и серьезно.

Некрасивое лицо ключницы вспыхнуло от удивления; она, видимо, с минуту боролась с охватившим ее чувством умиления, но это было только одну минуту, а затем, глядя испытующе на свою госпожу, она сказала еще более резким тоном:

– Габриелю, баронесса, это вовсе не вредит, и если к нему несправедливы в замке, то он должен благодарить за это и целовать руку, которая его карает... Он будет монахом, пойдет в монастырь, а там надо на всякую обиду молчать, как бы ни кипело гневом сердце... Маленького барона Лео он должен любить, ведь по его милости он до сих пор здесь: это он выпрашивает у гофмаршала, а то давно бы Габриеля разлучили с матерью. Глаза мальчика наполнились слезами.

– Ты должен быть монахом? Тебя принуждают к этому, Габриель? – быстро спросила Лиана.

– Говори правду, сын мой, кто принуждает тебя? – раздался сзади голос придворного священника, совершавшего сегодня брачный обряд.

Он стоял на пороге отворенной на веранде двери, и темная фигура его резко выделялась на облитых лунным светом розовых кустах. При виде его Лиана невольно вспомнила о тени, виденной ею у колонны: значит, он подсматривал и следил за нею.

Лен присела, а священник с изящным поклоном, улыбаясь, вошел в комнату и сказал:

– Успокойтесь, баронесса, мы совсем не так жестоки в Шенверте, мы не позволяем себе таких возмутительных насилий, о которых повествуется легковерному свету в сказке о мальчике Мортаро, не так ли, дитя мое?

Он ласково положил свою тонкую белую руку на плечо Габриеля. Если бы не длинная монашеская одежда и не тонзура, белым пятном выделявшаяся на темной кудрявой голове его, никто не принял бы этого человека за духовное лицо. Ни тени той величавой медлительности в движениях, которая часто отзывается чем-то заученным, театральным, ни малейшего умиления в тоне и словах!.. Еще сегодня за столом, во время жаркого политического спора, его металлический голос звучал вызовом, подобно боевому кличу.

При его появлении больная снова уткнулась лицом в подушки и притихла, будто уснула; она походила на испуганную, дрожащую птичку, старающуюся укрыться от рук ловца.

– Что с ней опять сегодня? – спросил священник. – Она очень взволнована, – я даже в ризнице слышал ее стоны.

– Ваше преподобие, герцогиня опять проезжала сегодня мимо дома, а после этого, как вам известно, ей всегда бывает хуже, – почтительно ответила ключница, но с худо скрытой досадой.

На губах священника мелькнула насмешливая улыбка.

– Но она должна свыкнуться с этим, – сказал он, пожав плечами. – Герцогиня, конечно, не откажется от своих прогулок по «Кашмирской долине» ради этой несчастной, да у кого же достало бы мужества требовать от нее подобной жертвы?

Он подошел ближе к кровати; больная содрогнулась.

При всей вашей строгости, вы, верно, слишком снисходительны к больной, добрейшая г-жа Лен? – сказал он. – К чему эти тяжелые браслеты на разбитых параличом членах? К чему эти ожерелья на груди?

– Она умерла бы, ваше преподобие, если бы я лишила ее этих вещей, – сказала Лен сквозь зубы, с какою-то особою торопливостью, и маленькие глубокие глаза ее сверкнули.

– Не думайте этого: она так слаба, худа и так изнурена, что едва дышит. Эта тяжесть при ее беспомощности тревожит ее больше, нежели вы думаете... Подойдите сюда, попробуем!

Теперь больная широко открыла глаза, они были полны ужаса. Прижавши к груди левую руку, она испустила тот же жалобный стон, какой Лиана слышала днем в своей комнате. Лен стала между кроватью и священником и положила свою широкую костлявую руку на маленькую, судорожно сжатую руку больной.

– Ваше преподобие, смею просить вас, уважьте мою просьбу! – протестовала она особенно резко и решительно. – Это ведь и до меня касается!.. Если вы мне растревожите ее, кому придется не спать ночей? Все мне, несчастной... Я могла бы избежать этого, конечно, могла бы иметь покой, как прочие люди в замке, которые ни за какие блага не придут сюда... и я делаю это вовсе не из любви или сожаления, – я не из числа мягкосердечных и не хочу казаться лучше, чем я на самом деле... Да и какое мне до нее дело, – продолжала она спокойнее, но с досадою. – Если я здесь прислуживаю, так это из усердия к моим господам, которые меня кормят.

– Ах, вот вы из-за чего хлопчете! – произнес священник, с улыбкой покачав головой. – Но кто же сомневается в вашей верности и в вашем бескорыстии?.. Пусть останутся у больной ее игрушки, я не хочу осложнять ваши обязанности.

Во время этого разговора Лиана незаметно вышла. Все эти лица произвели на нее такое тяжелое впечатление, что она почувствовала потребность снова видеть прозрачное звездное небо над своей головой, снова дышать свежим ночным воздухом, услышать шум своих шагов по песчаной тропинке, чтобы убедиться, что она не находится под влиянием фантастического сна. Все виденное ею казалось картиной, полной анахронизмов; странное худенькое существо лежало на тростниковой кровати, окутанное облаком белой кисеи, в тяжелых золотых украшениях, подобно индийской принцессе, и эта суровая женщина с ее простонародным немецким наречием, туго накрахмаленным фартуком, роговым гребнем в седой косе, представляли почти невероятную противоположность!

Воздух был полон опьяняющего аромата от множества роз. Легкий ветерок играл в их листве я, пробираясь сквозь освещенную луной чащу деревьев, разносил по саду тихие звуки золотых арф. Молодая женщина невольно приложила похолодевшие руки к сильно бьющимся вискам и сошла с веранды.

– «Кашмирская долина» – рай, который не уме-ли понять первые люди и заградили его для всех нас, – сказал последовавший за ней священник и пошел рядом. – Большинство ищет его и, помня проклятие, минует его, не замечая; аскет добровольно и сурово отказывается от него на всю жизнь, издеваясь над всеми его радостями, пока не грянет гром и повязка не спадет с его глаз и он не поймет, что был глуп; только тогда он познает, что не наследовал проклятия, а сам своею дерзо-С1ью призвал его на свою голову.

Его голос был глух, как будто знойная июльская ночь душила его.

Лиана остановилась и взглянула на не правильные, но глубоко взволнованные черты лица священника; она хотела отвечать, как вдруг кровь бросилась ей в лицо и залила даже белые нежные виски ее, а большие умные глаза стали холодны, как сталь, под влиянием огненного взгляда этого человека; чувствуя на себе его пламенный взор, она не хотела поддерживать такого волнующего душу разговора. Преодолевши свое смущение, она очень холодно ответила:

– После таких стонов, какие я сейчас слышала, я не могу думать о рае... Кто эта

несчастливая женщина?

Лицо священника разом побледнело. Он с видимым раздражением посмотрел искоса на молодую женщину, сделавшуюся так неожиданно неприступною одним только гордым поворотом своей хорошенькой головки. Это была графиня Трахенберг, вполне достойная своих славных предков.

– Не возмутится ли ваша гордость, когда вы узнаете, что Шенверт служит приютом потерянной женщине? – сказал он с резкой иронией. – Нет ничего непреклоннее гордой своей добродетелью женщины, она счастлива! Но горе тем, которых увлекает пылкое сердце!.. Я видел этот целомудренно-холодный, осуждающий женский взгляд, он пронзает как нож!

Что за речи в устах священника!.. Он повернулся и указал на дом с тростниковой крышей, который терялся за розовыми кустами.

– Кто бы мог поверить теперь, что это разбитое параличом существо, рук и ног которого уже коснулась смерть, танцевало когда-то на улицах Бенареса? Она была баядерка, бедная индийская девушка, которую один из Майнау увез за море... Ради нее возникла эта так называемая Кашмирская долина под немецким небом, тратились тысячи, чтобы только вызвать на ее уста улыбку и заставить ее забыть небо отчизны.

– А теперь ее из милости кормят в Шенверте и отдали в распоряжение суровой женщины, – проговорила глубоко взволнованная Лиана. – А ребенка ее так мучат...

– Ввиду вашего собственного интереса осмелюсь просить вас не высказываться так резко в присутствии гофмаршала, – прервал он ее. – То был его брат, который своими любовными похождениями возбудил против себя негодование света. Он давно уже умер, но и теперь, когда заходит речь об этом предмете, старик приходит в сильное раздражение. Он ревностный католик.

– Но его строгая вера не дает ему права угнетать бедного, невинного мальчика, чему я сама была свидетельницей, – неумолимо добавила Лиана.

В это время они вошли в чащу рощи; молодая женщина не могла видеть лица своего спутника, но слышала его смущенное покашливание, и после минутного молчания он ответил отрывисто:

Я уже сказал вам, что это потерянная женщина: она была неверна, как и все индианки; мальчик имеет столько же прав на дом Майнау, как и всякий нищий, стучащийся у ворот Шенвертского замка.

Лиана замолчала. Она ускорила шаги; ей было невыносимо душно под сводами густых ветвей. Ее разгоряченному воображению представлялось, будто от шедшего за ней человека веяло пламенем. Вдруг ей показалось, что одна из ее кос зацепилась за куст; протянув руку, чтобы освободить ее, она коснулась чьей-то быстро отнятой руки. Лиана чуть не вскрикнула. Если бы в действительности ей попало под руку скользкое тело пестрой змеи, она не больше испугалась бы, чем этого прикосновения.

Выйдя из рощи, она невольно бросила робкий взгляд на освещенное лицо священника; оно было так спокойно, как изваянное из камня. Небольшое расстояние они прошли молча; когда же калитка проволочной решетки затворилась за ними, священник остановился; казалось, он подыскивал выражение для того, что хотел еще сказать...

– Этот Шенверт – раскаленная почва для нежных женских ног – из Индии ли они происходят или из немецкого графского дома, – начал он глухим голосом. – Баронесса, теперь всеобщее мировое волнение и боевой клич его: «Долой ультра-монтанов, долой иезуитов!» Вам будут говорить, что я самый ярый из них, что я фанатик, вам будут говорить, что я умел вполне подчинить своей власти высокопоставленных особ, что и составляет главную цель иезуитского ордена на всем земном шаре; думайте об этом, как вам угодно... Но если в тяжелые для вас минуты – а без этого не обойдется – вам понадобится рука помощи, позовите меня – и я тотчас же явлюсь.

Он поклонился и быстрыми шагами направился к северному флигелю замка. Лиана поспешила к себе. Трепещущими руками заперла она стеклянную дверь и недоверчиво осмотрела все гардины – плотно ли они сдвинуты, боясь, чтобы не проник сюда чей-нибудь

непрощенный взгляд...

Никогда еще при мысли о том, что ожидает ее в будущем, не было у нее такой тягости на душе, как в эту минуту, – никогда, даже и в те ужасные дни, когда по Рюдисфордскому замку раздавался молоток аукциониста, а ее мать, ломая руки, бегала по пустым залам и в отчаянии бросалась на пол, обвиняя Провидение, допускавшее умирать с голоду последних Трахенбергов... Тогда умная, энергичная Ульрика взялась за хозяйство и сумела сделать довольно сносною их домашнюю жизнь, и спасителем их и брата явился труд. Труд – более достойная поддержка, нежели «рука помощи» того католического священника! Нет, тысячу раз лучше пасть в борьбе с «тяжелыми минутами», нежели обратиться к нему за помощью!

Глава 8

Наутро Лиана открыла рядом со своей уборной скромно убранную, но веселенькую комнатку, очевидно, предназначенную служить ей гардеробной. Сюда перенесла она свой ботанический пресс, свои книги и рисовальные принадлежности, – тут будет она работать. Большое окно выходило на самые живописные части сада и на возвышавшиеся за ним высокие, покрытые лесом горы. Она заперла дверь на ключ и приказала горничной перенести гардероб в другую комнату. Горничная объяснила свое позднее появление обедней, и, действительно, от ее платья еще пахло ладаном.

– Придворный священник слишком строг, – жаловалась она, – и если больной человек в состоянии хоть ползать, то должен быть у обедни... Он гостит здесь иногда дня по два или по три; у него в Шенверте свои отдельные апартаменты, и он бывает еще строже самого гофмаршала. В столице говорят то же самое, господин придворный священник у герцогини первое лицо... – Затем она свое длинное объяснение заключила словами:

– Слава Богу, он только что уехал назад в город!

Это известие успокоило также и Лиану.

Вошел слуга и доложил, что в столовой подан завтрак. Эта столовая замыкала собою длинный ряд комнат гофмаршала; окна ее, обращенные на восток, выходили на обширный двор замка. Убранство ее состояло из массивной дубовой мебели, из множества оленьих и кабаньих голов, развешанных по стенам, и из массивных кубков в буфетах, – все это могло бы с гордостью служить украшением рыцарских обеденных зал средних веков. В одном из углов столовой топились камин, искры с треском летели на широкую полосу падавшего на паркет луча утреннего солнца. Теплота от камина достигала только кресла гофмаршала и стоящего около него, покрытого салфеткою столика, так как столовая была слишком обширна.

Подагра в ногах на этот раз, по-видимому, не так мучила старика: оставив свое кресло, но все-таки опираясь на костыль, он стоял у окна и смотрел на двор, когда вошла Лиана. Она увидела всю его фигуру в профиль. Этот человек был высокого роста, худой и, как все Майнау, был, вероятно, красив в молодости, если бы только черты его не были так мелки для мужского лица; сильное углубление между лбом и носом и слишком маленькое пространство от подбородка до носа составляли те особенности, которые делали в молодости его лицо пикантным, а теперь придавали ему чрезвычайно лукавое выражение.

Сквозь полуотворенную дверь соседней комнаты слышался громкий голос маленького Лео. Странное дело, при виде старика, стоявшего у окна, этот голос как-то успокоительно подействовал на молодую женщину... В стороне от гофмаршала в почтительном отдалении стояла ключница. В руках она держала книгу и разные бумаги, по-видимому хозяйственные счета, и тоже вытягивала шею, стараясь через плечо своего господина заглянуть на двор...

Когда Лиана, поклонившись гофмаршалу, прошла мимо нее, то не заметила по ее лицу, чтобы она помнила о происшествии прошедшей ночи, Гофмаршал повернулся и ответил на поклон Лианы хотя вежливо и любезно, но как-то торопливо; все внимание его, казалось, сосредоточилось на одном предмете во дворе.

– Вот, полюбуйтеся, – сказал он с волнением, обращаясь к подходившей Лиане, и указал ей на двор. – Эти безбожные повесы обрезали молодые деревья, только что посаженные в

парке... негодяи! Они хорошо знают, что арапник висит на стене с тех пор, как я осужден сидеть на одном месте... Но на этот раз Рауль проучит их для примера: ведь это его касается – эти новые посадки сделаны по его желанию.

Барон Майнау, вероятно, только что вернулся с утренней прогулки верхом; он был в шпорах, с хлыстом в руке и в запыленном платье.

Перед ним стояли «безбожные повесы» – двое деревенских детей: мальчик и девочка. Их привел полевой сторож, который, держа мальчика за плечо, делал доклад о совершенном ими преступлении. Из всех окон выглядывали головы; у сарая стоял конюх, вытаращив глаза и устремив их на хлыст господина барона, которым тот, слушая доклад, хлестал воздух. Девочка горько плакала, утирая слезы передником, и маленькое грустное личико ее было бледно, как известковая стена.

Сторож окончил доклад; Майнау сердито журил детей, и его голос доносился в комнаты. Он раза два поднимал над головами маленьких преступников свой хлыст, угрожая строгим взысканием, если проступок повторится, потом указал им на ворота; девочка опустила передник и пустилась бежать, мальчик последовал за нею, и через несколько мгновений они скрылись за углом под громкий хохот замковых слуг.

– Глупец, глупец! – в бешенстве ворчал гофмаршал и, прихрамывая, побрел от окна к своему креслу. Он был в самом дурном расположении духа. Лен окутала его ноги стеганым одеялом, поправила в камине дрова и спросила, указывая на расходную книгу, какие будут дальнейшие приказания господина барона.

– Никаких, – сердито ответил он, – кроме тех, что я раньше отдал, – не давать больше мадеры там, в индийском доме!.. С ума, что ли, вы сошли, Лен! Вы, кажется, думаете, что у меня деньги с неба валяются? Почему бы вам уже не делать ей ванны из вина и бульона? От вас и это станется!

– Мне все равно, господин барон, какое мне до того дело, – возразила ключница равнодушно. – Не одно ли и то же для меня наливать воду или вино в ложку, которую я подаю ей... Новый доктор просто сказал: она должна пить мадеру.

– Пусть этот болван со всею его премудростью проваливается, куда знает! Ему незачем посещать ее.

– В тот день, как он вступил в должность замкового врача, молодой барон сам изволил проводить его туда, – возразила Лен, несколько не смутясь грубым тоном своего господина. – Он осматривал ее и уже два раза спрашивал меня, – будто я могу что знать! – не были ли у нее припадки удушья, прежде чем разбил ее паралич?

Между тем Лиана подошла к большому круглому столу, стоявшему посреди зала; на столе был приготовлен завтрак. Взявши кофейник, она стала спиною к говорившим и вдруг испуганно схватилась за свое легкое батистовое платье: искры градом посыпались из камина, с таким ожесточением гофмаршал мешал в нем своим костылем дрова.

– Довольно, теперь вы можете убираться, Лен! – крикнул он со сверкающими глазами и указал на дверь. – Вы с вашей бабьей болтовней надоели мне!

Ключница с покорностью пошла к двери и уже взялась было за ручку. При этом шуме барон опять сильно ткнул в дрова костылем и повернул лицо к уходившей.

– Лен! – снова позвал он ее. – Вы самая несносная женщина, какую мне когда-либо приходилось иметь в услужении, но вы по крайней мере имеете то преимущество перед прочей прислугой замка, что по большей части бережете мудрость свою про себя и не пускаетесь в рассуждения... – Тут он откашлялся. – Пожалуй, продолжайте давать ей мадеру, но только чайными ложками – слышите? – чайными, большая порция вина может причинить ей вред... Посещения же доктора я запрещаю раз навсегда. Помочь ей он все равно не может, а только беспокоит ее своими осмотрами.

В эту минуту в соседней комнате раздался гневный крик, за ним последовал целый поток бранных слов из уст Лео, и слышно было, как он затопал ногами.

– Эй, что там! – закричал гофмаршал. – Да где прячется эта Бергер?

– Я здесь, – отвечала наставница, входя в комнату с обиженным, но все-таки смиренным

видом. – Я все время была здесь в комнате... Лео сначала был такой смирный, послушный мальчик, но потом Габриель выронил из молитвенника картинку. А ведь вы, господин барон, знаете, что мальчик глуп и вздорен. Вместо того чтобы отдать ее Лео, он стал вырывать ее у него из рук.

Маленький Лео не дал ей окончить; он своими сильными руками оттолкнул ее в сторону, подбежал к деду, держа в каждой руке по половине картинки.

– Рвать она все-таки не должна была! Ведь это глупо было, дедушка! Не правда ли? – кричал он вне себя. – Мне очень хотелось иметь эту картинку, это правда, а Габриель не давал, ни за что не хотел дать ее мне; тогда она схватила этого чудного льва и разорвала его пополам!.. Посмотри!

– Не могу не похвалить вашего неподражаемого решения, госпожа мудрость, – сказал гофмаршал с едким сарказмом наставнице, которая, сознавая свою правоту, подошла было ближе и теперь в смущении потупила глаза.

Гофмаршал взял разорванную картинку и бросил на нее беглый взгляд.

– Габриель! – позвал он строго и повелительно.

Мальчик вошел в комнату и остановился у двери; его ресницы были опущены, и лицо сделалось бледнее обыкновенного.

– Ты опять малевал? – спросил резко гофмаршал, прищулив свои и без того маленькие глаза, и устремил язвительный взгляд на трепещущего мальчика.

Габриель молчал.

– Ты опять стоишь, как будто и до трех не умеешь сосчитать, хитрец! А там, за проволочной решеткой, ты совсем другой... я знаю тебя! Только попусту портишь дорогую бумагу и поешь светские песни, как какой-нибудь язычник.

Эти слова потрясли Лиану; она нежно взглянула на мальчика: это были те самые песни, которые пел бедный ребенок с исполненным тревогой сердцем, чтобы успокоить свою взволнованную мать.

Гофмаршал потер бумагу пальцами.

– И откуда у тебя такая великолепная бумага? – продолжал он допрашивать.

Ключница, взявшаяся было за ручку двери, быстро повернулась и приблизилась на несколько шагов; ее лицо было совершенно спокойно, только всегда румяные щеки стали еще краснее обыкновенного.

– Это я дала ему, барон, – сказала она своим решительным тоном. Гофмаршал обернулся.

– Что это значит, Лен? Как осмелились вы сделать это, вопреки моему неперемемному желанию и моей воле?

– Э, господин барон. Рождество исключительное дело: тут только и хлопчешь о том, чтобы за пару пфеннигов видеть благодарность, а мальчика ничем так не утетишь, как этой бумагой... Детям кучера Мартина я подарила на елку целый стол разных безделушек, и никто не осудил меня за это... Я целый год не забочусь о том – пишет или рисует Габриель, ведь это не мое дело, да я ведь ничего и не понимаю; я и подумала так: а может быть, он нарисует Матерь Божию, ведь это не грех.

Гофмаршал смерил ее долгим, подозрительным взглядом.

– Не знаю, или вы бесконечно глупы, или чрезвычайно хитры, – проговорил он, отчеканивая каждое слово.

Лен спокойно выдержала его взгляд.

– Милосердный Боже! Во всю жизнь мою я ни разу не хитрила! Нет, уж скорее я глупа, господин барон.

– Ну, так позвольте просить вас оставить ваши глупости на будущее Рождество. Берегите ваши пфенниги на черный день, когда вы не в силах будете ни работать, ни служить! – гневно сказал он и ударил костылем о паркет. – Мальчик не должен рисовать ни под каким видом, слышите ли?... Это его развлекает... Разве это Матерь Божия? – горячился он, показав ей оба куска разорванной бумажки, на которой был правильно нарисован лев, готовящийся сделать прыжок. – Я говорю, что он только дурачится, а вы так просты, что еще помогаете ему...

Отвечай! скомандовал он мальчику, – какое у тебя призвание?

– Я пойду в монастырь, – ответил тот тихо.

– И почему?

– Я должен молиться за свою мать, – проговорил мальчик, и слезы брызнули у него из глаз.

– Правда, ты должен молиться за свою мать, на то ты родился, на то послал тебя Бог на свет... И если ты протрешь свои колени, день и ночь призывая на нее милосердие Божие, то и этого будет недостаточно. Ты знаешь это, тебе и придворный священник тысячу раз повторял то же самое, а ты все предаешься светским занятиям и даже строго запрещенное тебе малеванье кладешь в молитвенник... стыдись ты, негодный мальчишка!.. Марш отсюда!

Худенькая фигурка мальчика исчезла за дверью, как тень.

– Лен, вы соберете всю подаренную на елку бумагу и принесете мне! – сказал гофмаршал.

– Слушаю, господин барон, – ответила ключница и расправила свой туго накрахмаленный фартук; ее рука слегка дрожала, но лицо было совершенно серьезно.

Поклонившись, она вышла из комнаты.

– Сегодня дедушка такой злой, – шепнул Лео наставнице.

Она с испугом зажала ему рот рукой. Лео ударил ее по руке и стал порывисто вытирать рукавом губы.

– Вы не смеете трогать моего лица вашими ледяными руками: я терпеть этого не могу, – ворчал он грубо.

Напрасно ждала Лиана выговора со стороны гофмаршала, но тот, отвернувшись, смотрел в камин, точно и не слышал звонкого удара по руке наставницы.

– Ты нехороший мальчик, Лео, и заслуживаешь наказания, – сказала она наконец строго.

– О, пожалуйста, это ничего, – тараторила наставница, подвязывая мальчику салфетку. – Мы все-таки ладим между собою; не правда ли, мой милый Лео?

– С такими правилами вы недалеко уйдете, фрейлейн Бергер, – возразила молодая женщина. – И для ребенка подобное обращение...

– Извините, но я поступаю согласно данной мне инструкции, – прервала ее колко наставница, бросив при этом взгляд в сторону гофмаршала. – Я всегда буду стараться заслуживать одобрение только с этой стороны; никто не может служить двум господам.

– Позвольте мне высказаться, фрейлейн Бергер! – прервала ее Лиана совершенно спокойно, но с таким достоинством, что наставница замолчала и потупила глаза.

– Позвольте мне прежде высказаться! – воскликнул старик.

Он небрежно откинулся на спинку кресла, сложив ладони и ударяя пальцами о пальцы; дерзкая и злая улыбка играла на его губах.

– Вы вчера были величественной, но все же девственно прекрасной невестой, и могу уверить вас, что вы мне гораздо больше понравились, нежели сегодня, когда вы облеклись в материнское достоинство; это мудрое выражение не пристало к вашему молоденькому личику... Скажите: откуда взялась у вас склонность вмешиваться в воспитание детей? Уж конечно, не от светлейшей матушки, ее-то я знаю.

Все это он говорил с улыбкой, шутя и продолжая ударять пальцами о пальцы.

– Ах, вы, верно, в институте читали блаженной памяти «Эмиля» Руссо, с позволения или тайно от начальницы, что, впрочем, все равно!.. Эти идеи были когда-то в большой моде, и ими до тех пор кокетничали, пока большая часть из почитателей их не сложила своих голов под гильотиной... И мы с вами, кажется, сбились с истинного пути; но люди, которые за нами следуют, должны быть тверды. Это значит сеять драконовы зубы, а не так называемые семена добра, которыми у всех наших школьных учителей переполнены карманы. Итак, на будущее время не искажайте вашего нежного, очень детского личика неуместною строгостью и предоставьте мне эти заботы... А теперь я попрошу чашку шоколаду из ваших белоснежных ручек.

Лиана поставила чашку на серебряную тарелку и подала ему. По наружности она была очень спокойна: ее не смутил ни торжествующий взгляд косых глаз наставницы, ни

насмешливая улыбка, не сходившая с губ старика. Он взглянул на нее, когда она подавала ему чашку, и в первый раз Лиана могла заглянуть в его выразительные маленькие глаза: в них светилась злоба. Она тотчас поняла, что этот человек, с которым ей предстояло жить и бороться до конца дней его, был непримиримым ее врагом. Она была слишком умна, чтобы не понять также, что кроткая уступчивость с ее стороны только погубила бы ее и предала бы ее в его руки и что здесь, если она хочет удержать за собою свои права и положение, должна при случае, где может, платить тою же монетою.

Он взял ее левую руку и посмотрел на нее.

– Прелестная ручка, настоящая аристократическая!

Слегка ощутив конец ее указательного пальца, он сказал:

– Он очень шершав; вы шили, то есть не вышивали, а просто шили, вероятно, белье в приданое себе?.. Этот исколотый пальчик должен быть совсем гладким, прежде чем мы представим вас ко двору. Такое доказательство трудолюбивой камеристки не пристало пальчику баронессы Майнау... Боже, как меняются обстоятельства! Что сказал бы рыжий Иов Трахенберг, самый богатый и могущественный из крестоносцев, если бы увидел этот изувеченный пальчик?!

Лиана посмотрела на него с серьезной улыбкой.

– В его время женщины высшего общества не стыдились, если руки их свидетельствовали о их трудолюбии, – сказала она. – Что же касается до нашей бедности, с которой вы связываете изувечение моего пальца, то, надеюсь, Иов имел бы настолько мудрости, чтобы понять, что превратности судьбы выше человеческой воли и что протекшие после него столетия не могли бесследно пройти для последующих родов... Майнау тоже не всегда пренебрегали трудом. Я довольно часто перелистывала свой фамильный архив и знаю из записок одного из моих предков, что один из Майнау долгое время служил у него бургомистром и был, как он сам выражается, честным, верным и чрезвычайно трудолюбивым человеком.

Она возвратилась к столу и стала готовить кофе; в обширной столовой на время воцарилась мертвая тишина.

При последних словах Лианы гофмаршал поднес чашку ко рту с такою поспешностью, точно умирал с голоду; вдруг Лиана услышала стук чашки о блюдечко в его руках, и, когда он, после минутного молчания, резко и повелительно спросил у нее гренков из белого хлеба, она подала ему тарелку с такою предупредительностью, как будто между ними не произошло ни малейшей размолвки. Он торопливо взял с тарелки несколько ломтиков, не отрывая глаз от камина.

Глава 9

Мама, сказал Лео, протягивая к ней с ласкою свои маленькие ручки, – я буду умник, я больше никогда не буду бить Бергер, только позволь мне сидеть около тебя.

Она посадила его около себя, невзирая на гневный взгляд, брошенный на нее стариком, и подала ему завтрак.

В это время в противоположную дверь вошел барон Майнау и на мгновение с видимым удовольствием остановился на пороге. Представившаяся его глазам картина была очень хороша, такую именно хозяйку желал он видеть в Шенверте. Она сидела в белом батистовом платье с высоким воротом; ее лицо было поразительно бледно, особенно возле цветущего детского личика, а на светлом фоне стен ярко выделялись ее золотистые волосы. Вчера ее величественная, важная осанка положительно навела на него страх. Ее чудная фигура с гордою головкой и решительные речи напугали его; она вовсе не походила на смиренную девочку с робким нравом, какую он желал сколько для себя, столько и для всей обстановки Шенверта. Это неприятное открытие сильно встревожило его, и он до этой минуты не мог простить себе, что позволил сиятельной родственнице в Рюдисдорфе перехитрить себя и связал свою жизнь с высокомерной, требовательной женщиной, гордой своими предками и внешними преимуществами и способной стеснить драгоценную ему свободу... Теперь он увидел ее среди

ее хозяйственной деятельности, и с таким скромным видом, что даже далеко не красивая наставница казалась около нее сносной... Его мальчик сидел возле нее, и за старым дядей, по-видимому, был хороший уход.

Весело пожелав всем доброго дня, он скорыми шагами направился к столу. Казалось, что вся яркость красок и свежесть летнего дня ворвались в комнату вместе с ним, так гордо, полный жизни и силы, шел он по обширной столовой. Никто так ясно не ощущал этого, как больной старик у камина; он нахмурил свои тонкие брови, и глубокий вздох вырвался из его груди; но его дурное расположение духа не стало оттого лучше.

– Ну, Рауль, многие ли из твоих молодых *pru-nus triloba*⁴ стоят еще в новом парке? – насмешливо спросил он у племянника, который в эту минуту подносил к губам руку своей молодой жены.

Легкая складка легла на его белом высоком лбу, но он тотчас же засмеялся.

– Каковы умники! «Только один домик» хотели они построить себе, и для этого им понадобились мои великолепные *prunus*, – сказал он с юмором. – По счастью, их поймали именно в то время, когда они добивались до самого лучшего экземпляра, моего любимца; в сущности, ущерб незначителен.

– Нет, значителен даже и в таком случае, если бы они отломили хотя один только прутик, – резко прервал его гофмаршал. – Это уже слишком далеко зашло. Пока я был на ногах, никто не осмеливался коснуться листка; этих дерзких животных надо было бы наказывать, примерно наказывать... Если бы этот хлыст был в моих руках!

– Я не нахожу удовольствия бить такое крикливое маленькое создание, да и мальчик показался мне очень бледным, – сказал барон Майнау медленно и небрежно и подошел к окну.

Какой контраст представляло напускное хладнокровие обыкновенно вспыльчивого Майнау с клокотавшей злобой его дяди!.. Сильно раздраженный, повернулся он к племяннику, который, стоя у окна, тихонько барабанил пальцами по стеклу.

– Это такие гуманные воззрения, которым «братья портные и сапожники» будут неистово аплодировать и которые могут тебе приобрести среди них популярность, но перед лицом своего круга ты покажешься только смешным, – заметил гофмаршал.

Барон Майнау продолжал барабанивать по стеклу, но видно было: кровь бросилась ему в лицо.

– Мой милый Рауль, когда я смотрел на разыгрывавшуюся на дворе сцену, у меня невольно возникло подозрение: должно быть, правда то, что про тебя болтают.

– А что про меня болтают? – спросил барон Майнау и повернулся к дяде.

– Э, не горячись, друг мой! – уговаривал тот. Красавец Майнау, стоя в нише окна, принял вдруг такой повелительный вид, точно требовал отчета в сказанных словах.

– Честь твоя тут не затронута, – продолжал дядя, – только, повторяю, ты делаешься смешным, допустив из принципов гуманности бежать преступника Штрольха, этого гессенца, который уже много лет занимался браконьерством в Шенверте; говорят, что ему помогло «высшее» лицо именно в ту минуту, когда жандармы готовились схватить его.

Насмешливая улыбка мелькнула на губах Майнау.

– Ну, вот, неужели этот маленький грешок достиг до твоего слуха, дядя? – спросил он. – Вполне уважаю искусную ткань паука, в которой, за какую бы ниточку ни задела несчастная муха, ее неминуемо тянет к центру... Этот гессенец был действительно пренеприятной личностью: он у меня под носом убивал моих лучших оленей. Еще если бы это было из страсти к охоте, я, пожалуй, посмотрел бы сквозь пальцы, а то ведь он делал это из крайности... *fi done*⁵!

Прежде, конечно, было иначе; тогда владельцы Шенверта имели полное право

⁴ Слив (.шт.).

⁵ Фу! (фр.)

расстрелять такого надоедливового субъекта без дальнейших рассуждений и, если угодно, сделать себе перчатки из его кожи. Боже! Неужели право натягивать на свои пальцы кожу ближнего может удовлетворить сознание своего могущества!

При этих словах гофмаршал повернулся и устремил пристальный, испытующий взгляд на говорившего. Потом повернулся к нему спиной и принялся отбивать такт своей палкой по бронзовой решетке камина с такой силой, что она зазвенела.

– Большинство преимуществ нашего сословия лишило нас злополучных новейших идей, – продолжал барон Майнау, – а того, что оно дает нам взамен, я не хочу... Мошенник, который очистит лавку брата сапожника или портного, будет точно так же наказан, как и браконьер, ворующий мою дичь; нет, это не в моем вкусе! Его посадят в тюрьму, и как как по выходе из нее ему уже положительно нечего будет есть, то он в этот же вечер снова примется за фуражировку в моих лесах. В таком случае я, как и в былые времена, сам произвожу расправу и устраняю молодца с дороги: в Америке он не может мне вредить.

– Глупости! – проворчал сердито старик. А Майнау тем временем подошел к кофейному столу и погладил кудрявую головку Лео.

– После завтрака мы с тобой поедем кататься, мальчик: мы должны показать маме наших фазанов и другие редкости Шенверта. Ты согласна, Юлиана? – спросил он, ласково обращаясь к жене.

Она ответила утвердительно, не поднимая глаз от вышиванья.

Майнау закурил сигару и протянул руку к шляпе. Лиана встала.

– Могу я просить тебя уделить мне несколько минут? – спросила она.

Она опять стояла перед ним: высокая, стройная, недоступно-важная; он видел на самом близком расстоянии белизну ее бархатной, матовой кожи, почти всегда неразлучную с рыжеватыми волосами; он видел ее темно-серые глаза, смотревшие на него бесстрастно и спокойно.

Он вежливо подал ей руку.

– Берегись, Рауль! Прекрасная дама привезла кучу новостей из Рюдисдорфа, – воскликнул гофмаршал шутливо, грозя ему вслед пальцем. – Она лучше всякого архивариуса знает свои фамильные традиции. Я сейчас узнал от нее, что один из Майнау числился на службе у сиятельных Трахенбергов.

Майнау порывистым движением опустил руку, на которую опиралась его молодая жена. Молча, с угрюмым лицом подошел он один к двери, широко распахнул ее и пропустил Лиану вперед.

Она подняла на него глаза только тогда, когда они остановились у другой двери, в которую он пригласил ее войти. При входе в комнату Лиане бросилось в глаза висевшее на противоположной стене, подобно легкому облаку, резко отделявшемуся на ярком фоне обоев, изображение того воздушного существа с упрямым, гордым поворотом пленительной головки, с плоскою грудью, узкими плечами, худенькими, детскими руками, тонувшего в волнах желтоватых кружев; оно выступало из массивной рамки подобно белой бабочке, привязанной на нитку и напрасно порывающейся лететь далее. То был портрет первой жены Майнау, и Лиана с испугом догадалась, что она в комнате Майнау. Неверными шагами приблизилась она к окну.

– Я скоро закончу, – сказала она, отказываясь от кресла, которое он ей придвинул.

Опершись рукою о край письменного стола, она невольно сдвинула с места один из больших фотографических портретов в овальных рамках, украшавших стол.

– Герцогиня, – сказал Майнау, как бы представляя ее, и осторожно поставил портрет пышной красавицы на прежнее место.

Совсем неожиданно для Лианы он подошел к окну, у которого она стояла, и наполовину спустил штору. Солнечный луч узкой полоской заиграл на лбу молодой женщины и заставил ее опустить глаза.

– Ну, – сказал он, покончив со шторой и про долгая стоять лицом к окну, – могу я узнать, в чем состоят твои желания, Юлиана? Не имеют ли они действительно отношения к

Рюдисдорфу, как говорил дядя? Он был сегодня в дурном расположении духа; твоё замечание, вероятно, ещё более раздражило его.

– Я была вынуждена сделать это, – сказала Лиана спокойно, но решительно.

– Как! Он опять решился оскорбить тебя? Он дал мне слово...

– Оставьте это, – прервала она его спокойным, но горделивым движением руки. – Я считаю его очень больным и не забываю этого ни на минуту. Действительно, его злобные выходки я стану до тех пор прилично отражать, пока он не прекратит их.

Майнау окинул её пристальным, испытующим взглядом.

– Это очень благоразумно, – сказал он медленно, – таким образом у нас водворится мир, которого я так страстно желаю... Поверь мне, ничто не может так радовать человека, принявшего намерение путешествовать, как уверенность, что у него в доме все обстоит так, как он того желал.

– Об этом-то я и хотела поговорить с вами. Вы... Он весело улыбнулся.

– Право, Юлиана, это уж вовсе нейдет, – прервал он её. – Если бы кто-нибудь мог подслушать нас, то непременно разразился бы смехом... Воля твоя, а ты должна наконец решиться переменить «вы» на «ты», уже ради замковой прислуги, которая может счесть это выражение за особенный, вовсе не подходящий мне знак уважения. Такого поклонения я не желаю и ещё более того – не заслуживаю, благодаря своим многочисленным недостаткам.

При этих словах он почти невольно обвел глазами письменный стол и оконную нишу, в которой стояла массивная, чудной работы, резная мебель. Лиана следила за его взглядом. В самом деле, тут была целая картинная галерея красавиц в дорогих бронзовых рамках; там прелестное аристократическое личико с томным взглядом, тут гордо откинута головка, а между ними танцовщицы в самых соблазнительных костюмах и позах. Среди стола, где бы, по её мнению, приличнее всего было стоять портрету Лео, стоял под стеклянным колпаком, на белой бархатной подушке, светло-голубой и уже полинявший атласный башмачок.

Лиане не было ново этого рода почитание между мужчинами: её подруги в институте не раз рассказывали ей об этом; но тут она в первый раз видела собственными глазами образчик такого почитания. Она сильно покраснела. Майнау заметил это.

– Воспоминания несчастного времени моего «безумства», – сказал он весело и так сильно ударил указательным пальцем по колпаку, что звон стекла раздался по всей комнате. – Боже мой, как надоело мне это созерцание, но мужчина должен держать данное слово!.. В минуту увлечения я поклялся обладательнице его свято хранить свидетеля её торжества и храню его, но он ужасно мешает мне, особенно когда я пишу письма: своими большими размерами он уязвляет мой изящный вкус, постоянно напоминая мне, как непростительно я был глуп в то время... Но ещё раз прошу тебя, Юлиана, – сказал он серьезнее, – обращаться ко мне более непринужденным тоном, что много облегчит тебе твоё положение как хозяйки дома... Будем добрыми друзьями, Юлиана, верными товарищами без притязаний на сентиментальность. Ты увидишь, что, несмотря на моё непостоянство, я надежен в дружбе и умею свято хранить её...

– Я согласна, уже ради Лео, – сказала она, с необыкновенным тактом выходя из своего затруднительного положения. – Я желала поговорить с тобою и сообщить тебе, что ребенок в самых ненадежных руках, что ты должен немедленно принять меры...

Он не дал ей закончить.

– Это я предоставляю тебе! – воскликнул он нетерпеливо. – Прогони эту личность хоть сейчас, только уволь меня от вмешательства... Умоляю тебя, не подражай Валерии! Той хотелось непременно сделать из меня домашнего полицейского, и сначала она проливали горькие слезы, потому что я не соглашался делать выговоры её горничной за каждый дурно приколотый бантик!.. Ещё прошу тебя никогда не горячиться, Юлиана, только не горячиться!.. Чем спокойнее, бесстрастнее и равномернее потечёт наша домашняя жизнь в Шенверте, тем благодарнее буду я моему доброму другу... Впрочем, дядя уже списался с новой гувернанткой, которая имеет отличные рекомендации.

Лиана вынула из кармана какие-то бумаги.

– Мне было бы всего приятнее, если бы она вовсе не приезжала, – сказала Лиана. – Может

быть, ты просмотришь эти бумаги, – это не займет много времени: вот мой аттестат из института. Я практически знаю новейшие языки; что же касается до выговора, то о нем ты сам можешь судить. В прочих предметах у меня тоже хорошие отметки; кроме того, я не решилась бы взять на себя преподавание мальчику, если бы сама не занималась серьезно и с охотой... Ты сделал бы меня счастливою, если бы согласился предоставить исключительно мне одной воспитание Лео и тем позволил бы мне достигнуть избранной мною цели в жизни.

Он несколько раз прошелся быстрыми шагами по комнате и потом с выражением удивления остановился перед нею.

– Такие речи в устах женщины для меня новы, я еще никогда их не слышал, – сказал он. – Я охотно поверил бы тебе, Юлиана, будь ты поопытнее и годами десятью постарше.

Полунасмешливым, полупрезрительным взглядом окинул он свою галерею красавиц в оконной нише и остановил его на портрете первой жены.

– Лев еще не пробовал крови! – говорим мы обыкновенно слишком самонадеянной неопытности. Кто знает, может быть, во многих из этих головок и были задатки добродетели, пока общество не увлекло их в свой водоворот, – продолжал он, указывая на ряды портретов. – Ты воспитывалась в институте и по возвращении домой видела – извини меня – падение рюдис-дорфского величия... Ты не знаешь, какую неотразимую прелесть представляет жизнь. Когда-то графиня Трахенберг упивалась ею до пресыщения.

При намеке на расточительность матери Лиана вся вспыхнула.

– Что мне отвечать тебе, – возразила она тихо, – когда ты не хочешь верить, что у девушки может закалиться душа после поучительного примера?.. Позволь мне быть откровенной, как это подобает добрым друзьям, – продолжала она быстро и энергично. – Я, подобно тебе, предначертала себе план своей жизни и буду ему следовать. Прежде всего прошу тебя не класть более ничего в верхний ящик моего письменного стола, это золото наводит на меня несказанный страх, и к чему оно мне?

– И ты хочешь, чтобы я поверил тебе в этом, после того как ты только вчера заявляла мне свои права облачаться в горностаи и уверяла, что сумеешь удержать их за собою?.. Где же ты хочешь щеголять? Ведь не в классной же комнате! При дворе, конечно, на паркетах дворца, а на это много надо, – ты сама скоро убедишься в том. Придет время, когда ты сама попросишь меня увеличить сумму, получаемую тобою на булавки; вот эта, – он указал на портрет первой жены, – в совершенстве обладала таким талантом, приобретишь его и ты.

– Нет! – решительно воскликнула Лиана. – Никогда!.. А теперь позволь мне сказать в свое оправдание: да, я горжусь своими предками, – они были честные и благородные люди из рода в род, и для меня ничего нет приятнее, как пробежать историю их жизни. Но ведь за их достоинства я не могу заставить уважать себя и никогда не похвалилась бы этим унаследованным мною блеском перед людьми, которые умеют правильно ценить всякое внешнее положение; но там, где являются гордость и большие претензии на богатое дворянство, – там я взываю к моим предкам.

Он с минуту стоял перед нею молча, скрестив руки на груди.

– Я желал бы спросить тебя: почему ты только тут, в Шенверте, показываешь мне эти глаза, Лиана? – медленно проговорил он.

Она с испугом отвела от него свои блестящие одушевлением глаза.

– Могу я просить дать мне окончательное решение? – спросила она в замешательстве. – Могу ли я быть матерью Лео и его единственною наставницей и устроишь ли ты так, чтобы и гофмаршал не стеснял свободы моих действий?

– Трудно это будет, – ответил Майнау и провел рукою по лбу, – но это не помешает мне предоставить тебе полную власть... Посмотрим, кто в тебе победит – избранная ли тобою задача в жизни, со всеми ее темными сторонами, или дочь княжны Лютовиской?

– Благодарю тебя, Майнау, – сказала она почти с детской радостью, не заметив его последнего иронического замечания.

Он хотел было поцеловать у нее руку, но она отвернулась и быстро пошла к двери.

– Не надо этого: добрые товарищи и так поймут друг друга, – сказала она, оглянувшись на

него с веселой улыбкой.

Глава 10

Лен приходилось теперь плохо, как она выражалась. При этом она склоняла голову и глубже втыкала роговой гребень в свою седую косу. Трудно ей было ладить с больной, которая очень волновалась, так как герцогиня аккуратно, каждый день, даже когда «Господь посылал с неба дождь», проезжала верхом мимо индийского домика... При дворе все были убеждены, что после внезапной женитьбы Майнау, «этого безумного поступка», отношения его при дворе изменятся, и прежнее расположение заменится глубокою ненавистью, – вышло же совсем иначе. Приближенные поговаривали, что герцогиня, убедившись, что этот брак совершен в полном смысле по расчету, успокоилась, тем более что старый гофмаршал относился к нему враждебно и со временем надеялся расторгнуть его... Но чего никто не знал – это необъяснимых загадок женского сердца, одинаково присущих как сердцу аристократки, так и сердцу гризетки: никогда еще герцогиня не любила так глубоко и страстно гордого, красивого барона, как после данного ей ужасного урока, так жестоко уязвившего ее душу...

«Красноголовая», как называли придворные дамы новую госпожу Шенвертского замка, не могла возбудить ревности герцогини после того, как та при встрече успела всмотреться в ее лицо сквозь «монашескую вуаль» и не нашла в нем ничего привлекательного. Между тем как первая жена своими изящными туалетами, пикантностью и неутомимой жаждой к увеселениям всегда была любимой гостьей при дворе и лучшим украшением его салонов, второй жены своей Майнау даже не представлял ко двору.

Он по-прежнему по несколько дней жила один, как холостяк, в своем роскошном наемном отеле в столице и очень непринужденно говорил о своей предстоящей поездке на Восток... Все это убедило герцогиню, что женитьба утолила навсегда жажду мести пылкого барона и он оставался совершенно равнодушным к своей дальнейшей судьбе, орудием своей мести. Герцогиня начала опять ежедневно кататься верхом через Шенвертский парк, и всегда в очень веселом настроении.

По отъезде гувернантки из замка, что случилось через несколько дней после разговора Лианы с Майнау, придворный священник стал чаще обыкновенного наезжать сюда: он вызвался даже преподавать Лео закон Божий... Между дядей и Майнау произошла бурная сцена; прислуга утверждала, что, верно, от костыля летели щепки, – так сильно стучал им гофмаршал по паркету; но горячность его была совершенно излишня, так как через полчаса спальня Лео была устроена рядом со спальней Лианы, и с этой минуты Лиана вступила во все права матери, и в доме все должны были строго признавать их за нею. Хотя люди в замке и поговаривали между собою, что гофмаршал терпеть не может молодой госпожи, а молодой барон совсем равнодушен к ней, но что в ней за десять шагов видна графиня – этого они отрицать не могли, а потому у них не хватало мужества отвечать ей невежливо. Сначала они, конечно, удивились, когда эта «вторая» вдруг неожиданно явилась перед ними, чтобы следить за «порядком», но они скоро привыкли к этой странности, когда даже всегда брюзгливая ключница беспрекословно отворила свои кладовые перед пронизательными серыми глазами новой госпожи.

После известного разговора Лиана избегала случая оставаться наедине с Майнау, да он и не искал этого. Ему также не представлялось более случая удивляться ее взгляду. Даже при самых оживленных разговорах и спорах между ним и придворным священником за чайным столом она сидела так тихо, пристально следя за своими красивыми руками, в которых быстро мелькала иголка, что Майнау был убежден; она мысленно следит за вокабулами Лео или считает куски мыла, выданного ею в прачечную. Он, так искренно ненавидевший «немецкую скуку» как смертельный яд, сам своими руками водворил ее у себя в доме вместе с этою тихою, пассивною натурой. Все его работы в парке были окончены, так что ему, как он выражался, на целые полгода не представлялось никакой деятельности в отечестве, и он стал энергично готовиться к отъезду... В его жилах текла бродяжническая кровь Майнау, как сказал он

однажды, смеясь, за чаем гофмаршалу.

Старик обиделся и запретил от имени своего и своих предков употреблять подобные сравнения. Произошел резкий обмен словами, бросивший яркий свет на прошедшее. Продолжая, по-видимому безучастно, вышивать стежок за стежком, Лиана мысленно представляла себе трех братьев Майнау, которые, лет тридцать пять тому назад немало возбуждали о себе толков. Они были красивы и богаты, и все в них заискивали... Этот старик с безукоризненно завитыми седыми волосами, с покрасневшим от внутреннего волнения лицом был прав, протестуя против бродяжнической крови. Он, средний из братьев, мог жить и дышать только в придворной атмосфере. Он всегда стремился к высшим целям, как обыкновенно выражалась про него графиня Трахенберг, когда хотела намекнуть на то, что отвергла его искательства... «Прилично» пристроившись при дворе, он, согласно «приличию», женился на равной ему по рождению женщине, «назначенной» ему царствующей герцогиней, и по совести мог сказать, что его аристократические ноги не касались грубой почвы обыденной жизни. Его старшему брату, напротив, рано наскучил свет; он добирался до вечных льдов Северного полюса и вел кочующую жизнь среди индейских охотников; когда же он появлялся в «маленьком гнезде немецкой земли», то своей эксцентричностью и бесцеремонностью приводил в ужас своего придворного брата. Но раз одной красивой богатой наследнице удалось поймать его в свои сети; он женился на ней и прожил в столице как раз столько времени, сколько было нужно, чтобы после несчастных родов закрыть прелестному созданию глаза, дать при крещении осиротевшему сыну имя Рауля и написать свое завещание. Тогда он отряс прах от своих ног и представил германскому посольству в Бразилии передать известие, что он умер от лихорадки.

Когда это повествование было окончено, Лиана хотела было пожалеть своего мужа, так рано осиротевшего, но к чему же? Он был богат, красив, полон жизни и силы и в своей независимости был до крайности беспощаден к другим. Весь мир, со всеми его наслаждениями, был у его ног, и по своей пылкой натуре он предавался им без разбора. Он сидел возле ворчливого старика, следя взглядом за голубыми клубами дыма своей сигары, стремившимися к окну, чтобы там слиться с последними лучами заходящего солнца.

– Милый Шенверт! – воскликнул он с комическим пафосом, указывая рукою на представлявшийся с террасы великолепный пейзаж. – Завидный уголок! Единственно тебе обязаны мы неутолимой жаждой к странствованию. Дядя гофмаршал и теперь прозябал бы в своей казенной квартире при дворе, если бы Гизберт Майнау остался здесь за печкой!

Придворный священник был прав, говоря, что старик выходит из себя при имени третьего, младшего, брата; так случилось и теперь: заслышав имя Гизберта, старик вздрогнул; но буря, вызванная неосторожным напоминанием, на этот раз не разразилась. Торопливо, точно собираясь в путь, положил он в карман пунцовый шелковый платок и различные флаконы и сказал:

– Pardon, мне пора вернуться к себе; к вечернему воздуху и к его бесспорной силе мои нервы чувствительны, как мимозы; а кто может сравниться с ним в мощности и силе?.. Да, блаженное время! Я всегда любил французские моды, а теперь сделался таким сварливым или, скорее, насмешником, что нахожу смешным, когда немецкая подражательность туда же пробует идти по стопам великого дяди... Любезный Рауль, в тебе много замашек дядюшки Гизберта, думаю, что никто не станет отрицать этого. И так как это нравится тебе, то я и поздравляю; да, я должен даже искренно желать, чтобы ты неуклонно держался его дороги, – его охота странствовать привела-таки его к истинной цели – к вечному спасению.

– Боже мой, да, как это грустно! Бедный дядя, он сделался хвор и благочестив, – проговорил Майнау с холодной усмешкой, между тем как гофмаршал положительно бил в набат своим серебряным колокольчиком.

Вошел камердинер, чтобы везти его в спальню. Майнау отстранил слугу и собственноручно покати кресло до самой двери.

– Ты, верно, позволишь мне оказать дедушке Лео должное почтение, – сказал он вежливо, хотя очень сдержанно, гофмаршалу, который гордо кивнул ему головой.

Потом Майнау запер за ним дверь и возвратился к чайному столу.

Молодая женщина всего охотнее сложила бы в эту минуту работу и тоже удалилась бы; но она поневоле осталась с ним одна с глазу на глаз и вовсе не желала после остроумных споров его с дядей и придворным священником слышать его разговор о предметах повседневной жизни, так как он никогда не скрывал своей нелюбви к домашней прозе; но Лиана не нашла благовидного предлога выйти из комнаты: укладывать Лео было еще рано; мальчик преобразил Габриеля в коня и с громким криком гонял его взад и вперед по ступеням лестницы, ведущей от стеклянной двери в сад. Пододвинув стул ближе к окну, она стала дошивать пурпуровый цветок кактуса, пользуясь последними лучами заходящего солнца.

– Не страшит ли тебя фантастическая семья, в которую я ввел тебя, Юлиана? – спросил Майнау с улыбкой, после некоторого молчания закуривая новую сигару. – Ты видишь, что у дяди волосы становятся дыбом при мысли, что в его жилах есть хоть капля нашей «дурацкой крови»; по-своему он отчасти прав, олицетворяя собою правила и формы, и ты со своим невозмутимо-спокойным, очень благоразумным взглядом на вещи сходишься с ним – насколько я успел узнать тебя.

Майнау остановился, как бы в ожидании утвердительного ответа, но Лиана даже и не взглянула на него. Она думала, что ей нечего доказывать ему противное, когда он этого вовсе и не желает. Подняв немного голову, она сравнивала только что вышитую тень с общим рисунком. Нежные губы ее были сжаты, и матово-бледные щеки ни на каплю не сделались розовее. При необыкновенной миловидности, вторично поразившей в эту минуту пристально смотревшего на нее Майнау, молодая женская головка, с устремленными на узор глазами, была безжизненна, как статуя; он невольно подумал, неужели только одна фамильная гордость причиной невозмутимости этой глубоко замкнутой души, но в ту же минуту он в душе обрадовался, что именно это так, а не иначе.

– Какой дивный рисунок!.. – сказал он, указывая на цветок кактуса. – Я понимаю, что тихая женская натура может до того углубиться в этого рода занятие, что забывает о всех прелестях внешнего мира. Ты, конечно, едва ли слышала что-нибудь из моих прений с дядей.

Он говорил так благосклонно и снисходительно, как будто желал услышать, что она действительно ничего не слыхала.

– Я достаточно слышала для того, чтобы удивляться, что ты сам нарушаешь тобою же составленную программу, – сказала она невозмутимо. – Ты желаешь спокойной, бесстрастной и однообразно текущей домашней жизни, а несколько минут тому назад употреблял все усилия, чтобы раздражить гофмаршала.

Она никогда не называла старика дядей.

– Тут маленькое недоразумение, милая Юлиана, – воскликнул он со смехом. – Программа не так сурова, пока я здесь, пока я сам распоряжаюсь, как хочу; не стану же я сам себя морить скукою!.. Я только не хочу, чтобы ссорились во время моего отсутствия, – продолжал он. – Боже милосердный, какое множество отчаянных писем сыплется тогда со всех сторон на несчастного отсутствующего!.. Сколько одна Валерия грешила в этом отношении!.. В самом темном уголке моего письменного стола и теперь еще лежат эти послания... любви. Я с заботливой нежностью перевязал их тогда розовой ленточкой; но моя рука никогда не касалась их, из опасения вызвать гнездящихся там духов лицемерия, властолюбия и ребяческих капризов... И все-таки я был тут на втором плане; у нее был отличный духовник – придворный священник, и ему-то первому она открывала свое сердце.

Злая улыбка, подобно молнии, мелькнула и исчезла на его красивом лице.

– Ба, чего же ты хочешь, – сказал он вдруг, после некоторого молчания, став у растворенной стеклянной двери и смотря на игравших мальчиков. – Я именно горжусь моим отношением к дяде почти так же, как гордится ребенок своим геройским поступком, когда принесет матери лакомый кусочек, не откусив от него дорожкой. Видела ли ты меня когда-нибудь взбешенным? А послушай любого человека, ты ужаснешься от того, что наговорят тебе о моей необузданной вспыльчивости... Здесь я владею собою преимущественно из желания хоть короткое время удивляться своему терпению, что некоторые счастливы

делают всю жизнь.

Молодая женщина взглянула на него, и глаза их встретились. В этом взгляде не было и искры того огня, который, подобно молнии, вспыхивает в глазах двух людей, заставляя их понимать друг друга. Она подумала: никто на свете не будет властвовать над душою этого взлелеянного судьбою и избалованного вниманием женщин человека, кроме его собственных буйных желаний и воли; а он, пожав плечами, взял свою шляпу, думая про себя: в этих серых глазах можно счесть число стежков, которые она сделала пунцовым шелком во время его речи.

– Я ухажу, – сказал он. – Берегись, Юлиана, – смеркается, а храбрая прислуга замка клянется всем для нее священным, что тень дяди Гизберта появляется в том окне: в предсмертной борьбе он велел принести себя сюда. Но что я говорю! С такими безгрешными душами, как твоя, ничего не может случиться.

– Другие духи властвуют над нами, смотря по тому, любим мы их или боимся, – возразила она просто, не обращая внимания на насмешку в его голосе. – Я не боюсь тени дяди Гизберта, но желала бы спросить его: почему именно он хотел умереть здесь?

– Это и я могу тебе сказать. Ему хотелось бросить последний взгляд на свою «Кашмирскую долину», – ответил он с заметною живостью.

Он подошел к Лиане очень близко и указал на сад:

– Там, под обелиском, велел он похоронить себя... Ах, впрочем, тебе не видать отсюда монумента, – он там, в стороне.

Он вдруг взял Лиану за голову обеими руками, чтобы дать верное направление ее взгляду; его пальцы тонули в красновато-золотистой массе ее густых волос. Молодая женщина вздрогнула, с силою стряхнула его руки и устремила на него взгляд, горевший неподдельным негодованием. Он совершенно растерялся, густая краска разлилась по его лицу.

– Прости! Я и тебя и себя перепугал... Я не знал, что твои волосы при малейшем к ним прикосновении испускают такие искры, – сказал он нетвердым голосом, отходя от нее.

Она села и опять склонилась над работой. Теперь она снова представляла из себя спокойное средоточие в самой себе, как и прежде, а Майнау был далек теперь от мысли, что эта женщина считает стежки своей работы. Его взгляд был пристально устремлен на узкий пробор, блестевший на середине ее затылка, между распущенными косами; прежде он был как перламутр, теперь же принял темно-розовый оттенок. Он не взял опять брошенной им шляпы – он досадовал на встречаемый уже не в первый раз и вовсе не предвиденный момент отталкивания у «этой рыжеволосой женщины», а еще более досадовал сам на себя за понесенное поражение, да еще от не любимой им жены. Самое лучшее было предать случившееся полному забвению.

– Я на самом деле желал бы, чтобы дядя Гиз-берт мог вернуться и посмотреть туда, – сказал он и подошел к злополучному окну; он говорил теперь очень спокойно. – Ровно тринадцать лет лежит он там под красным мрамором; между тем его любимые индийские растения разрослись под северным небом так, как он и сам, вероятно, не ожидал. Они часто бывают причиной споров в Шенверте. С наступлением сурового времени года все эти чудеса южной флоры должны быть скрыты под гигантскими стеклянными домами, животные тоже требуют тщательного ухода, а это стоит больших денег. Дядя ежегодно делает попытки стереть с лица земли дорогую затею, а я решительно не допускаю прикоснуться ни до одного листа.

– А до человеческой жизни, которую немецкий дворянин завез под северное небо? – спросила она; ее мелодический голос звучал резко.

Он снова быстро подошел к ней.

– Ты намекаешь на женщину в индийском домике? – спросил он. – Вот, полюбуйся на мальчика! – тут он указал на Габриеля, на спину которому уселся Лео; худенькая фигурка импровизированной лошади терпеливо гнулась под ударами хлыста. – Вот тип расы, вывезенной из-за моря как неоцененное сокровище: трусливая, собачьи преданная и изменчивая при малейшем соблазне... Этот мальчик невыразимо противен мне. Я скорее простил бы ему пару синяков на спине моего сына, нежели это скотское раболепство человека, созданного по образу Божию... Лео, сейчас долой! – закричал он громко в отворенную дверь и сердито

нахмурил брови.

Габриель только что взошел на верхнюю ступеньку. Он очень утомился и вспотел под беспокойным седоком, которого он с трудом внес на себе на лестницу; но, несмотря на это, его лицо оставалось по-прежнему бледно, хотя прекрасные линии его овала не изменились, как и у здорового ребенка.

– Ступай домой! – грубо приказал ему Майнау и повернулся к нему спиной.

Детски наивная и вместе с тем меланхолическая улыбка, оживлявшая лицо Габриеля, когда он всходил на ступени, мгновенно исчезла, и лицо от испуга стало еще бледнее. Сердце Лианы сжалось при виде, с какой нежной заботливостью спустил он на пол сына сурового человека и не мог удержаться, чтобы еще раз не погладить с робкою лаской курчавую головку Лео... Бедный «козел отпущения»! Его молодая душа отдана была во власть строгой церкви и ревностно-религиозной аристократии; а человек, который при помощи своей энергии мог бы защитить его, сам, ослепленный предубеждением и презрением, попирает его ногами.

– Покойной ночи, мое милое дитя! – крикнула она мальчику, когда тот неслышными шагами спускался по лестнице.

Затем она сложила свою работу и встала. Сознывая свое полнейшее бессилие, она ни слова не сказала в защиту несчастного ребенка, но, стоя теперь перед мужем, она всю свою личность представляла олицетворение протеста против жестокого обращения владельца замка.

Майнау молча смотрел на нее сбоку, когда снова закуривал свою сигару.

– Видишь ли ты это дивное дерево? – спросил он холодно, указывая на одно из банановых деревьев в индийском саду. – Оно гордо возносится к холодному небу, между тем как чужеземное человеческое отродье унижается до степени скотского служения. В таких случаях я не знаю жалости.

Молодая женщина стояла спиной к нему и убирала шерсть в рабочую корзинку, она не подняла даже глаз при его словах.

– Не будешь ли так добра хотя бы взглянуть на меня, – сказал он как-то строго.

В первый раз уклонился он от тона доброго товарища и заговорил как глава и повелитель, он был оскорблен.

– Недостает еще, чтобы моя жена, облекшись в сознание своего нравственного превосходства, показывала мне презрение из-за этого незаконнорожденного!

Она испугалась, как бывало дома, когда повелительный голос матери касался ее слуха. Она робко повернула к нему свое побледневшее лицо, и в эту минуту это было самое миловидное, самое девственно-чистое лицо, с которого смотрели на него большие, испуганные глаза.

Горевший гневом и досадою взгляд его тотчас же смягчился.

– Боже мой, как ты бледна, Юлиана! Ты смотришь на меня такими глазами, как Красная Шапочка на злого Волка... Неужели наши дружеские отношения уже нарушены?... А? Мне было бы жаль, – сказал он с сожалением, пожимая плечами, как будто желая выразить свой страх за тщательно сохраняемую скуку в Шенвертском замке. – Я хочу разъяснить тебе некоторые обстоятельства, – прибавил он, пройдясь скорыми шагами по залу. – Когда дядя Гизберт после продолжительного отсутствия вернулся в свое немецкое отечество, мне было лет четырнадцать, и я обожал своего «индийского дядю», хотя никогда его не видал. Знали, что он посредством торговли в тысячу раз увеличил свою наследственную часть; из его жизни рассказывали факты, которые могли бы занять не последнее место между сказками «Тысячи и одной ночи»; но когда он еще из Бенареса распорядился покупкою Шенверта и устройством его по своему вкусу, то граждане нашей благословенной столицы буквально разинули рты... Я никогда не забуду его, этого красавца, со своеобразными манерами, гениальной головой, в которой гнездилась самая мрачная меланхолия. «Кашмирская долина» была его идолом, а за проволочной решеткой дышало существо, которое по его приказанию было перенесено из дорожной кареты на носилках в индийский домик, и те, на долю которых выпало счастье нести «бледный лотос с берегов Ганга», клялись потом, что это не женщина, а воздушная нимфа.

И теперь эта чужестранка, полуженщина, полуребенок, лежавшая там на кровати, производила то же впечатление и казалась воздушным существом, которого только металлические монеты и кольца еще удерживали на земле.

– Кроме дяди гофмаршала и придворного священника, бывшего тогда простым капелланом, немногие посещали Шенверт: гордое обращение хозяина удерживало всех, – продолжал Майнау. – Мне самому только раз выпала милость провести здесь три дня, и тут случилось со мною то же, что с любопытными женами в «Синей бороде». – Майнау весело засмеялся и стряхнул пепел с сигары. – До кровопролития, конечно, не дошло, но дядя очень просто запретил мне возвращаться сюда... Индианка за проволочной решеткой положительно вскружила мне голову. Перекрестись, Юлиана! Я должен бросить взгляд на все безумства, которые творил ради женской красоты; я кидался в воду, чтобы поймать унесенный ветром бантик, пил шампанское из бальных башмачков; отчего же мне было не перелезть через проволочную решетку Шенверта, чтобы видеть женщину, которую, как говорили, дядя Гизберт любил «до безумия»? Дверь не была заперта, а «бледный лотос» не была пленницей; но я убежден, что она не хотела быть предметом внимания безбородого племянника своего владыки и повелителя, и потому прогулки по «Кашмирской долине» мне были запрещены... Итак, с замиранием сердца и не поднимая глаз я пополз между кустами и вдруг очутился прямо перед дядей. Он не сказал мне ни слова, но сострадательно-насмешливый взгляд его до того пристыдил меня, что я, забыв всю свою юношескую гордость, торопливо обратился в бегство... В то же утро без моего ведома подана была к замковому подъезду моя дорожная карета; дядя любезно простился со смертельно пораженным юношей, его посадили в карету и отправили обратно в университет – это была холодная ванна.

Майнау, улыбаясь, подошел к окну и посмотрел на индийский сад. Сумерки сгущались, низкая тростниковая кровля индийского домика утопала среди штамбовых роз, и только на золотых куполах индийского храма отражались еще последние отблески угасавшей вечерней зари.

– Я снова увидел дядю, – продолжал он после минутного молчания, став вполоборота к Лиане, – когда приводилось в исполнение его последнее желание и доктор готовился бальзамировать его труп. Меня вызвали из университета в Шенверт на погребение... Обезображенный лежал он на атласных одеялах; аромат кашмирских роз сменился неприятным запахом ладана; сквозь задрапированные черной материей окна не проникало пение соловьев; вместо него читались нараспев молитвы, и духовное лицо прославляло дядю за то, что он вовремя оставил свои заблуждения и возвратился на путь спасения... Неутешительный факт для этих догматов, – прервал он вдруг себя сердито, – что душа тогда лишь принимает их, когда болезни тела изнурят ее, и когда все струны нервной системы расстроены и порваны, и бедный мозг, отуманенный приближением смерти, не в состоянии работать! Да, вот таков был грустный конец этой необыкновенной, сказочной жизни, полной идеалов!

Молодая женщина все еще стояла перед рабочей корзинкой; она, сама не сознавая, что делает, несколько раз укладывала и вынимала из нее разноцветные клубки шерсти... Там, вдали, вырисовывались красивые линии полукруглого окна, у которого умер дядя Гизберт, созерцая свое индийское творение, и с этим впечатлением «заблуждения» улетела его душа, несмотря на целые облака ладана, наполнявшего его комнату... В полумраке сумерек оконная рама отражалась на паркете гигантским черным крестом, и неясно выделялась фигура говорившего Майнау, голос которого попеременно звучал то насмешкою, то гневом.

– Я знал, что в индийском домике родился ребенок, – продолжал он после минутного молчания. – Я видел его на руках у Лен, – в то время это маленькое существо с меланхолическим лицом глубоко трогало меня... Завещания не было, а по моему нравственному убеждению, мальчик был первым наследником. Я это, высказал – тогда мне показали записку. Дядя Гизберт умер от ужасной горловой болезни; за несколько месяцев до смерти он уже не говорил ни слова и изъяснял свои мысли письменно; таких записок много, вот здесь, – он указал на высокий письменный стол в стиле рококо, – в этих так называемых ящиках редкостей гофмаршала собраны они все до единой. В одной из таких записок он в строгих

выражениях отвергал женщину в индийском домике и настоятельно требовал, чтобы мальчик был воспитан для служения церкви. Я был взбешен, да и теперь еще не могу примириться с мыслью, что даже такой человек, как он, мог тяжело страдать от змеиного лукавства женщины... Дядя и я были законными наследниками. Мы вступили во владение Шенвертом. Таким образом я сделался хозяином и индийского сада; чудный образ дяди со спокойно скрещенными руками и огненным мечом насмешливой улыбки не преграждал мне более дороги в индийский домик под тростниковой крышей, где лежал обожаемый «цветок лотоса», как сраженный мстительной рукой.

– И ты наконец мог видеть ее? – невольно вырвалось у Лианы.

Он сделал движение отворачивания.

– Ты думаешь? Нет! Я исцелился навсегда! Неверной женщины я не коснусь и пальцем. А потом, – он содрогнулся, – я не могу видеть подобных больных, – при виде их каждая здоровая клеточка возмущается во мне... Эта женщина не в своем уме, разбита параличом и по временам кричит так, что в ушах звенит; она уже тринадцать лет умирает. Я никогда не видал ее и, насколько могу, избегаю дороги к индийскому домику.

Лиана закрыла рабочую корзинку и позвала Лео, игравшего в камешки на площадке, усыпанной гравием. Во время рассказа Майнау Лиана чувствовала, что готова была взглянуть на него, подойти ближе и принять теплое участие в его рассказе; но вот опять вдруг проглянул его возмутительный эгоизм, и на нее повеяло ледяным дыханием. Этот человек, в гордом сознании собственных сил, старался устранить со своего пути все, что могло помешать ему вполне наслаждаться жизнью.

– Скажи папе покойной ночи, Лео! – уговаривала она мальчика, который, стремительно бросившись к ней, повис на ее руке.

Майнау поднял и поцеловал его.

– Теперь ты не будешь более спрашивать о женщине в индийском домике, Юлиана?

– Нет.

– Надеюсь тоже, что я не услышу больше оппозиционного и нежного «покойной ночи, мое милое дитя». Ты понимаешь, что я должен так поступать.

– Я очень медленно думаю, и мне нужно время, чтобы прийти к какому-нибудь выводу, – прервала она его и, слегка поклонившись, вышла вместе с Лео из зала.

– Педагог! – с досадой проворчал он сквозь зубы и повернулся к ней спиной...

«Ну, что ж, тем лучше», – подумал он, усмехнувшись, и велел подать лошадь.

Он поехал в столицу, чтобы там провести остаток вечера и ночь.

Час спустя он говорил в благородном собрании другу Рюдигеру:

– Я сделал громадный выигрыш: моя жена не поет, не рисует и не играет на рояле. Слава Богу, не будет мне надоедать дилетантской навязчивостью!.. Она бывает иногда красивее, чем я сначала предполагал; но она неразговорчива и не имеет ни малейшей склонности к кокетству: она никогда не будет опасна... При этом не так ограничена, как я думал, и не так сентиментальна; но соображает очень медленно, и усвоенный в институте взгляд на вещи она сохранит на всю жизнь с упрямым постоянством людей, не одаренных фантазией, – тем лучше для меня! Ее письма ко мне я могу заранее анализировать: педантические упражнения в слоге серьезной институтки с отчетами по хозяйству – они не причинят мне бессонных ночей... Лео очень привязался к ней и учится хорошо, а дяде она, кажется, внушает уважение своим спокойствием, врожденной холодностью и трахенбергской гордостью, которую она очень кстати умеет выказывать. Через две недели я уезжаю.

Глава 11

Герцогиня с обоими сыновьями известила гофмаршала о своем посещении; это никого не удивило, так как при жизни ее супруга двор чуть ли не целые дни проводил в Шенверте, потому что гофмаршал пользовался большим почетом, был осыпая милостями, «как неизменно верный приверженец» герцогского дома.

Даже в год траура, когда герцогиня совершенно отказалась от всех общественных удовольствий, она часто, во время своих прогулок верхом через «Кашмирскую долину», пила послеобеденный кофе в Шенвертском замке. Понятно, ее лицо под траурным убором постоянно сохраняло грустное выражение, так что даже старый гофмаршал при своей опытности и проницательности мало-помалу пришел к убеждению, что огорченная вдова, должно быть, и в самом деле очень любила своего супруга. До женитьбы Майнау и после нее она не приезжала в замок и, прислав раз поклон гофмаршалу, герцогиня объяснила свое отсутствие тем, что усилившаяся подагра заставляла более чем прежде страдать ее старого друга.

Но вот однажды Рюдигер привез радостную весть, что завтра, как это бывало ежегодно, приедут маленькие принцы, которые желают собственноручно порвать и полакомиться ранними фруктами Шенвертского замка... В то время когда приехал Рюдигер, все обитатели замка сидели за десертом; гофмаршал встал, будто помолодел; он поставил в угол свой костыль, стиснул зубы и, бросив искоса свой взгляд в зеркало, попробовал пройти без поддержки до ближайшего окна; оттуда он подозвал знаком Лиану и стал передавать ей свои распоряжения насчет кухни и погреба.

– Вот тебе и раз! – сказал Майнау молодой женщине, выходя вслед за нею из комнаты. – Я охотно согласился на твое желание представить тебя ко двору по моему возвращении из путешествия, но герцогине угодно, чтобы ты завтра же представилась ей.

Говоря это, он пожал плечами с каким-то странным смещением сдерживаемого смеха, удовлетворенного самолюбия и злобной насмешки.

– Теперь нельзя уже увернуться! – добавил он.

– Я знаю, – проговорила она совершенно спокойно.

И, вынув из кармана записную книжку, стала вносить в нее распоряжения гофмаршала.

– Прекрасно, поистине нужно удивляться спокойствию и невозмутимости, не оставляющих тебя ни при каких обстоятельствах. Только одно желал бы я заметить тебе... ты позволишь, Юлиана? Герцогиня имеет привычку насмешливо улыбаться при виде слишком скромного туалета... Твоя склонность...

– Надеюсь, ты считаешь меня настолько тактичной, что я сумею отличить, где могу следовать своему вкусу и где должна сообразоваться с обязанностями моего положения, – прервала она его ласково и серьезно и вложила карандаш в записную книжку.

Между тем она дошла до двери, ведущей из коридора в комнаты Майнау. Тут стояли новые дорожные сундуки из юфтовой кожи, принесенные во время обеда. При виде их глаза Майнау вспыхнули от удовольствия, точно он уже мысленно видел себя мчавшимся далеко-далеко от Шенверта через горы и долины. Он приподнял один из сундуков и посмотрел обивку.

Лиана сошла в кухню, чтобы переговорить с Лен и поваром.

Гофмаршал молча согласился вручить ей управление домом. Поэтому на ее долю выпадало много неприятностей – ей постоянно приходилось бороться со скаредностью старика, дрожавшего над каждым лишним пфеннигом. Его крайняя недоверчивость, страх быть обманутым и обокраденным давали себя ежеминутно чувствовать всем его окружавшим. К этому присоединялась его непреодолимая злоба на ненавистный второй брак Майнау; но молодая женщина всегда была настороже. Она знала, что он следит за каждым ее шагом – даже письма из дому проходили через его руки прежде, нежели попадали к ней. Письма сестры и брата, вероятно, казались ему менее подозрительными, потому что реже других носили на себе следы его контроля. Напротив, когда было получено письмо от графини Трахенберг – первое после замужества Лианы, – она не могла не заметить, что печать была сломана, и это возмутило ее вдвойне, когда она узнала содержание письма. Графиня Трахенберг горько жаловалась ей на свою жизнь, на все лишения, которым она подвергается. Доктора предписывают ей непременно отправиться на воды, а Ульрика, как дракон, стережет их деньги и не дает ей ни гроша; поэтому она обращается к своей «любимой дочери» и просит уделить ей хотя бы небольшую часть тех денег, что Майнау дает ей на булавки. Что гофмаршал действительно читал это письмо, подтверждал его злобный пристальный взгляд, которым он в тот день приветствовал Лиану при ее появлении в столовой... Эта постоянная борьба была совершенно неизвестна Майнау. В его

присутствии старик с ловкостью придворного владел и лицом своим, и языком; а жаловаться на него мужу, который больше всего желал спокойствия и тишины в доме. Лиане и в голову не приходило.

В третьем часу пополудни Лиана вошла в зал, стеклянная дверь которого выходила на крыльцо; с этого крыльца гофмаршал хотел приветствовать герцогиню при ее приезде. Он был уже в зале и разговаривал с придворным священником, сидевшим возле него. Когда вошла Лиана, в комнате, казалось, стало светлее. На ней было светло-голубое платье с придворным шлейфом и бархатный лиф более темного цвета. Блестящий голубой цвет и золотисто-красноватые волны волос этой прекрасной женщины производили необыкновенный эффект. Широкие, подбитые шелком рукава имели высокий разрез и открывали постороннему взгляду ее античные руки, на лифе был четырехугольный вырез, а сквозь кружевную шемизетку виднелась ее белоснежная шея. Даже затканное серебром подвенечное платье не выделяло так, как сегодняшний наряд, ослепительной белизны этой «рыжеволосой Трахенберг».

– Еще слишком рано-с! – встретил ее гофмаршал. – Герцогиня не будет раньше четырех часов. – Он с явным негодованием смотрел на огромный букет, бывший в руках молодой женщины. – Боже мой, сколько погублено цветов! Вы, верно, ощипали всю оранжерею, моя милая!.. Рауль – дурак, разводя все эти глоксинии и... как их там еще зовут... все эти дорого стоящие южноамериканские редкости! Стоят они баснословных денег и ни чему другому не служат, как вянуть в руках профанов. От хозяйки дома не требуют, чтобы она являлась одетая по-бальному.

Лиана слушала его молча. Она могла бы напомнить ему, что его дочь в минуту каприза расщипывала в мелкие куски и растапывала своими маленькими ножками самые дорогие букеты, но ограничилась кратким ответом:

– Майнау желал, чтобы я подала герцогине эти цветы при ее встрече.

– Ах, вот что!.. В таком случае прошу прощения! – Он посмотрел на часы. – Времени еще много, и я хочу воспользоваться им, чтобы сообщить вам нечто очень для меня прискорбное, но, к сожалению, изменить случившегося я не могу... Вы сегодня отправили посылку графине Ульрике в Рюдисдорф. Я требую, чтобы все посылки укладывались при мне в жестяной ящик, который ежедневно отсылается в город... Я не знаю, чьим неловким рукам поручен был этот маленький ящичек, но только я получил его сломанным.

При этих словах он вынул из-под своего кресла ящичек, часть крышки которого была сорвана.

В первую минуту Лиана вспыхнула, но вслед за тем побледнела так, что в сжатых губах не было ни кровинки, – вся кровь отхлынула к сердцу, – она задыхалась... Взгляд ее невольно упал на придворного священника; тот сделал движение, его выразительные глаза горели зловещим огнем и тревожною заботой. Один этот взгляд возвратил ей хладнокровие. Она положила букет на ближайший стол и подошла ближе.

– Я должен заявить вам нечто, что меня чрезвычайно смущает, – продолжал гофмаршал с притворным смущением; он откашлялся, провел рукою по верхней губе, будто желая в замешательстве разгладить усы, которых у него не было; при этом он устремил на молодую женщину свои маленькие выразительные глазки, горевшие коварством, напоминавшим хищников кошачьей породы. – Конечно, мы здесь все свои, и то, в чем вы дали промах или ошиблись, как я предполагаю, останется между нами. – Он медленно достал из бокового кармана своего фрака маленький футляр. – Вот эта вещица выпала из ящика, когда я, в досаде на неловкость наших людей, слишком торопливо взял у них из рук ящик. – Своим тонким указательным пальцем с немного искривленным белым ногтем он нажал пружинку, подбитая атласом крышка отскочила, и там на темном бархате лежал великолепный аметист, осыпанный бриллиантами, которые подобраны были вокруг него в виде розетки так, что эта вещь могла служить как брошкой, так и фермуаром. – Простите, если я ошибаюсь, – сказал он почти кротко, подавая ей фермуар, – но я готов присягнуть, что видал эту прелестную розетку на шее моей дочери, – не принадлежит ли это к фамильным бриллиантам Рауля?

– Нет, – возразила Лиана совершенно спокойно, и, вынув розетку из футляра, она отодвинула у нее на задней стороне пластинку. – Вам, вероятно, известен герб герцога фон Тургау, господин гофмаршал? Тогда потрудитесь убедиться, что он вырезан внутри розетки. Я получила ее в наследство с отцовской стороны. И вы, конечно, сознаете, что для внучки герцогини фон Тургау подобная ошибка или, как вы предполагаете, промах совершенно невозможны.

– Ради Бога, дорогая моя! – воскликнул старик теперь уже с непритворным замешательством. – Неужели я так неловко выразился, что вы совершенно не поняли меня? Невозможно. Нельзя же высказать того, что и в ум не приходило. Впрочем, я все-таки был прав, допустив в этом случае ошибку, – в нашем семействе есть точь-в-точь такой же фермуар.

– Я знаю... в моей гардеробной стоит сундучок с фамильными бриллиантами Рауля, между которыми он хранится; вскоре по моем приезде сюда я все их проверила по описи.

– Говоря иными словами, вы тотчас же вступили во владение ими, хотя за это я и не думаю осуждать вас. Ввиду этого богатства вы имели полное право возвратить остатки прежнего величия вашего дома сестре вашей Ульрике: вам они больше не нужны, а ей будут очень кстати.

Он говорил это язвительно, и злобная улыбка искажала его лицо. Лиана делала нечеловеческие усилия, чтобы удержать слезы, проступавшие у ней на глазах, и, заметь их старик, она пропала бы. Подняв с пола ящик, она поставила его на письменный стол с редкостями, у которого сидел гофмаршал.

– Вы ошибаетесь, господин гофмаршал, – возразила она, прямо глядя ему в лицо, – я буду чтить память вашей дочери и никогда не стану носить бриллиантов, которыми она когда-то украшала себя. Я только проверила их по списку, так как должна отвечать за них... Вы ошибаетесь и в том, если думаете, что я посылаю свой фермуар обратно в Рюдисдорф для того, чтобы Ульрика могла щеголять «остатками прежнего величия». Как засмеялась бы при этой мысли моя Ульрика!..

Лиана пропустила лежавший на столе ножик для разрезания бумаги между остатком крышки и ящиком, вынула оттуда целую кипу бумаги с высушенными растениями и отложила их в сторону, а также какой-то плоский предмет, завернутый в голландскую бумагу, по-видимому картину; потом обернула ящик вверх дном и стукнула по дну пальцем.

– Кроме наследства от моей бабушки, в ящике нет ничего ценного, – проговорила она сурово, едва переводя дух, и гордо посмотрела на старика, впалые щеки которого покрылись легким румянцем стыда: наказание было вполне заслужено им.

– Боже милостивый, к чему это доказательство? – воскликнул он. – Не должен ли я извиняться, когда я не имел и мысли оскорбить вас... Могу ли я когда-нибудь сомневаться в вашей правдивости?.. Я всегда верю вам на слово, верю во всем, даже если бы вы сейчас сказали мне, что отсылаете домой фермуар, чтобы повесить его на шею маменькиной собачки.

Его голос звучал слишком дерзко, а злобная насмешка, кривившая его губы, заставила вспыхнуть молодую женщину. Она уже намеревалась повернуться к гофмаршалу спиной и выйти из комнаты, как увидела, что придворный священник, до сих пор хранивший молчание, вдруг сделал резкое движение и бросил такой взгляд на гофмаршала, точно хотел пронзить его своими огненными глазами... Не собирался ли он защищать ее?.. Не переживала ли она теперь одну из тех «тягостных минут», в которые он желал прийти на помощь ей? Нет, никогда не протянет она даже кончика пальца этому священнику, который, со всею предоставленною ему светскою властью, забирал в свои железные оковы все человеческие души, какие ему только попадались.

– Такие глупости мне и в голову не приходят, – сказала она, быстро овладев собою, чтобы не дать времени священнику вмешаться в их разговор. – Я дочь Трахенбергов, а они всегда слишком серьезно смотрели на жизнь, чтобы поступать так детски наивно... К чему мне скрывать это? Весь свет знает, что мы обеднели; я посылаю розетку матери, чтобы дать ей возможность ехать на воды.

– Э, что вы мне такое рассказываете? – засмеялся гофмаршал. – Или я должен осуждать

вас, что вы так чрезмерно скупы? Вы получаете до трех тысяч талеров на булавки.

– Я думаю, исключительно от меня зависит, как распорядиться этими деньгами, – прервала она его серьезно.

– Конечно, я не имею права спрашивать, обращаете ли вы их в банковые билеты или обшиваете ими ваши кисейные платья... Впрочем, можете ли вы иметь понятие о стоимости драгоценных камней? – Тут он презрительно ткнул пальцем в лежавший на столе футляр. – Вещь эта не стоит и восьмидесяти талеров... О, боги! Восемьдесят талеров для поездки на воды графине Трахенберг!

– Эта вещь уже раз была оценена, – возразила она, стараясь владеть собою. – Я знаю, что выручка за нее недостаточна. Именно потому я...

Лиана, не договаривая, остановилась, и яркая краска разлилась по ее нежному лицу. Она увлеклась и сказала больше, чем позволяло благоразумие.

– Ну-с? – спросил гофмаршал и, нагнувшись вперед со злобной улыбкой, устремил на нее взгляд.

– Я прибавила еще вещь, которую Ульрика продаст не менее как за сорок талеров, – закончила она с глубоким вздохом и уже не таким твердым голосом, как прежде.

– Да откуда же у вас такие необыкновенные ресурсы?... Уж не этот ли предмет? – указал он на сверток, обернутый в голландскую бумагу, на который она нечаянно положила руку. – Если не ошибаюсь, это картина?

– Да.

– Вашего собственного изделия?

– Да, я сама рисовала ее.

Она прижала руки к груди, точно у нее не доставало дыхания. С быстротою молнии представились ее воображению Рюдисдорфский замок и мать, выбросившая сочинение Магнуса на каменные ступени террасы.

– И эту картину вы хотите продать?

– Я уже прежде говорила вам об этом. Она не подняла глаз, зная, что встретит взгляд, горящий полным торжеством, – так медленно и знаменательно был предложен ей вопрос. Это была возмутительная игра кошки с мышью.

– У вас, верно, есть какой-нибудь любитель, богатый друг и меценат, посещающий Рюдисдорф и считающий своею обязанностью щедро оплачивать подобные произведения искусства?

Теперь она победила свое ужасное внутреннее волнение; к ней возвратилось совершенное спокойствие, помогающее быстро принять твердое решение.

– Я, разумеется, не прибегала к такого рода приобретениям, похожим как две капли воды на нищенство, и предпочла продавать свою работу купцам, – сказала она совершенно спокойно.

Гофмаршал подскочил как ужаленный.

– Это значит, другими словами, что вы до своего замужества трудами своих рук зарабатывали хлеб?

– Отчасти да!.. Я знаю, что этим признанием предаю себя всецело в ваши руки; знаю также и то, что делаю свое положение в доме еще нестерпимее, но я предпочитаю все это тяжелому бременю вечной тайны, которая губит душу. Я не хочу и не могу продолжать здесь того, что принуждена была делать в Рюдисдорфе, чтобы не раздражать матери.

– Признаться сказать, великолепный выбор сделал Рауль взамен моей знатной и гордой Валерии! – воскликнул с горькою усмешкой гофмаршал, опрокинувшись в кресле.

Придворный священник вскочил и хотел было взять ее руку, но она отступила в глубину комнаты, протянув вперед обе руки, как бы отстраняя его.

– Вы наговариваете на себя, баронесса! – воскликнул он почти с мольбою. – Согласитесь, что теперь, в сильном волнении, вы описываете некоторые обстоятельства совсем иначе, чем сделали бы это при спокойном обсуждении.

– Нет, ваше преподобие, я с вами не согласна это было бы против правды; я повторяю, и очень ясно: мои руки уже зарабатывали деньги, работали за плату!.. В эту минуту, когда я вижу

впечатление, сделанное моим признанием, я дышу свободнее. – Горькая улыбка мелькнула на ее прелестном лице. – Я знаю, что от зоркого взгляда господина гофмаршала ничто не укроется, рано или поздно он узнал бы всю правду, и тогда на мне лежал бы вечный упрек за мое молчание и, пожалуй, возникло бы подозрение, что я стыжусь моего прошлого, от чего да сохранит меня Бог!.. Неужели вам было бы приятнее узнать, что я до замужества жила милостыней? – обратилась она к гофмаршалу. – Вы презираете благородную руку, которая трудится, потому что не имеет доходов в своем распоряжении? Как же после другие сословия будут питать уважение к дворянскому роду, когда он сам думает, что герб его непременно должен лежать на золотом поле? Не сам ли он своею пляскою вокруг золотого тельца опровергает идею о личном преимуществе перед прочими сословиями?.. Слава Богу, в настоящем веке есть люди нашего сословия, воспитанные на более благородных понятиях, которые не стыдятся искусства.

– Искусство! – засмеялся гофмаршал. – Вы называете искусством пачкотню, которой обучает учитель в институте благородных девиц по одному и тому же шаблону и...

Тут он схватил пакет и вынул из него рисунок; последнее слово вылетело у него с каким-то шипением; от испуга или стыда вся кровь бросилась в его бледное лицо. Как бы одолеваемый слабостью, он несколько раз откидывался на спинку кресла и, когда изумленный священник приблизился к нему, он протянул над рисунком руку, как бы желая скрыть его от его глаз.

Глубокое переживание, испытанное молодой женщиной в индийском домике, было перенесено на бумагу, хотя несколько в идеальном виде. Здесь «цветок лотоса» не лежал на тростниковой кровати, на этом ложе мучений, к которому паралич приковывает ее уже тринадцать лет, но эфирное существо покоилось на мягкой зеленой траве, и искусная кисть сумела возратить ей роскошные формы молодости. Это была баядерка Бенареса – такая, какой привез ее из-за моря немецкий барон. Она полулежала, опираясь на руку головой. Золотые монеты блестели у нее на лбу и голове и спускались вдоль ее длинных черных кос, падавших на грудь по пунцовой шелковой кофточке с золотой тесьмой, которая покрывала лишь плечи и незначительную часть рук; зубчатые листья растения бросали приятную полутень на лежавшую фигуру, между тем как на заднем плане солнечные лучи падали на мраморные ступени индийского храма и играли в слегка колебавшейся воде пруда... Рисунок был сделан акварелью и не вполне окончен, так как фигура была набросана эскизно, но в каждом штрихе сказывалась талантливая уверенность художника. Головка с темными глазами на дивно прекрасном продолговатом лице, положение обнаженных, с браслетами у щиколотки, ножек, тонувших в мягкой траве, где каждая былинка, казалось, колыхалась под ними, необыкновенно грациозный очерк талии замечен был под прозрачным покрывалом баядерки, – все это, исполненное отчетливо, с большою смелостью и силой, делало картину истинно художественным произведением, в чем так сильно сомневался гофмаршал.

Впрочем, он довольно скоро опять оправился.

– Вот как! Даже эта молодая особа с пассивною и холодною наружностью обладает приличной дозой женского любопытства, которое заставляет ее рыться у себя дома в фамильных архивах, а здесь, в индийском саду, отыскивать «пикантное» нашего рода! – проговорил он с язвительной усмешкой. – Вы обладаете мастерской способностью переноситься в прошлые времена, – это можно заключить по вашему тщательному изучению старины. И я надеюсь, вы поймете меня, что именно по этой-то причине ваша картинка никогда не должна выходить за пределы Шенвертского замка. Мы были бы дураками, если бы снова предали гласности, к сожалению сказать, позорный факт, да еще через женщину, которая под предлогом дочерней любви и самоотвержения желала бы прославиться, как художница!.. Милая моя, эта картинка останется в моих руках, – я вышлю графине Трахенберг на ее морские купанья столько денег, сколько она пожелает.

– Благодарю вас, господин гофмаршал, я отказываюсь от имени моей матери! – воскликнула она в первый раз с нескрываемою горячностью. – Моя мать настолько горда, что предпочтет остаться дома.

Гофмаршал громко засмеялся. Он приподнялся и вынул из одного из ящиков с редкостями маленькую розовую записочку, которую подал молодой женщине.

– Прочтите эти строки и удостоверьтесь, что женщина, которая просит у своего прежнего поклонника взаймы четыре тысячи талеров для уплаты тайных карточных долгов, совсем не так щепетильна, чтобы оттолкнуть дружескую руку, предлагающую ей помощь для осуществления страстно желаемого путешествия на воды... Она приняла тогда четыре тысячи талеров с горячей благодарностью, возратить которые ей, к сожалению, помешали.

Машинально, с помутившимся взглядом взяла Лиана компрометирующую записку и удалилась в сторону, к окну. Она не могла и не хотела читать этого письма, написанного знакомым, некрасивым почерком матери, и одно обращение которого: «Mon cher ami» – было для нее острым ножом. Ей хотелось хотя бы только на минуту скрыться от взглядов обоих господ, и она удалилась в нишу, но тотчас же с испугом отскочила от нее. Окно было открыто, и на крыльце, спиной к дому, неподвижно стоял Майнау; он не мог пропустить ни слова из всего, что говорилось в зале. Если он действительно все слышал и оставил ее одну бороться с ее коварным противником, то он был бесчестным человеком. Она далека была от мысли рассчитывать на его любовь, но он не должен был отказывать ей в покровительстве: это делает и брат для сестры.

– Э, записку-то вы мне отдайте! – вскричал гофмаршал, боясь, чтобы Лиана не спрятала ее в карман, так как она невольно опустила в него руку. – Против вас и вашей неподатливости необходимо иметь в руках оружие, и я только сегодня раскусил вас: в вас сильно проявляется ваш род, в вас больше ума и энергии, чем вы желаете это показать... Пожалуйста, прошу вас, возвратите мне мою прелестную маленькую розовую записочку.

Она подала ему письмо; старик торопливо схватил его и поспешно опять запер в ящик.

В эту минуту на пороге стеклянной двери показался Майнау; но на этот раз не с тою изящною небрежностью и часто обидно скучным и притворно-вежливым видом, с каким обыкновенно являлся в общую семейную комнату: теперь он казался сильно разгоряченным, точно возвращался из дальней прогулки верхом.

Гофмаршал вздрогнул и откинулся на спинку кресла, когда в комнате так неожиданно появился племянник.

– Боже мой, Рауль, как ты испугал меня! – воскликнул он.

– Чем же? Разве есть что-нибудь необыкновенное в том, что я вошел сюда, чтобы, подобно тебе, встретить герцогиню? – спросил равнодушно Майнау.

Он отвернулся от больного старика в кресле и тревожно взглянул в ту сторону, где находилась его молодая жена.

Она стояла, опершись левою рукой на угол письменного стола; по легкому кружевному рукаву видно было, как сильно дрожала ее рука. Ужасное известие, сообщенное гофмаршалом о матери, поразило ее слишком глубоко; она чувствовала, что это потрясение не изгладится во всю жизнь; несмотря на это, она все-таки старалась сохранить наружное спокойствие, и ее серые глаза, смотревшие из-под нахмуренных бровей, твердо, но прямо встретили взгляд мужа. Она приготовилась к новой борьбе.

Прежде всего Майнау подошел к большому столу, стоявшему посредине комнаты, взял графин и налил в стакан немного воды.

– Ты слишком взволнована, Юлиана; прошу тебя, выпей! проговорил он, подавая ей стакан.

Она с удивлением и не без гнева отказалась: он предлагал ей выпить воды, чтобы успокоить ее волнение, между тем как он давно бы мог прекратить его несколькими энергическими словами, сказанными им непримиримому врагу.

– Не пугайся этого лихорадочного румянца, Рауль, – успокаивал гофмаршал Майнау, ставившего в это время стакан обратно на стол. – Это лихорадка дебютантки, то есть дебютантки в Шенверте, так как в художественном мире и в лавках продавцов эта прекрасная особа уже давно выступала с успехом как графиня Трахенберг. Что скажешь ты, заклятый враг Рафаэлей женского пола, синих чулков и тому подобных? На, полюбуйся, какой талант под

прикрытием брачного контракта приютился в Шенверте! Жаль только, что обстоятельства заставляют меня конфисковать эту картину!

Майнау уже завладел картиной и рассматривал ее. С сильно бьющимся сердцем увидела Лиана, как вспыхнуло его лицо. Она ежеминутно ожидала насмешки, направленной против «пачкотни»; но он, не отрывая глаз от картины, холодно сказал через плечо дяде:

– Ты, конечно, знаешь, что право конфисковать или разрешать принадлежит в этом случае исключительно мне... Как попала сюда эта картина?

– Да, как она сюда попала? повторил, пожимая плечами, смущенный гофмаршал. – По неловкости наших людей, Рауль, ящик, предназначенный к отправке, был передан мне сломанным.

– О, я это строго расследую. Эти грубые руки не останутся без наказания, – сказал Майнау и молча положил картину на стол. – А это что? – спросил он, взявши в руки пакет с сухими растениями; сверху лежала тонкая мелко исписанная тетрадка. – И это было в злополучном ящике?

– Да, – твердо, почти сурово ответила за гофмаршала Лиана. – Это – высушенные дикие растения, как ты видишь, некоторые роды из семейства орхидей, очень редко встречающиеся в окрестностях Рюдисдорфа... Магнус продает гербарии в Россию, и я помогала ему в составлении... Неужели и этим невинным занятием я нарушила этикет и оскорбила воззрения дома баронов Майнау? Я жалею об этом втором промахе. – Она протянула мужу, пробежавшему глазами тетрадку, антично-прекрасные руки; при этом на губах ее играла гордая усмешка. – Ты должен убедиться, что на моих пальцах нет ни одного чернильного пятна и что я никогда ни одним словом не упоминала тебе о моих ничтожных ботанических познаниях... Только благодаря неловкости твоих людей стою я тут как обвиняемая и должна молчать. – Нежным, грациозным движением прижала она руки к вискам, как бы желая унять сильную боль. – Мне очень жаль, что против воли послужила причиной этой сцены и нарушила начертанную тобою программу; но позволь мне высказаться сегодня в первый и последний раз. Не по моей вине затеяна была эта сцена, и даю тебе слово, что она больше не повторится. Одно еще остается мне сказать – я должна опровергнуть возведенное на меня господином гофмаршалом обвинение, что я своими незначительными трудами вступила в художественный мир для того, чтобы прославиться... Когда первая моя картина была представлена публике, меня несколько недель трясла лихорадка не от страха за успех, но от смущения за мою отвагу; деньги же, вырученные за нее, стоили мне горьких слез, потому что я продала часть своей души, часть чувств – и все-таки должна была продолжать это делать!

Придворный священник во время этой тяжелой сцены, носившей характер инквизиторского допроса, удалился в глубину зала и ходил там взад и вперед. Руки его были спокойно сложены за спиною, но его широкая грудь высоко подымалась, дыхание было затруднено, точно он боролся с припадком удушья. Один взгляд, брошенный на этого человека в длинном черном одеянии и с гуменцом на голове, мог убедить обоих мужчин, что он жестоко борется с собою, чтобы, подобно разъяренному тигру, не броситься на них... При последних словах молодой женщины он подошел к стеклянной двери и, защитив глаза рукой, стал пристально смотреть вдаль, где из-за парка виднелась узенькая полоска шоссе.

– Слух не обманул меня, – сказал он, входя опять в комнату, – герцогиня сейчас будет здесь.

– И прекрасно, а то мы тут чуть было не разнежничались! – сказал гофмаршал. – Итак, идемте же к ней навстречу!

И он, приподнявшись, выпрямился во весь рост и, кряхтя, подошел к зеркалу, оправил галстук, надушил платок, обрызгал тонкими духами фрак и жилет, взял в руки шляпу и, прихрамывая, поплелся к выходу.

Молодая женщина спокойно положила бумаги обратно в ящик и старалась приладить крышку.

– Ну-с, ваше преподобие, – обратился Майнау к священнику, который словно окаменел у двери и, очевидно, выжидал, чтобы Майнау вышел прежде него. – Разве вы не знаете, что

герцогиня обидится, если при выходе из экипажа не услышит обычного приветствия из ваших уст?

Глаза их встретились: насмешливо-удивленный взгляд Майнау и открытый, глубоко негодующий взгляд священника. Оба они метали искры.

– Я уступаю вам дорогу, – проговорил Майнау, указывая рукой на дверь, но не из почтительности к духовному лицу, а с вежливой настойчивостью повелевающего хозяина; при этом он не мог скрыть саркастической улыбки. – А обо мне не беспокойтесь, я как раз вовремя сойду вниз.

Священник вышел с легким поклоном. Майнау следил за ним, пока тот спускался со ступенек, потом, когда его черная одежда совсем исчезла из глаз, он вдруг обернулся и с огненным взглядом своих демонических глаз быстро подошел к молодой женщине, протянув ей обе руки.

– К чему это? – спросила она, оставаясь неподвижно стоять на своем месте, – уж не желаешь ли ты выразить мне твое великодушное прощение? Но я его не требую, потому что ни в чем не провинилась. Я хорошо знаю, что своими занятиями не нарушила своих обязанностей ни как матери Лео, ни как хозяйки дома и *dame d'honneur*⁶. Растения собирала я во время прогулок с Лео, причем вкратце объясняла ему начала ботаники. Рисовала и писала я ранним утром, когда никто не требовал моих услуг... Если же ты желаешь и требуешь, чтобы я отказалась от этих занятий, составляющих для меня отдых, то я повинуюсь. Но только подумай, что муж, признающий за собою право, во избежание неприятностей и скуки домашнего очага, без церемонии оставить его для продолжительного путешествия, не должен бы был по крайней мере отказывать жене во время своего отсутствия в нескольких часах отдыха, чтобы она могла, хотя на время, забыть все свои хлопоты и беспокойства... Как я уже прежде заявила, я подчиняюсь тебе и в этом пункте, но не как слепо и послушно уступающая жена, а как мать Лео. Я взяла на себя материнские обязанности и исполню их до конца; если бы не это, то я не пошла бы теперь навстречу герцогине, а вернулась бы в Рюдисдорф.

Приподняв шлейф, она взяла букет и хотела с спокойным достоинством пройти мимо него, но он заступил ей дорогу. Очувтившись так близко к нему, она почти испугалась. Женщина всегда ощущает страх при виде внезапной, смертельной бледности на полном энергичном и силы выразительном мужском лице.

– Еще минуту! – сказал он, подняв руку, спокойно, но с глубокой горечью. – Ты ошибаешься, думая, что я хочу беспокоить тебя своим прощением; тогда я не мог бы к тебе приблизиться. Я не обладаю такою холодной рассудительностью, как ты, чтобы контролировать и анализировать то, что происходит в моей душе, – я увлекаюсь и откровенно высказываю то, что чувствую, и, может быть, подходя к тебе, я чувствовал в ту минуту скорее потребность просить у тебя прощения, чем желание унижать тебя. Или ты так худо понимаешь выражение лица, чего я не могу допустить при твоём необыкновенном артистическом даровании, или гордая, глубоко оскорбленная графиня Трахенберг не хотела понять меня? Я верю последнему и сообразуюсь с твоим желанием, отвергающим откровенный порыв... Во всяком же случае, мы должны явиться перед лицом света счастливою четой, – продолжал он своим обычным небрежным тоном, – а потому будь так добра, возьми меня под руку, когда мы будем сходить с лестницы.

Глава 12

Подъехали два экипажа; в первом из них, остановившемся у крыльца, сидели высокие гости; во втором, остановившемся в почтительном отдалении, сидели воспитатель принцев и фрейлина. Герцогиня, еще сидя в экипаже, благосклонно и искренно протянула гофмаршалу руку, выказывая свое удовольствие, что видит его поправившимся от последнего припадка

⁶ Придворной дамы (фр.).

подагры. Она еще не окончила своего приветствия, как Майнау показался на крыльце, под руку со своей молодой женой. Черные глаза герцогини метнули огненный взгляд вверх на крыльцо, и слова замерли у ней на языке; она поспешно обернулась, как бы с удивлением и вопросом, к своей фрейлине, которая уже стояла у подножки экипажа герцогини и тоже с изумлением смотрела на приближающуюся молодую женщину; но тотчас же герцогиня быстро и с грациозным движением руки, договорив начатую речь, вышла с помощью придворного священника из экипажа.

В самом деле, кто мог ожидать, что «серая монахиня», робко сидевшая в углу кареты, так величественно разыграет роль хозяйки Шенвертского замка, как сделала это она теперь, спускаясь с лестницы под руку с мужем? Кто бы подумал, что эта женщина, не смущаясь всеми осмеянным цветом своих волос, выкажет все богатство их, распустив во всю длину свои роскошные косы, и что шенвертское солнце, играя в этих золотистых массах, превратит их в блестящий ореол вокруг лица молодой женщины? Обе женщины стояли друг против друга. Говорили, что герцогиня, снявши траур, одевалась в особенно светлые и яркие цвета, чтобы вернуть первую молодость, и сегодня слухи эти подтвердились. Она была в розовом платье, с открытым воротом и короткими рукавами; на обнаженные плечи ее была накинута кружевная косынка, круглая шляпка брюссельской соломки украшалась веткой яблоневого цвета.

Внезапно на лицо герцогини набежал гнев: умные темно-серые глаза новой баронессы встретили ее взгляд с таким гордым спокойствием, от ее миловидного лица веяло такой юношеской свежестью, чего нельзя было отрицать даже и на самом близком расстоянии; но, бросив косой взгляд на Майнау, герцогиня опять просияла радостью. Правы были те, которые утверждали, что Майнау женился не по любви. Он, равнодушный, стоял неподвижно около своей молодой жены и, когда она, почтительно, но не слишком низко поклонившись герцогине, подала ей букет, он представил ее несколькими холодными словами.

Букет был принят благосклонно, и, может быть, герцогиня не ограничилась бы несколькими любезными фразами, которые многими сохраняются, как реликвии, в сердце, если бы ее взгляд не упал на гофмаршала, который был бледен как мертвец, ноги его подкашивались, зубы были сжаты.

– Я слишком понадеялся на свои силы, – бормотал он. – А теперь в отчаянии, что вынужден просить соизволения вашего высочества сопровождать вас в кресле.

По знаку герцогини оно было подано, и гофмаршал погрузился в него; грустную минуту переживал этот человек, пользовавшийся когда-то общей благосклонностью при дворе. Заскрипел гравий под колесами тяжелого кресла, и оно покатилося к парку, где назначен был прием сегодняшних высоких гостей... Розовое платье прекрасной герцогини прошумело мимо него; она шла, оживленно болтая, под руку с Майнау, и никогда еще не была так непринужденно весела, как в настоящую минуту, – а между тем он, который когда-то думал, что его блестящее красноречие имело силу вызывать на оживленную беседу этот гордый, замкнутый ум, молча сидел в своем кресле, – он был забыт. Принцы пронеслись с Лео мимо него, а прежде они цеплялись за фалды его фрака и никакие игры не устраивались без него; теперь всем было ясно, что он стар и хвор и вдруг сделался статистом в своем собственном владении – гнетущее сознание для ловкого придворного быть еще заживо причисленным к мертвым!.. А тут еще эта «рыжеволосая» шла так медленно, сознавая себя госпожою Шенверта; да, он должен был с горечью признаться самому себе, что эта обедневшая графиня держала себя величественнее, благороднее даже самой герцогини, – старик просто задыхался от злобы и досады.

– С вашего позволения, замечу вам, баронесса, – крикнул он резким тоном молодой женщине, которая мимоходом сорвала скрывавшуюся в траве полевую гвоздичку: сегодня нельзя собирать ни орхидей, ни прочей негодной травы для России.

Майнау вспыхнул и обернулся; может быть, резкий ответ гофмаршалу готов был сорваться у него с языка, но при взгляде на молодую женщину, которая с таким высокомерным молчанием и так спокойно приколотла маленький пунцовый цветок к поясу, он с нетерпением пожал плечами и пошел вперед, продолжая начатый с герцогиней разговор.

Часть парка, где росли великолепные шенвертские фрукты, расположена была возле индийского сада, под защитой гор, счастливая группировка которых давала возможность редкостям индийской флоры расти в прохладном, умеренном поясе. Северо-восточный ветер не проникал сюда, и под теплыми лучами солнца здесь высоко поднимались бананы, вызревали великолепнейшие сорта персиков, самые нежные сорта винограда и прочих фруктов на шпалернике и пирамидальных стволах, стоявших группами среди обширных, покрытых дерном площадок. Эта часть парка, более нежившая вкус, чем ласкавшая взоры, вдавалась в самый лес – разумеется, не сразу в вековую чащу дивных исполинов, простиравшуюся вплоть до большой проезжей дороги, но туда, где на порядочном расстоянии вились между деревьями светлые ленты дорожки, а под первую группу кленов находилась усыпанная мелким гравием площадка. На эту площадку обращен был фронтон так называемого охотничьего домика. Это было красивое маленькое строение из кирпича, со светлыми окнами и оленьими рогами на крыше, и могло отчасти считаться станцией между Шенвертским замком и домом лесничего, находившимся в получасовом расстоянии и одиноко стоявшим в лесу. В этом домике жил ловчий с охотничьими собаками; под его контролем находился шкаф с богатым оружием Майнау, и в торжественных случаях фигурировал он в парадном мундире как егерь барона Майнау.

Если хотели разыграть идиллию, то для этого выбиралась площадка перед охотничьим домиком, – это был один из самых привлекательных пунктов Шенверта: тут дышалось чистым лесным воздухом, виднелся с одной стороны пестревший яркими красками индийский храм среди чужеземной растительности, а с другой – еще издали красовались зубцы мозаичных крыш замка в средневековом стиле, живописно возвышавшиеся над роскошной зеленью парка.

При таких празднествах, носивших характер сельской простоты, вместо замкового повара у белой кафельной плиты охотничьего домика стояла Лен и варила кофе. Так велось издавна; ее широкоплечая фигура в вечно черном шелковом парадном платье была такою же принадлежностью охотничьего домика, как и великолепные охотничьи собаки, лениво растянувшиеся на мягком теплом песке. Правда, что ее серьезное лицо в чепце традиционными шотландскими лентами никогда не улыбалось и «кникс» ее был из рук вон неловок, но кофе был так вкусен и ароматен и все приготовленное ее руками блестело такой удивительной чистотой, что на сухость и на суровость ее лица никто не обращал снимания.

Было ли сегодня в кухне жарче обыкновенного, или хлопоты утомили ее, но только Лен казалась разгоряченной, и если бы не ее суровая натура, то по ее лихорадочно блестящим глазам и нахмуренному лбу можно было бы подумать, что она плакала.

– Вы больны, милая Лен? – благосклонно спросила ее герцогиня.

– Нет, ваше высочество! Благодарю покорно за ваше милостивое внимание – весела и здорова, как рыба в воде! – возразила она испуганно, бросив косой взгляд на гофмаршала.

Она принесла несколько белых искусно сплетенных корзиночек, которыми тотчас же завладели маленькие принцы. Вокруг кофейного стола вдруг стало пусто, – дети помчались к фруктовому саду, а садовник замка, стоя на почтительном расстоянии, молча, но с отчаянием смотрел, как маленькие вандалы без разбора и сожаления опустошали так тщательно лелеянные им деревья, наполняя свои корзинки самыми дорогими фруктами.

Гофмаршал тоже приказал подкатить туда свое кресло; но чтобы изгладить впечатление своей беспомощности, ему необходимо было встать и пройти, хотя бы это стоило ему тысячи пыток. И он поднялся и заковылял вдоль зеленевшего виноградного шпалерника, кончавшегося у проволочной решетки индийского сада. Ему посчастливилось добраться бодро до кофейного стола, за которым уже сидела герцогиня. С блаженной улыбкой подал он ей в корзине несколько веток раннего винограда, срезанных им собственноручно; вдруг улыбка его исчезла, и он побледнел от испуга.

– Мое кольцо! – воскликнул он в волнении, торопливо бросив корзину на стол.

Он стал смотреть на тонкий указательный палец правой руки, на котором несколько минут назад блестел дорогой смарагд.

Все, исключая герцогиню, вскочили и принялись искать его. Кольцо, «всегда так крепко

державшееся», как уверял гофмаршал, вероятно, свалилось с похудевшего пальца в то время, когда он срывал виноград, и исчезло в зелени; но, как тщательно ни искали, найти его не могли.

– Прислуга поищет его потом под моим личным надзором, – сказал Майнау, возвращаясь к столу.

Ради этикета пора было прекратить эту неприятную сцену.

– Да, потом, когда оно уже безвозвратно исчезнет в каком-нибудь кармане, – возразил с мрачной улыбкой гофмаршал. – Доверяй прислуге! Она постоянно вертится около виноградного шпалерника; главная дорожка пролегает мимо него... Ваше высочество, простите мое волнение, – обратился он с просьбой к герцогине. – Но кольцо это для меня дорого как редкость, завещанная мне Гизбертом; за несколько дней до смерти он передал его мне при свидетелях, причем написал следующие слова: «Не забывай никогда, что ты получил десятого сентября!» Он завещал его специально мне, и его внимание трогает меня до глубины души... Вашему высочеству известно, что я не ладил с этим братом, напротив, осуждал его безнравственный образ жизни... но, Боже мой, сердце все же сохраняет свои права. Я любил его, несмотря на все его заблуждения, а потому утрата его кольца глубоко огорчила бы меня.

– Невзирая на истинно баснословную ценность самого камня! – сухо заметил Майнау.

Он уже сидел возле герцогини, между тем как остальное общество только еще собиралось.

– Ну, конечно, но это уже на втором плане, кто же это стал бы отвергать? – ответил гофмаршал с притворным равнодушием.

И движением, в котором выразилось все его отчаяние, он разом откатил свое кресло в сторону, откуда можно было видеть всю дорогу вплоть до злополучного шпалерника.

– Смарагд очень дорог, а резьба редкой работы, в своем роде чудо... В ней заключается тайна. Около герба виднеется маленькая точка, как будто крошечная царапина, но под лупою ясно выступает отчетливо вырезанная мужская голова. Приложение этой печати имеет, по-моему, больше значения, чем самая подпись.

– Мы теперь будем пить кофе, а потом и я пойду искать его, – милостиво сказала герцогиня. – Замечательное кольцо должно быть найдено.

Между тем Лен в это время подавала всем душистый кофе на большом серебряном подносе. Ее лицо не выражало недовольства: среди водворившейся тишины слышно было только, как шуршало ее шелковое платье и как скрипел песок под ногами. Но вдруг посуда загремела на подносе, как будто у нее от страха задрожали руки. Гофмаршал, которому она в эту минуту подавала кофе, с удивлением поднял на нее глаза и посмотрел в направлении ее взгляда: по дорожке, вдоль шпалерника, шел Габриель.

– Что надо здесь этому мальчику? – спросил он, устремив на нее пристальный взгляд.

– Не могу знать, барон, – ответила она, уже совершенно успокоившись.

Габриель подошел прямо к гофмаршалу и с опущенными глазами подал ему потерянное кольцо. Его держали прекрасные тонкие пальчики безукоризненно чистой, нежной ручки, а между тем, почувствовав ее прикосновение, гофмаршал оттолкнул ее с отвращением.

– Мало вам тарелок? – с гневом указал он на стол. – И разве ты не мог, бывая в замке, научиться, как прилично подавать вещь?.. Где ты нашел кольцо?

– Оно лежало у проволочной решетки, я его сейчас узнал, я всегда любовался им на вашей руке, – робко проговорил мальчик, как бы извиняясь в том, что подал кольцо без тарелки.

– В самом деле? Очень лестно! – Гофмаршал насмешливо покачал головой. – Лен, дайте ему кусок торта и спросите, что ему надо.

Она вынула из кармана ключ.

– Ты за ним пришел, да? – спросила она Габриеля. Он ответил утвердительно. – Большая пить хочет, а я заперла малиновый сироп.

– Глупости! В замке и без него много прислуги. Он мог бы прислать кого-нибудь, но этот мальчик избалован и хочет принимать участие во всем, что происходит в замке, и притом сегодня, когда священник только что в моем присутствии строго запретил принимать ему какое-либо участие в удовольствиях! Забыли вы это. Лен?.. Он должен готовиться, – обратился он к герцогине, – сегодня утром мы решили, что через три недели он наконец поступит в

семинарию, – уже давно пора.

Лиана с удивлением посмотрела на ключницу. Так вот почему она сегодня все утро бесцельно бродила по кладовой, с трудом отличая тончайшие ткани от толстого полотна, а ведь Лен была авторитетом по части льняных изделий, и в конце концов потеряла связку ключей, чего с ней никогда не случалось!.. Хотя эта женщина казалась такою холодной и сурово и безучастно относившейся к мальчику при других, но Лиана давно подозревала, что она боготворит ребенка... Она и теперь стояла молча, с густой краской в лице; для всех прочих это была женщина глубоко огорченная, рассерженная незаслуженным упреком, в глазах же Лианы – это была мать, любящее сердце которой терзалось от одного ожидания предстоящей разлуки. Герцогиня посмотрела на мальчика в лорнет.

– Вы хотите сделать из него миссионера? – спросила она священника, покачив головою. – На мой взгляд, звание это совершенно для него не годится.

Эти слова точно наэлектризовали Лиану: в первый раз слышала она слова, высказанные против решения священника и гофмаршала, да еще таким лицом, которое несколькими словами могло изменить судьбу человека. Все, сидевшие тут за столом, были или не расположены к ребенку, или просто равнодушны к его судьбе, как холодно, например, смотрел Майнау на «трусливого мальчика», стоявшего, подобно осужденному, неподвижно на месте, которое как бы горело под его ногами! Молодая женщина призвала все свое мужество, разве она зывала не к женскому сердцу?

– Габриель уже имеет миссию в самом себе, ваше высочество; это миссия художника, – сказала она, глядя на прекрасную герцогиню с видимым смущением, но твердо. Глаза всех обратились на нее, не сказавшую до сих пор ни слова. – Без всякой посторонней помощи он так смело и мастерски владеет карандашом, что это меня поражает. Я нашла в комнате у Лео его рисунки, с которыми он мог бы блистательно выдержать всякое академическое испытание и непременно был бы принят в число ее учеников... В этой детской головке таится редкое творческое дарование, пламенное влечение к искусству, присущее только гению... Ваше высочество правы, заметя, что он не годится в миссионеры, – для этого нужно внутреннее стремление, на одном этом пункте должны быть сосредоточены вся энергия и все силы души, для которой не должно существовать другого идеала, – поступить же насильственно было бы жестоко в отношении искусства. Герцогиня с изумлением посмотрела на нее.

– Вы совершенно не поняли меня, баронесса фон Майнау, – сказала она очень сдержанно. – Мое замечание относилось к его вялости и болезненному телосложению; что же касается до его умственных способностей или его увлечений, то я решительно говорю: он должен годиться!.. Мне, право, жаль, что находятся женщины, не разделяющие мнения, что перед этой святою целью жизни всякая другая должна исчезнуть... Пусть вольнодумцы мужчины, приобретая научные познания, впадают в заблуждения в делах веры – довольно и этого прискорбного факта, зато мы, женщины, должны вдвойне стараться твердо противостоять этим бурям, свято хранить нашу веру и никогда не поддаваться искушению мудрствовать.

– Ваше высочество, это значит дать женщинам чересчур легкую задачу в жизни, это значит еще шире отворять дверь суеверию, вере в воображаемый мир духов, во власть сатаны, к чему женщины, к сожалению, и так очень склонны.

Послышался стук сдвинутого стула и смущенное покашливание, между тем как молодая женщина, только что говорившая так смело, сохранила невозмутимое спокойствие. Против нее сидел ее муж, рука которого, лежавшая на столе, играла кофейной ложечкой. Наклонив голову, он исподлобья, ни на минуту не отрывая глаз, смотрел на покрасневшее лицо жены, исключительно обращенное к герцогине. Выговорив последние слова, она случайно взглянула в его сторону, глаза их встретились, и ее взгляд был так холоден, как будто он ей был совершенно незнаком. Яркая краска бросилась ему в лицо, он швырнул на стол кофейную ложечку, что вызвало улыбку на прекрасном лице герцогини.

– А! Барон Майнау, это вас волнует?.. Какого вы мнения об этом? – спросила она его ласково-вкрадчивым голосом.

Его губы сложились в горькую, насмешливую улыбку.

– Вашему высочеству хорошо известно, что женщины, которые верят в колдунов и привидения, имеют для нас соблазнительную прелесть, – возразил он своим небрежным тоном. – Женщина обворожительна в своей беспомощности и боязни, мы привлекаем ее, как ребенка, в наши покровительственные объятия, и тут является любовь. – Глаза его приняли мрачное выражение и устремились на жену. – Между тем как от мудрой Афины Паллады на нас веет ледяным холодом, и мы отвертываемся от нее.

Неужели это была та женщина, которая в день свадьбы, бледная и расстроенная, подобно ангелу смерти, промчалась мимо ехавшей невесты?.. Горделивое торжество сияло теперь на этом прекрасном лице, и это выражение сообщало ему необыкновенную привлекательность.

– А вы? – обратилась она к священнику, сидевшему против нее со сложенными на груди руками: при звуке ее голоса он точно пробудился от глубокой думы; казалось, герцогиня собирала все свои войска против молодой женщины, осмелившейся думать самостоятельно. – Разве у вас нет оружия против антихриста в прекрасном женском образе? – спросила она почти шутливо.

– Ваше высочество, благоволите вспомнить, что я не охотник до таких прений за кофейным столом, – возразил он сурово; он вдруг превратился во всемогущего духовника, который держал в повиновении эту высокорожденную душу. – Оставим пока все это и удовольствуемся тем, что баронесса Майнау, в сущности, не отрицает вмешательства невидимого мира в нашу действительную жизнь.

Он снова хотел прийти ей на помощь – ей стоило только утвердительно нагнуть голову, и борьба была бы окончена; но в таком случае ей пришлось бы лгать и принять протянутую ей руку священника. Она никак не могла согласиться на это и потому во второй раз сегодня отвергла ее.

– Это вмешательство невидимого мира в действительность я, конечно, отрицаю, – сказала она несколько дрожащим голосом, причем сидевшая рядом с ней фрейлина с шумом отодвинулась. – Я не верю в чудеса и небесные явления, как учит тому церковь.

Зловещее глубокое молчание последовало за этими словами; прекрасная герцогиня будто окаменела, ее глаза с томительным беспокойством, почти со страхом, останавливались попеременно то на Майнау, то на его молодой жене. Он только что высказал, как ему противны женщины самостоятельные, с холодным пытливым умом, но эта женщина не походила на щитоносную Афины, – она скорее казалась детски наивным существом, которое с сильно бьющимся сердцем, краснея и бледнея под влиянием своих убеждений, высказывало их нежным, мелодическим голосом.

Герцогиня не могла видеть выражения лица Майнау: он сидел вполоборота, сохраняя то небрежное спокойствие и хладнокровие, в которое он обыкновенно драпировался, так что казалось, вот-вот он, равнодушно пожав плечами, насмешливо скажет: «Пусть ее себе говорит, – какое мне до того дело?»

– Ваши воззрения так чужды строго верующему христианину, баронесса, что я нахожу прения по этому предмету неприличными теперь ни по времени, ни по месту, хотя я уверен, что победа осталась бы за мною, – прервал священник эту мгновенную тишину своим глубоким симпатичным, хотя несколько тихим голосом; он должен был ответить ей, так как она принудила его к тому. – Оставляя в стороне Священное писание, позвольте напомнить вам изречение одного из великих писателей, который говорит устами своих мудрствующих героев: «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам».

– Это правда, но я под этим не подразумеваю таинственной силы природы. Большая часть людей до сих пор думает, что в природе нет ничего непостижимого, над чем можно было бы задуматься, потому что они могут все видеть, слышать и понимать, а что в этом-то и состоит чудо, – им и в голову не приходит. Разве не чудо та жизненная сила, заставляющая произрастать из земли пеструю чашечку полевого цветка?..

Священник смотрел на нее с тем же выражением на лице, с которым он уже раз сказал ей сегодня, с мольбой во взгляде: «Вы противоречите себе, баронесса!»

– А вы забываете основателя вашей церкви, Лютера, который не только не отрицал

существование духа зла, но даже утвердил веру в могущество его враждебной силы на земле? – сказал он, как бы умоляя.

– В нашем веке он не только запустил бы в него свою чернильницу, но и могучее перо свое обратил бы против порождения человеческой фантазии, – было ее ответом.

– Довольно, довольно! – воскликнул гофмаршал вне себя, протягивая руку, как бы приказывая молодой женщине замолчать. – Ваше высочество, простите, что за моим столом вам приходится слышать такие противорелигиозные мудрствования, – обратился он со зловещим спокойствием к герцогине. – Баронесса Майнау воспользовалась уединением Рюдисдорфа, чтобы предаться научным занятиям, которые своею ничтожностью напоминают о своем происхождении – занятия при хлебе и воде.

Герцогиня быстро встала; она должна была это сделать: как правительница и как женщина, она не должна была допустить семейной ссоры в своем присутствии.

– Пойдемте же собирать фрукты! – сказала она весело и любезно, как будто ничего и не произошло. Она надела шляпку и взяла зонтик. – Где же сейчас принцы? Я не вижу и не слышу их, господин Вертер, – обратилась она с вопросом к воспитателю принцев, который в ту же минуту скрылся...

Подозвав к себе священника, герцогиня взяла под руку Майнау; он пошел с нею, не бросив ни одного взгляда в сторону жены; фрейлина торопливо последовала за ними, так что Лиана осталась одна, как опальная, – одна под тенью кленов.

– Вы ничего не чувствуете, моя милая? Уж отличились вы сегодня, нечего сказать! Просто сломали себе шею! – проговорил лукаво гофмаршал, медленно проезжая мимо нее.

Глава 13

Лиана молча отвернулась и пошла по дорожке, пролегавшей мимо охотничьего дома, в лес. В отворенное окно кухни она увидела Лен, стоявшую около плиты, а недалеко от нее, в темном углу, виднелось, подобно призраку, бледное личико Габриеля. Он скрылся здесь, когда гофмаршал резким движением руки прогнал его из этого круга высокорожденных... Какой промах дала она, взяв сторону мальчика: этим, без сомнения, она только ухудшила его и свое положение. Ненавистная «вторая жена» этим ходатайством поставила себя в такое положение, что теперь вопрос состоял только в том, когда она возвратится к себе на родину... При этой мысли Лиана вздохнула полной грудью, и луч счастья осветил ее душу. Теперь не она будет намекать на развод, не она будет стараться порвать цепи, в которые, в своем заблуждении, сама себя заковала. Она радовалась смелости, с какою, не стеснясь, высказала свои убеждения: не каждое ли ее слово было нарушением программы, начертанной Майнау?.. Теперь он не мог, на время своего отсутствия, поручить ей охранение домашнего спокойствия и воспитание наследника дома Майнау: гофмаршал не потерпит уже этого ни в каком случае. Майнау нечего было страшиться теперь огласки – разрыв произошел при посторонних за кофейным столом... Сделаться свободной!.. Там, вдали, окруженный таинственным полумраком, виднелся ненавистный ей замок, где она в короткое время столько выстрадала. Время испытания, прожитое здесь, она будет считать тяжелым, но счастливо окончившимся сном, о котором она больше не будет и думать... Назад к Магнусу и Ульрике! Опять жить общею с ними жизнью, опять заниматься в Рюдисдорфе, в их уютном зале!.. Как охотно она будет выносить капризы матери и ее гневные вспышки! Тамошний ад, как говорили Магнус и Ульрика, был ничто в сравнении со страданиями и одиночеством на чужбине. Она же поедет не к матери, а к Магнусу; он ведь решительно заявил им, что Рюдисдорф их родина и будет служить для сестер убежищем во всякое время... О Магнус! И глаза ее наполнились слезами при мысли о свидании с ним.

В эту минуту раздался лай собак, выбежавших из охотничьего домика; она оглянулась: там шел Майнау, унимая повелительным движением руки прыгавшую кругом него свору... Не шел ли он в охотничий дом, может быть, за шалью, которую оставила там герцогиня?.. Как гордо и высоко держал он голову, будто служил олицетворением мужества и силы! А между

тем он был самый жалкий из всех! Он говорил против совести и убеждений и обходил молчанием самые грубые выходки, чтобы только не заступиться за жену, не ответственную его планам. Лиана быстро пошла вперед, как будто не видала его, но он был уже около нее.

– Как! Ты плачешь, Юлиана?.. Ты можешь плакать? – воскликнул он со всем злорадством удовлетворенной жестокости. Она гневно отерла слезы. – Ну, не сердись, никто лучше меня не знает, что ты не от чувствительности проливаешь их. Бывают слезы ожесточения, оскорбленной гордости...

– И глубочайшего раскаяния, – прервала она его.

– А!.. Ты раскаиваешься в своем давешнем геройстве?.. Как жаль!.. А я принимал все сказанное тобою за твое искреннее убеждение и думал, что ты сумеешь принять мученическую кончину за каждое свое слово... Итак, ты раскаиваешься?.. Не послать ли тебе священника? Он с такой необъяснимой готовностью старался выручить тебя, что герцогиня вне себя за это... Прислать тебе его, Юлиана? Более любезного духовника трудно найти в целом свете, я знаю это от Валерии!

– Я должна буду принять его, – проговорила Лиана с раздражением, видя его язвительную усмешку, – для того, чтобы он внушил мне веру в колдунов и привидения, чтобы и меня... – Тут она вспыхнула и замолчала, сделав отрицательное движение.

– Чтобы и тебя любили, как я только что высказал, – закончил он.

– Не здесь! Не здесь! – воскликнула она порывисто, указывая на Шенвертский замок. – Я раскаиваюсь, – продолжала она спокойнее, – что своим необдуманным вмешательством ускорила решение судьбы Габриеля, все же прочее я готова повторить слово в слово, даже если бы от меня потребовали представить еще новые доказательства пред лицом той высокопоставленной лживости и твоих язвительных насмешек... Далее я раскаиваюсь...

– Дай мне высказать остальное, Юлиана; я не желал бы слышать этого из женских уст, – прервал он ее вдруг очень серьезно и меняясь в лице, что уже раз смутило ее сегодня. – Ты еще раскаиваешься в том, что так слепо, так неопытно и так простодушно вступила в брак, и горячо обвиняешь меня, человека опытного, который должен был хорошо знать и понимать, что делал и чего требовал.

– Да, да!

– А если и он раскаивается?

– Ты согласен, Майнау? Ты позволяешь мне удалиться? Еще сегодня? – спросила она, затаив дыхание; глаза ее заблестали, и она с мольбою прижала руки к груди.

– Этого я не думал, Юлиана, – ответил он, видимо удивленный этим старательно сдерживаемым восторгом. – Ты не так поняла меня, – произнес он, отчеканивая слова, причем губы его нервно задрожали. – Оставим это; теперь тут не время и не место для каких-нибудь соглашений.

– Соглашений? – повторила она тихо, и ее руки опустились. – Да они и невозможны! К чему же откладывать? Боже мой, я потеряла даже охоту, утратила честные намерения, с какими вступила на свое новое поприще; я измучена и с трудом сохраняю наружное спокойствие; душой и сердцем я в Рюдисдорфе, а не здесь! Это возможно лишь на короткое время, а не на всю жизнь!.. Соглашение!.. – Она горько засмеялась. – Четыре недели тому назад я искала бы его по собственному побуждению, с чистосердечным желанием исполнить взятые на себя обязанности, теперь же, после всего, что случилось, я не могу! Я отказываюсь от него!

– Но я... нет, Юлиана! – воскликнул он запальчиво, и жилы на висках его вздулись.

С минуту она молча стояла перед ним: при таком его настроении она его боялась; но не лучше ли для обеих сторон, чтобы разрыв произошел именно теперь?

– Я, кажется, догадываюсь, почему ты желаешь, чтобы я осталась в твоём доме в эту тяжелую минуту, это для меня большое утешение, – сказала она кротко. – Ты заметил, что я от всего сердца полюбила твоего сына; отпусти Лео со мною в Рюдисдорф, Майнау! Клянусь тебе жить только для него и беречь его как зеницу ока. Я знаю, что Магнус и Ульрика с радостью примут его; как многому он может научиться от этих высокодаровитых людей!.. Тогда ты спокойно можешь отправляться путешествовать и быть в отсутствии хотя бы несколько лет...

Отпусти со мною Лео, Майнау!

И она с мольбою протянула ему руку, но он порывистым движением оттолкнул ее.

– Должно быть, правда, что существует Немизида!.. Я желал бы слышать, как они все, все хохочут!

Со злобным смехом закинул он голову кверху и устремил взгляд на синее небо, как будто вдруг увидел там тех, о ком говорил.

– Знаешь ли ты, что значит жестоко уязвленное тщеславие, Юлиана? Я когда-нибудь тебе скажу, не теперь, еще не скоро, пока...

Молодая женщина вдруг молча прошла мимо него; он стоял спиной к охотничьему домику, а потому не мог видеть, как из-за кленовых деревьев показалась герцогиня со своею фрейлиной.

Тяжело было Лиане! Огненный любопытный взгляд герцогини отметил, как резко оттолкнул Майнау ее руку. С яркою краскою в лице пошла она навстречу дамам; от нее не скрылась злобная улыбка, мелькнувшая на лице фрейлины, и это увеличило ее смущение.

Герцогиня только что своим появлением прервала тягостную сцену между супругами. Муж журил свою молодую жену за ее недавнюю бестактность и с такою суровостью отверг ее просьбу о прощении, какая возможна только при совершенном отсутствии чувства. Теперь она спокойно сознала в душе, что этой со смущением приближавшейся к ней рыжеволосой Трахенберг недоставало бы только вещей маргаритки в руке, на которой она гадала, чтобы быть олицетворением гетевской Гретхен, – и отчего бы не сознаться и в том, что эта преследуемая со всех сторон ненавистная вторая жена обладала необыкновенною прелестью?.. Фауст не любил ведь ее, он обращался с ней сурово, потому... да потому, что не мог так же скоро отвязаться от этой девочки с красновато-золотистыми волосами, как скоро, из жестокой мести, связал себя с нею.

– Любезная баронесса Майнау, зачем вы уединяетесь? – воскликнула она благосклонно и искренно, обращаясь к молодой женщине.

В руках у нее была корзинка с фруктами. Герцогиня остановилась в такой живописной позе в ожидании приближавшихся, что если бы держала корзинку повыше, то можно было бы подумать, что она хотела изобразить «дочь Тициана» в живой картине.

– Вот моя благодарность за ваши прекрасные цветы, – я сорвала это собственноручно, – сказала она, подавая Лиане фрукты.

Фрейлина с удивлением смотрела на этот дар. Она не привыкла к тому, чтобы гордая герцогиня выражала так благосклонно и дружественно свою благодарность, – может быть, она не знала, что одержимая страстью женщина, вполне уверенная в своем торжестве, может относиться чрезвычайно ласково и милостиво к побежденной... Герцогиня зашла еще далее – не видала ли она сейчас, с какой непреодолимой антипатией оттолкнули эту антично-прекрасную руку, протянувшуюся теперь за фруктами?

– А теперь сделаю вам выговор, любезная баронесса! Зачем вы избегали нас до сих пор? – спросила она. – Я надеюсь увидеть вас у себя в самом непродолжительном времени.

Лиана бросила на стоявшего возле нее Майнау беглый взгляд... Ноздри его незаметно дрожали, как будто он удерживался от иронической улыбки; в общем же, он опять принял свой обычный важно-равнодушный ко всему окружавшему вид.

– Ваше высочество, извините меня, если я ослушаюсь вашего повеления, – решительно сказала молодая женщина. – Через несколько дней Майнау предпринимает путешествие и отпускает меня в Рюдисдорф, – проговорила Лиана, насколько могла спокойнее.

Разрыв произошел при совершенно мирных обстоятельствах.

– Как, барон Майнау! Неужели это правда? – спросила герцогиня слишком торопливо и тревожно...

Она до того забылась, что фрейлина стала покашливать.

– Отчего же нет, ваше высочество? – ответил Майнау, равнодушно пожимая плечами. – Рюдисдорф чрезвычайно здоровая местность и представляет невозмутимую тишину для тех, кто любит больше всего погружаться в самого себя... Хотя я сам и перелетная птица, но зачем

же я буду препятствовать другим вернуться в свое родное гнездо?.. Берегись, Юлиана! Она порвет твоё прелестное платье!

Майнау говорил об огромной леонардской собаке, принадлежавшей Лео и, вероятно, самовольно вырвавшейся из охотничьего домика и радостно прыгавшей вокруг молодой женщины.

– Эта сумасшедшая собака страстно привязалась к тебе; что с ней, бедной, станет, Юлиана?.. Лео не захочет расстаться с ней!

Лиана закусила губу; это был ответ на её просьбу – и в каком легкомысленном, холодно-шутливом тоне!.. Взгляд, которым он сопровождал свои слова, видел только фрейлина и впоследствии уверяла герцогиню, что он выражал отвращение и, подобно молнии, сверкнул на «рыжеволосую жену».

Глава 14

Между тем герцогские дети бегали с Лео по парку. Скоро им надоело рвать спелые и неспелые плоды, лакомиться ими и бросать недоеденные на дорогу. Кофейный стол также не привлекал их, и они отказались от молока и пирожных, которыми угощала их Лен; их манило в индийский сад, где раздавался крик обезьян. Принцам, однако, было запрещено одним, без старших, ходить в «Кашмирскую долину», главным образом из-за пруда, который был неизмеримо глубок. Но на подобное запрещение они мало обращали внимания: там под кленовыми деревьями было так весело и шумно; мама и господин Вертер сюда не придут, а фрейлине «нет до нас никакого дела», как уверял наследный принц своего товарища Лео.

Прежде всего они спугнули вола, гревшегося на солнце у пруда, который, в силу своих почтенных лет и миролюбивого характера, тотчас же поспешил удалиться в рощу. Лебеди от метко направленных в них камней замахали крыльями и полетели к своему убежищу, а стая золотистых фазанов разлетелась в разные стороны при звуке детских шагов.

– Что, Лео, колдунья все еще там? – спросил наследный принц, указывая на индийский домик. Лео кивнул головой.

– Если б я только мог... – и он хлестнул воздух своим хлыстом.

– То выгнал бы ее или бросил бы в воду!

– Какие глупости! Кто же не знает, что колдуньи не тонут! Они всегда всплывают наверх и могут так плавать хоть сто лет. Это говорила мне Бергер, а она это наверняка знала.

Удивленный наследный принц даже рот разинул: чудо это было для него ново, но оно все-таки не могло помешать его планам.

– Если б у нас был порох, – сказал он, – мы могли бы преспокойно взорвать ее на воздух. Капитан фон Горст объяснил мне вчера на уроке, как это делается: берут налитанную серой нитку...

– Порох есть в охотничьем доме! – вскричал Лео, разгоряченный до крайности. – Взорвать колдунью на воздух! Вот будет потеха!

Дети побежали по плантациям, встретили воспитателя и миновали шпалерник, где мать рвала фрукты. Они были слишком хитры, чтобы выдать кому-нибудь свою тайну; они хотели сделать всем сюрприз, а потому тихонько пробрались в охотничий домик. Ключ они нашли вложенным в замок шкафа с оружием, где за стеклом висел в дорогой оправе соблазнительный пороховой рог, ловчего не было дома. Наследный принц влез на стул, снял с гвоздя рог и заглянул в него: он доверху был полон пороха. Затем он поискал кругом, но пропитанной серной нитки нигде не оказалось; маленький принц и тут нашелся: на ночном столике увидел он огарок тонкой восковой свечки и тут же в спичечнице спички.

– Довольно и этого! – сказал он и спрятал весь этот материал в карман.

В эту минуту вошел ловчий и окинул всех беглым взглядом. То был молодой человек с суровыми чертами лица, в котором, однако, проглядывал страх за похищенный пороховой рог.

– Ого! Из моей собственной комнаты? – сказал он, и кровь бросилась в его смуглое лицо.

Он прямо подошел к наследному принцу, забравшемуся в угол и обеими руками

прятавшему за спиною рог с порохом, и без церемонии взял герцогского сына за плечо; но это не прошло ему даром: принц затопал на него ногами, другой маленький принц тащил его назад за сюртук, а Лео подлетел к нему с поднятым хлыстом.

– Постой! Я расправлюсь с тобой так же, как дедушка! – кричал он. – Помнишь ли ты, как он ударил тебя хлыстом по лицу?

Ловчий вдруг помертвел; он поднял кулак, чтобы сразить неукротимого мальчика.

– Негодяй! – проговорил он, с трудом сдерживая свой гнев. – Мне что ж, пожалуй, делайте, что хотите! Я бы всех вас взорвал на воздух!

И он вышел, сильно хлопнув дверью. Дети с затаенным дыханием ждали, когда умолкнет шум его шагов за дверью кухни, а потом выпорхнули вон.

Немного погодя из дому выбежала Лен, и защитив рукою от солнца глаза, пристально посмотрела в глубину парка. Это происходило в то время, когда Майнау в сопровождении двух дам возвращался к кленовым деревьям.

– Что такое, Лен? – спросил он, заметив ее волнение.

– Они в индийском саду, то есть дети, барон! Я видела, как побежал туда маленький барон, – сказала она торопливо. – Господи помилуй! Они ведь взяли с собой порох и спички! Мне сейчас передал это ловчий.

С криком ужаса повисла герцогиня на руке Майнау, который тотчас же направился к «Кашмирской долине». Лиана и фрейлина поспешили за ним, а воспитатель, беспечно бродивший вдоль шпалерника, услышав гневный зов герцогини, также бросился вслед за ними, широко вышагивая своими длинными ногами.

Они пришли как раз вовремя, чтобы испытать тот ужас, который обыкновенно ощущаешь ввиду неминуемой опасности.

Посреди веранды индийского домика на блестящей пальмовой циновке сидели дети; они насыпали маленькую горку пороху, а в середину ее воткнули зажженный восковой огарок, тоненький фителек которого горел ярко, и достаточно было малейшего движения воздуха или чьего-либо ускоренного дыхания – и порох моментально вспыхнул бы! Конечно, этой ничтожной горсточке пороха недостаточно было для того, чтобы взорвать дом колдуньи, как хотели того дети, – опасность была в бесконечной неосторожности детей, которые, всецело отдавшись своей затее, не думали о себе. Тесно прижавшись друг к другу, они окружили так называемую «мину» и, наклонившись над нею, с затаенным дыханием ждали того момента, когда фитиль догорит и огонь достигнет пороха.

Лео сидел на корточках между обоими принцами и мог прежде всех заметить приближающихся.

– Тише, папа! Мы взорвем колдунью на воздух!.. – выговорил он почти шепотом и не отводя глаз от огня.

Одним прыжком очутился Майнау у веранды; не входя на ступени, он нагнулся и пальцами загасил пламя свечи. И когда поднялся, то был бледен как смерть; герцогиня же истерически рыдала, опустившись на руки фрейлины. Однако она тотчас же оправилась.

– Принцы сегодня лягут спать без ужина, а завтра в наказание не будут кататься верхом, господин Вертер! – приказала она строго, в то время как Майнау сильно журил Лео и тряс его за плечи.

Лиана подошла и обняла плачущего ребенка.

– Неужели, Майнау, ты и в самом деле будешь взыскивать с него за грехи его прежней наставницы? – спросила она кротко, но серьезно. – Мне кажется, это было бы так же несправедливо, как если бы кто вздумал осуждать народ за подобное жестокосердие, тогда как его систематически поддерживают и даже утверждают в его нелепых поверьях.

Она нежно провела дрожащей рукой по чудным глазам мальчика, которые избежали неминуемой опасности – потери зрения – только благодаря своевременному вмешательству отца. Лицо герцогини приняло тот мертвенно-болезненный оттенок, который уже раз испугал Лиану при первой их встрече в лесу; герцогиня забыла, что ее окружали фрейлина, воспитатель ее детей и он сам, на губах которого так часто появлялась насмешливая улыбка торжества; она

видела только, как молодая прекрасная женщина прижимала к сердцу мальчика, а это был его ребенок, его портрет, которому эта равнодушная молодая женщина так спокойно заявляла свои материнские права, – это было невыносимо! Тщательно сдерживаемая ревность охватила ее со всею силою... Она лишь настолько овладела собою, чтобы не вырвать у ненавистной ей особы ребенка своими царственными руками, но зато совершенно изменила роли милостивой и благосклонной повелительницы.

– Извините, моя милая, ваши воззрения так странны, что они столько же идут к моему старому милому Шенверту, как трехцветное знамя, выкинутое на одной из его башен, – сказала она резко, указывая на замок. – Вы извините меня, но, слушая вас, я все время думаю, что это говорит простая гувернантка, какая-нибудь Шульце или Миллер, разве вы так мало цените преимущество носить блестящее имя Майнау?..

– Ваше высочество, несколько недель тому на-! зад я была графиней Трахенберг, – прервала ее молодая женщина, с гордым спокойствием произнося свое древнее, высокоаристократическое имя. – Мы обеднели, и на последних представителей нашего имени падает эта ответственность, но, несмотря на это, я унаследовала право гордиться геройскими подвигами и славным, безупречным поведением моих многочисленных предков и твердо убеждена, что не оскорбляю их, думая и чувствуя по-человечески, а потому и Майнау могут быть спокойны.

Герцогиня гневно закусила нижнюю губу своими маленькими, острыми перламутровыми зубками, а по движению складок ее платья видно было, как она нетерпеливо топала маленькими ножками. Фрейлина и воспитатель принцев заметили эти явные признаки высочайшей немилости.

Пока Лиана говорила, Майнау стоял отвернувшись, как бы собираясь уйти; теперь он оглянулся.

– Ваше высочество, я не виноват, – уверял он, насмешливо прижав обе руки к сердцу. – Я право ни при чем, что вы в старом, милом Шенверте слышали такой ответ, – я сам рассчитывал на безответную голубиную кротость. Эта особа с кротким личиком а la Lavalliere обладает не только знаменитым именем, но получила в наследство и славный меч своих доблестных предков, – он у нее на кончике языка. Я имел уже случай в этом удостовериться.

И иронически улыбаясь, он пожал плечами. Эта маленькая, блиставшая редким остроумием сцена, в которой каждое слово походило на только что потушенный огонь среди кучки пороха, сопровождалась тихим плачем: храброму наследному принцу очень хотелось полакомиться своим любимым морковным соусом за ужином, а брат его плакал о своем пони, которого не увидит завтра. Как красноречиво ни уговаривал их господин Вертер, они были неутешны; когда же он, видя гнев герцогини, хотел скорее увести их, то жалобный дуэт их превратился в громкие рыдания. Почти в то же время послышался шум колес приближающегося кресла гофмаршала, и скоро он подъехал, бледный и встревоженный. Увидя, что все целы и невредимы, он приказал ловчему, который его вез, остановиться; очевидно, он избегал близко подъезжать к индийскому домику. С ним прибыли священник и Лен, оба также взволнованные, и волнение их еще более усилилось при виде плачущих детей.

– Бога ради, Рауль, что за неслыханные дела творятся тут? – воскликнул старик. – Правду ли говорит Лен, что дети играли порохом?

– Игра имела глубокий смысл, дядюшка. «Лотосу» грозила опасность умереть смертью колдуньи: дети хотели взорвать ее, – отвечал Майнау с полуулыбкой.

– Если бы это случилось шестнадцать лет тому назад! – проворчал гофмаршал, причем взгляд его робко скользнул по бамбуковой крыше. – Но я желал бы знать, как попал к детям порох?.. Кто дал его вам, принц? – обратился он к горько плакавшему старшему мальчику.

– Вот он! – проговорил тот, указывая на ловчего, который неподвижно и почтительно стоял за креслом.

У маленького труса не хватило мужества самому отвечать за свой проступок, а потому он и взвалил его на плечи другого.

– Да ведь это вовсе не правда! – вскричал запальчиво Лео, прямодушие и правдивость

которого возмутились против такой лжи. – Даммер вовсе не давал нам пороку; он только был ужасно груб, хотел прибить меня, бранил нас негодяями и говорил, что самое лучшее было бы нас всех самих взорвать на воздух.

– Собака! – закричал вне себя гофмаршал на ловчего; злоба душила его: он вскочил, но тотчас же со стоном опустился назад в кресло. – Вот видишь, Рауль, куда ведут твои гуманные идеи! Мы кормим этих воров, по нашей бесконечной доброте они избавлены от голодной смерти; но если не стоишь над ними с арапником, они становятся дерзки, воруют, где только могут, да, наконец, еще и жизнь-то наша не в безопасности с ними!

– Докажите хоть одно мое воровство, барон! – воскликнул взбешенный ловчий. На него страшно было смотреть: глаза его выкатились, а смуглое лицо пылало. – Я вор? Нет! Я тружусь честно!

– Тише, Даммер, уйдите отсюда! – приказал Майнау, указывая на охотничий дом.

– Нет, барон, у меня тоже есть честь, как и у вас, и я дорожу ею, может быть, больше, чем важные господа, потому что, кроме нее, у меня ничего нет! Вы уже раз ударили меня арапником, – обратился он к гофмаршалу, задыхаясь, слова срывались у него с языка, – я смолчал, потому что должен кормить своего старого отца, но забыть этого я не мог! Вы говорите о своей бесконечной доброте? Где только возможно, вы урезываете наше жалованье, вы не стыдитесь обсчитывать нас на какие-нибудь гроши; весь свет знает, как вы скупы и жестоки!.. Так, теперь я высказался и оставляю Шенверт; но берегитесь, берегитесь меня!

Мощными руками схватил он кресло, сильно потряс его и оттолкнул его от себя с такою силою, что оно прокатилось далеко в кусты.

Фрейлина и дети громко вскрикнули, а герцогиня удалилась к индийскому домику. Майнау в ужасном гневе вырвал из земли засохший прут и замахнулся им; нежный, болезненный крик раздался в воздухе.

– Не бей его, Майнау! – воскликнула Лиана. Губы ее нервно дрожали, а правая рука ее бессильно опустилась; она неслышно подбежала к мужу, чтобы отвести удар, и, в то время как ловчий, удачно избежав его, скрылся со злобным хохотом, удар попал прямо в нее.

Одну секунду Майнау стоял неподвижно, как пораженный громом, потом с проклятием далеко отбросил от себя прут и хотел схватить обеими руками раненую правую руку жены, но невольно отступил, – перед ним стоял придворный священник. Этот священник не выказал бы большей фанатической энергии, защищая от варваров святую дарохранительницу, чем в эту минуту, когда он бросился между Майнау и его молодой женой. Он, видимо, действовал под влиянием необузданного чувства пылкой страсти; иначе как объяснить движение, с которым он, защищая собою молодую женщину, привлек ее к себе и поднял правую руку?

– Но, ваше преподобие, не собираетесь ли вы убить меня? – спросил Майнау, медленно произнося каждое слово и оставаясь на месте; он ледяным взглядом смерил священника с головы до ног; болезненный ужас, за минуту перед тем выражавшийся в его вспыхнувшем от испуга лице, сменился теперь холодным презрительно-насмешливым выражением; это спокойствие тотчас же заставило священника прийти в себя: он опустил руки и отступил.

– Удар был так ужасен, – пробормотал он, как бы извиняясь.

Майнау повернулся к нему спиной. Стоя близко около Лианы, он пытался заглянуть ей в глаза, но они оставались опущенными. Тогда он хотел было взять ее больную руку, которую та глубоко спрятала в складках платья.

– Это ничего не значит, я могу слегка двигать некоторыми пальцами, – ответила она со слабой улыбкой, как бы желая успокоить его.

Теперь она подняла голову, и ее безучастные, усталые глаза встретились с его выразительным взглядом, покоившимся на ней, после чего она с необъяснимой мукой перевела их на небесную синеву.

– Вы слышали: удар незначителен, и вы можете успокоиться, святой отец, – сказал Майнау, повертываясь к священнику. – Мне тяжелее! Эта прекрасная ручка будет завтра снова с обычным искусством и артистичностью водить карандашом, а на моей репутации будет вечно лежать клеймо, что я нанес удар женщине! – Необычная резкость звучала в эту минуту в его

голосе. – Об одном хотел бы я напомнить вам, святой отец: что подумал бы непримиримый орден, к которому вы принадлежите, о вашем необыкновенном участии?.. Ведь это рука еретички?

– Вы говорите против собственного убеждения, господин барон, приписывая нам такую жестокость, – возразил он холодно. – Мы никогда не забываем, что и эти заблудшие принадлежат нам по крещению.

– Ну, этот довод встретил бы некоторое противоречие со стороны приверженцев Лютера, – прервал его со смехом Майнау и, не обращая внимания на энергически протестующий жест Лианы, пошел навстречу приближающейся герцогине.

– Каких ужасов пришлось быть свидетельницей вашему высочеству в Шенверте! – проговорил он развязно своим небрежным тоном.

Герцогиня устремила на него свой испытующий взгляд: его лицо действительно было холодно, как лед... При всей ненависти к молодой женщине, боль, выражающаяся в ее бледном лице, возбудила в сердце герцогини некоторое сострадание... А он оставался нечувствительным, у него не нашлось ни одного слова извинения за нее... Да, эти существа никогда не могут сблизиться!

– Ах, мама, на что похожа твоя рука! – вскричал Лео. Он с любовью прижался к матери, раздвинул складки ее платья и увидел ее красную, сильно воспаленную руку. – Папа, я никогда не поступал так дурно и с Габриелем!

Хотя упрек и был вполне заслужен отцом, но в устах ребенка он звучал потрясающим образом. Сама Лиана поспешила загладить его впечатление. Она отстранила Майнау, который хотя и с угрюмым видом, но все же приблизился к ней, и на предложение герцогини воротиться домой и прислать доктора уверила ее, что холодные компрессы всего лучше отняли бы жар, если бы ей позволили удалиться на четверть часа к фонтану, находившемуся около индийского домика.

– Вот вам награда за вашу комедию, баронесса! – дерзко сказал гофмаршал в то время, как воспитатель принцев повернул его кресло с намерением везти его назад. – Вы, верно, видели на сцене, как дама бросается между двумя дуэлистами, – там это очень эффектно... Но здесь отводить аристократическими руками вполне заслуженное дерзким парнем наказание... *fi done*⁷, я нахожу это в высшей степени неприличным! Высокорожденная герцогиня фон Тургау, ваша светлейшая бабушка, которою вы так гордитесь, должна перевернуться в земле...

Он вдруг замолчал и с изумлением оглянулся кругом. Майнау молча, со сжатыми губами, отстранил воспитателя, сам занял его место и с невероятной быстротою покатил кресло. Все остальное общество последовало за ним, кроме священника, который давно уже покинул индийский сад.

Глава 15

«Кашмирская долина», бывшая еще недавно театром вышеописанных драматических сцен, снова погрузилась в мечтательную, знойную, нарушаемую лишь жужжанием насекомых тишину, которую можно встретить только в деревне в послеобеденную пору. Там, где из клюва каменного лебедя струилась в бассейне ключевая вода, слышался ее слабый плеск, а из-за куста высунул свой зеленый султан золотистый фазан, намереваясь прогуляться по усыпанной гравием площадке перед домом. После того как умолк вдали шум катившегося кресла, можно было подумать, что все предшествовавшие сцены были картинами волшебного фонаря, промелькнувшими перед домиком с бамбуковой крышей, – такое невозмутимое спокойствие царствовало тут; но там, поперек дорожки, лежал далеко отброшенный прут, а на веранде еще виднелась роковая кучка порошу, на которую с удивлением поглядывал павлин, величаво выступая из-за дома. По свежей воде бассейна в таком множестве плавали белые лепестки

⁷ Фу!. (фр.)

осыпавшихся роз, как будто тесно окруженный розовыми кустами лебедь ощипал и рассыпал по воде свой собственный пух. Молодая женщина окунула в воду свою больную руку и сама испугалась ее вида в воде, – до того она показалась ей красной и бесформенной среди плавающих белых лепестков роз.

– Баронесса, вам непременно надо прикладывать компрессы, – говорила Лен, вышедшая из индийского домика; на ее руке висели белые полосы полотна...

Она не перекрестилась и не всплеснула руками при виде изувеченной руки, это было не в ее духе; однако в этой по виду грубой женщине, всегда бравировавшей своей холодностью, жестокосердием и невозмутимым спокойствием, было что-то, что поразило Лиану: сильные руки Лен тряслись, когда она опускала в воду компресс.

– Да, да, такая уж мода в Шенверте, – сказала она, бросив косой взгляд на огненный рубец, – ударить по руке так, что, кажется, ни одной кости не должно остаться целой, или бешено сдавить тоненькую шейку...

Молодая женщина взглянула на нее с удивлением; но Лен спокойно выжимала полотно, с которого вода, как дождь, струилась на гравий.

– Той, что там лежит, было бы что порассказать, – прибавила она глухо, указывая мокрой рукой на стеклянную дверь индийского домика. – Я всегда говорю, что женщинам плохое житье в Шенверте. – Старушка, сама не подозревая того, повторила то же самое, что сказал и придворный священник. – И когда вы приехали, такая деликатная и нежная, мне от души стало жаль вас...

Своим пронизательным взглядом она окинула кусты и дорогу, но нигде не было заметно непрошеного свидетеля, только маленькая обезьяна соскользнула с верхушки дерева на соседнюю бамбуковую крышу. Лен осторожно вынула из воды изувеченную руку Лианы и стала прикладывать компресс. Низко склонившись над нею, она сказала скорее про себя:

– Да, тогда они все собрались в ее комнатах в замке, то есть, я говорю, тринадцать лет тому назад; в нашей кухне говорили тогда, что в то время наш барон почти умирающий лежал уже несколько времени там, в красной комнате, что они нашли ее... – я говорю про женщину из индийского домика, – еле живой... Удар, видите ли, хватил ее... Гм! такую молоденькую, худенькую, такую беленькую... да! Но с такими удара не бывает, баронесса... Вскоре затем ее вынесли оттуда, из замка, и, когда ее несли, она, как убитый ими беленький ягненок, висела на руках несшего ее человека; он принес ее почти мертвую и положил туда, где она и теперь еще лежит, уже тринадцать лет...

Я шла рядом с нею... Правда, я кажусь суровой, но нет, баронесса, бывают минуты, когда мне хочется высказать всю правду; я не сурова, у меня в груди слишком глупое, чувствительное сердце, и в то время казалось, что оно разорвется на части, когда она, бедняжка, на моих руках открыла глаза; она боялась даже старой Лен и думала, что ее станут опять душить...

Лиана вскрикнула от ужаса; Лен побежала вперед по дорожке, обогнула дом и, успокоенная, вернулась назад.

– Кто говорит «а», тот должен сказать и «б», – продолжала она глухим голосом, – и уж если я открыла вам свое сердце, то не могу удержаться на половине. Доктор, попросту сказать, бездельник, уверял, что синие пятна на белоснежной шейке были следствием застоя крови... когда тут ясно отпечатались десять пальцев, баронесса. Как вам это покажется! Десять пальцев, говорю я!

– Но кто же это сделал? – спросила, задыхаясь, Лиана.

Всякому другому она, наверное, с первого слова зажала бы рот и не допустила бы высказать эту ужасную тайну, чтобы не сделаться ее соучастницей; но эта женщина, носившая с невероятной силой воли в продолжение тринадцати лет железную маску, внушала ей уважение и невольно увлекла ее своим своеобразным рассказом, когда под влиянием сильного внутреннего волнения она на минуту сбросила с себя свою обычную суровость.

– Кто это сделал? – с пылающим взглядом повторила Лен вопрос. – Те руки, которые постоянно ищут арапника, пальцы которых с ногтями так загигают внутрь, как будто им все хочется загребать, точно все для них мало... Да, баронесса, он суший дьявол!

– Он, вероятно, страшно ненавидит ее?

– Ненавидит? – Тут ключница громко рассмеялась. – Разве это ненависть, когда мужчина бросается на колени и с воем и визгом просит сжалиться над ним?.. Да кто бы мог подумать, глядя на этот желтый высохший скелет, что он как бешеный мог преследовать бедную женщину!.. Я стояла здесь, на веранде, и видела, как он ползал пред ней на коленях. Она отмахивалась и отбивалась и наконец однажды, в глухую ночь бросилась от него мимо меня в сад. Тогда ноги его были еще быстры, он гнался за нею по всему саду, но ведь она была легка, как перышко, как снежинка. Она давно уже была дома, заперла изнутри дверь и лежала у колыбели спящего Габриеля, когда он опять явился. Стоя в темном углу, я сначала проклинала его, а потом смеялась. Он стоял в каких-нибудь трех шагах от меня и в бешенстве колотил кулаком по решетке, да ничего не помогало, и волей-неволей пришлось ретироваться.

Рассказ был так жив, что вся картина вдруг представилась Лиане. Она видела, как молодая женщина со слезами ужаса и отвращения на прекрасном лице, поглядывая назад, бежала на своих проворных ножках вокруг пруда; а за нею гнался формалист, холодный придворный с дерзким, злым языком, он, объятый безумной страстью старик!.. Неужели это было возможно?.. Невольно отступила она на шаг от пруда, ей хотелось заглянуть в индийский домик, но все окна и стеклянная дверь его были занавешены плотными пестрыми плетеными из тростника шторами.

– Не правда ли, вам жаль ее, баронесса? – спросила ключница, уловив ее взгляд. – Вот уже два дня, как там очень тихо; она много спит, короче сказать, это предсмертный сон: ее не станет в какие-нибудь четыре недели.

– Неужели же не было никого, кто бы мог защитить ее? – спросила молодая женщина; глаза ее были влажны.

– Кто же?.. Тот, кто привез ее из-за моря, покойник барон, за несколько месяцев до смерти был заперт в красной комнате. Шторы там были спущены, окна не открывали, а когда нападал на него страх, то и ставни запирали, и все замочные скважины затыкали бумажками, чтобы не пролез к нему дьявол... Он был очень умный человек, но под влиянием болезни видел все в черном цвете, а чтобы это не прошло у него, о том старались двое – вот тот, с бритой головой, и другой, которого недавно увезли отсюда... Его уверяли, что он болен, потому что выстроил языческий храм в индийском саду и свое сердце отдал «уличной танцовщице», – и он этому поверил! Господи Боже мой, чего не сделаешь из больного человека с помутившимся рассудком! А когда он спросил раз о женщине, которую любил более всего на свете, то ему отвечали, что она ему изменила и полюбила другого... Фу! Какая это была низкая ложь, какой бессовестный обман!.. И об этом все кричали в замке, и мой покойный муж – да простит ему Бог! – был заодно с ними. Он служил камердинером у покойного барона и потерял бы место, если бы сказал что против.

Видно, тяжело было ей это признание, потому что она в первый раз провела рукой по глазам, чтобы вытереть набежавшую слезу.

– Вот тут-то я и приняла суровый вид и сделалась груба с целым светом. Женщина в индийском домике была мне бельмом на глазу, а ее ребенок... Вот меня и заставили быть крестной матерью Габриеля и выбрали в сиделки к больной... Не правда ли, баронесса, я могу хорошо играть комедию? Выходит так натурально, когда я ворчу на Габриеля и журю его в замке... А ведь это мое сокровище, моя единственная отрада – я отдала бы за него по каплям всю свою кровь. Не я ли ходила за ним с его пеленок, не на моих ли руках вырос он, и разве мало слез пролила я над бедняжкой, когда он смотрел на меня так кротко и любовно, даже и тогда, когда я была с ним сурова?..

Тут голос ее оборвался, и она, закрывшись передником, горько заплакала.

– А ведь он тоже принадлежит к их семье! – прибавила она, помолчав, и сердито опустила передник. – Все-таки он Майнау; это так же верно, как и то, что над нами сияет светлое солнце, и хотя покойный барон никогда не видел его, но Габриель был и остается его сыном.

– Вы должны были бы рассказать все молодому барону, когда он вступал во владение наследством, – серьезно проговорила Лиана.

Ключница в испуге отскочила и подняла руки к небу.

– Ему, баронесса? – спросила она, будто не расслышав. – О, вы шутите! Когда молодой барон только мельком увидит Габриеля, я и тогда уже дрожу: у! этот взгляд пронизывает меня насквозь!.. Это правда, барон вообще очень добр, делает много добра бедным, не терпит несправедливости, но он не хочет видеть многого, он не любит, чтобы его беспокоили, и потому многое, что бы следовало строго разобрать, проходит совсем незамеченным... Он ведь хорошо знает, отчего больная так кричит, когда герцогиня проезжает мимо... Тут Лен замолчала.

– Отчего же? – спросила Лиана, слушавшая ее с величайшим вниманием.

Ключница искоса, со смущением посмотрела на нее.

– Видите ли, молодой барон так похож на своего покойного дядю, что я другой раз охотно присягнула бы, что покойный барон снова ожил... Раз как-то он и прошел мимо индийского домика под руку с герцогиней, – старушка робко осмотрелась кругом, – а ведь герцогиня всегда смотрит на него так, точно сжечь хочет его своими глазами. Меня в то время не было там, этого не знаю, но больная вообразила себе, что это идет ее возлюбленный, и, мучимая ревностью, громко вскрикнула; с тех пор она всегда неспокойна, когда герцогиня проезжает верхом... Ведь это же доказывает... как сильно она любила покойного, но господин барон говорит только: она помешана – и все тут... Нет, он не пошевелит и пальцем, и если Господь не смилует, то бедный мальчик через три недели поступит в духовную дрессировку, а потом его ушлют к язычникам; таким образом он, конечно, не будет стоять им поперек дороги.

– Но ведь его посылают туда потому, что так желал покойный барон.

Ключница посмотрела на молодую женщину долгим выразительным взглядом.

– Да, так толкуют в замке, но... кто же этому поверит? Видели вы известную записку?

Лиана ответила отрицательно.

– Я в этом уверена. Кто ее знает, какова она!.. Видите, баронесса, в тот вечер, когда вы неожиданно вошли в индийский домик и были так ласковы к Габриелю, я порадовалась в душе и подумала: наконец-то Бог посылает нам своего ангела. Вы и остались ангелом, в этом я убедилась сегодня, когда вы так смело заступились за бедного ребенка перед всем этим ужасным обществом; но здесь вы ничего не добьетесь. Тут нужна такая, как была покойная баронесса, которая от каждой безделицы принималась топтать обеими ногами и кидать в прислугу чем попало, не разбирая – острый ли это нож, ножницы или что-нибудь другое... Да об этом я лучше уж умолчу и не стану передавать вам всего, что знаю, чтобы не смущать вашего кроткого сердца... Потому что вам самим предстоит много борьбы, тяжелой борьбы, так как этот старый злодей будет подкапываться под вас, как крот, потому что ему хочется выжить вас во что бы то ни стало, а другой, который привез вас в Шенверт, – не гневайтесь на меня, баронесса, я должна высказаться, – другой за вас не заступится, не станет удерживать вас здесь. Мы все это знаем и видим. Когда ему по милости старого барона придется очень тошно, он бросит Шенверт, перекрестится и поедет куда глаза глядят, бродить по белому свету, а что дома оставляет, до того ему и горя мало, не исключая и бедной молодой жены.

Яркая краска залила лицо Лианы. Какую роль играла она в этом доме? Прямая, безыскусственная речь этой женщины с ужасною ясностью обрисовала ей двусмысленное, недостойное ее положение. «Мы все это знаем и видим», – только что сказала Лен. Значит, она, Лиана, была предметом сострадательного внимания обитателей Шенверта. Вся гордость Трахенбергов, а с нею и все оскорбленное достоинство женщины возмутились в ней от этих слов. По крайней мере пред другими она не должна была признаваться в подобном унижении.

– Все это происходит вследствие взаимного соглашения между бароном и мною, моя милая Лен, и никто не должен вмешиваться в наши отношения, – сказала она ласково и спокойно и протянула руку, чтобы поверх компресса наложить сухую повязку.

Изумленная Лен замолчала. На дальнем конце дорожки показались фрейлина с Лео, посланная герцогиней «осведомиться о бедной пациентке», – как выразилась фрейлина, приблизившись к Лиане.

Ключница скрылась в индийский домик, а Лиана, взяв Лео за руку, в сопровождении

фрейлины пошла назад к кленовым деревьям. Она невольно содрогнулась, пройдя мимо желтого высохшего скелета и увидя его бледные руки с нервно барабанившими по столу пальцами, под бешеным давлением которых едва не угасла человеческая жизнь...

О, с каким наслаждением эти пальцы сдавили бы шею женщины, только что скрывшейся в индийском домике, если бы только он мог угадать, что та знает его ужасную тайну и только что выдала ее! Он не знал, что со дня преступления за ним, подобно тени, следили ее пронизательные глаза. И кто бы мог подумать, глядя на суровое, бесстрастное лицо подошедшей Лен, которая так спокойно подносила всем и самой Лиане мороженое, что она только что сообщила ей такие ужасы!

Глава 16

Давно замолк стук отъехавшего экипажа герцогини, по настоятельной просьбе которой Майнау велел оседлать себе лошадь, чтобы проводить ее; священник же удостоился приглашения сесть рядом с герцогиней, а принцы должны были довольствоваться передним сиденьем. Ее высочество была, очевидно, в наилучшем расположении духа; она, конечно, не знала, — да откуда бы ей знать это, — что при виде сидящего рядом с ней священника не один кулак в столице сожмется с угрозой. Да если бы она и знала — что ей мнение народа, когда дело шло о чествовании ее церкви? Царствующая линия герцогского дома была не католического исповедания, наследный принц и брат его воспитывались в протестантской вере; напротив того, члены нецарствующей линии, к которой принадлежала и герцогиня, были ревностными католиками.

Преобладавшее протестантское население страны не одобряло выбора своего правителя, возведшего на трон самую набожную из своих светлейших кузин. Немного спустя капеллан небогатой боковой линии был назначен придворным священником, и если бы, говорилось в придворных кругах, не преждевременная смерть герцога, то на троне неизбежно последовала бы перемена веры, потому что герцог боготворил свою жену и слепо отдавался во всем ее влиянию...

Как олицетворение счастья и несчастья, сидели они рядом при выезде из Шенверта: она — воздушная, розовая, улыбающаяся герцогиня, и он — священник, в длинном черном одеянии, с обычным бледным как смерть лицом, отвечавший сегодня на обильно сыпавшиеся выражения благосклонности одною только мрачною улыбкой.

Поклонившись герцогине, Лиана в то же время простилась с Майнау, выпросив у него позволение провести остаток дня в своих комнатах, на что он с насмешливой улыбкой изъявил свое согласие. Наконец она была одна, так как гофмаршал потребовал Лео к себе, чтобы не сидеть одному за ужином в случае, если бы Майнау остался в городе. Одна, предоставленная самой себе, в своем голубом будуаре, она накинула на себя легкий пеньюар и приказала совершенно распустить ее тяжелые косы, что всегда облегчало ее мучительные головные боли.

Не обращая внимания на головную боль, она сильно горевшей забинтованной рукой пододвинула маленький столик к шезлонгу и стала писать Ульрике, но, не dokonчив письма, принуждена была положить перо и со стиснутыми от боли зубами лечь на кушетку. Опустив голову на голубую атласную подушку, она подложила под нее левую руку и в таком положении пролежала неподвижно несколько часов, глядя на голубые складки обоев противоположной стены, на которой лучи заходящего солнца отражались всеми цветами радуги. Ее роскошные волосы, рассыпавшиеся по плечам и груди, скатывались, подобно потоку, на вазильки ковра; лучи вечернего солнца достигали и до них и играли и блестили каким-то демоническим светом, как тот красноватый металл, так ревниво оберегаемый гномами... Как ни казалась она по наружности спокойной, но ее взволнованный ум работал с лихорадочной быстротой. Ей представлялась «воздушная, сотканная из кружев душа», бросавшая во гнев нож и ножницы в окружавших ее; она, эта окруженная ароматом жасминов Валерия, была любимицей двора, о ней злой старик говорил с восторгом, как о божестве, а Майнау... ну, тот никогда не любил этой женщины; он и вспоминает-то ее с ненавистью: их брак был тоже браком по расчету, и

вдобавок очень неудачным. Он, так легко сбрасывавший с себя всякие цепи, более или менее тяготившие его, в этом случае был терпелив. Когда ему становилось «уж очень тошно», он уезжал бродить по белому свету, и только смерть, а не развод расторгла этот брак... Сколько противоречия в этом человеке, который в отношении таких заблуждений, как любовные приключения, дуэли, безумные пари, не обращал ни малейшего внимания на мнения света! Он, как ребенок, боялся всякого промаха или ошибки, могущих вызвать насмешливую улыбку или злобную радость людей его звания... Из снисхождения к этой слабости она самовольно заявила герцогине, конечно в самой осторожной форме, о предстоящем разводе, и, вероятно, это было приятно ему, так как он очень спокойно изъявил на то свое согласие. Недолго уже оставалось страдать ей, скоро она опять будет дома и... конечно, без Лео. При этой мысли она крепче прижала лицо к подушке. Она сильно полюбила ребенка, и ее уже заранее мучила предстоящая разлука, но даже для него она не могла принести этой жертвы, не могла остаться здесь после того, как невольно заглянула в мрачное прошлое гофмаршала, чтобы не видеть последствий его преступлений и не иметь возможности вмешиваться в них даже словом. Судорожный трепет пробежал по ее телу, грациозно покоившемуся на мягкой кушетке; на нее наводила ужас мысль, что она должна дышать одним воздухом с коварным убийцей.

Среди этих размышлений легкий шорох долетел до ее слуха. Ей показалось, что там у двери стоит «желтый, высохший скелет» во фраке и с дерзкою улыбкой своими скорченными пальцами приподнимает портьеру; она с испугом вскрикнула.

– Это я, Юлиана, – сказал Майнау, появляясь из-за голубой портьеры...

Это он! Как будто это было для нее менее ужасно! С того дня, как он отсюда повел ее к венцу, его нога еще ни разу не переступала порога ее комнаты. Она вскочила и бросилась к колокольчику.

– К чему это? – спросил он, удерживая ее руку.

Вспыхнув, она откинула назад свои волосы и стала спиной к стене, чтобы по возможности скрыть их.

– Мне нужна на минуту Ганна, – сказала она коротко и гневно. Он улыбнулся.

– Ты забываешь, что дамы нынешнего века являются даже на прогулках с этою прической, а потом, к чему этот этикет? Разве я не сохранил за собою права входить сюда без доклада и навещать, когда захочу, мою больную жену?

Он медленно провел рукою по шелковистым прядям ее волос, которые, несмотря на все старания молодой женщины, опять рассыпались по ее плечам и, подобно золотой тунике, покрывали ее белое платье.

– Какая роскошь! – сказал он.

– «Несколько полинявший оттенок трахенбергского цвета», – возразила она с горькою улыбкой, холодно отводя его руку здоровой левою рукой.

Он с минуту стоял как пораженный, причем легкая краска разлилась по его лицу: по ее тону и выражению он догадался, что она повторила одно из его беспощадных выражений, и теперь старался припомнить, где и когда она могла их слышать.

– Я привез доктора, Юлиана, – проговорил он после минутного молчания, видимо стараясь преодолеть какое-то неприятное ощущение, – можно ввести его?

– Я не желала бы его беспокоить. В Рюдисдорфе мы не имели обыкновения советоваться с врачом о каждой безделице. Он жил слишком далеко и...

Тут она вдруг замолкла: к чему снова упоминать, что они были слишком бедны и обходились домашними средствами?

– Свежая ключевая вода сделала свое дело, – dokonчила она торопливо.

– Он и не будет тревожить тебя осмотром руки. Я с удовольствием вижу, что ты пробовала писать, – отвечал он, бросив взгляд на письменные принадлежности и на начатое к Ульрике письмо. – Я хочу только, чтобы с его помощью последствия пережитого тобою волнения были устранены: я еще недавно видел, как по твоим членам пробежала нервная дрожь.

Значит, он давно стоял за портьерой и наблюдал за ней. Откуда вдруг такая забота о ней,

после того как во время самого происшествия и после него он показывал такую холодность и оскорбительное равнодушие?

– Только для этого? – спросила она с улыбкой, становясь к нему вполоборота. – Ты, кажется, забываешь, что я прошла совершенно иную школу, чем другие девушки моего общественного положения, иначе я не была бы сестрой Ульрики и «Фамулусом» моего брата! Мы никогда не имели времени по-аристократически нежить и лелеять наши нервы; мы закалялись в работе, как делают это те, которые хотят оставаться нравственно независимыми и предоставить свободу своей духовной деятельности... Прощу тебя, отпусти скорее доктора, он, верно, ждет на дворе?

Последние слова она произнесла поспешно, но не решительно, и Майнау не мог сомневаться, что этим она хотела по возможности сократить его посещения.

– Он ждет не на дворе; да если я и посижу тут, то беда небольшая, доктор сидит в зале за бутылкой бургундского, – ответил он насмешливо и, войдя в глубину комнаты, беглым взглядом окинул ее стены.

– Каково! Этот голубой будуар, который, говоря откровенно, был мне страшно антипатичен, сделался вдруг так мил и уютен! Матовая белизна групп из слоновой кости производит необыкновенный эффект на фоне голубых атласных драпировок: они оживляют комнату, как и белая азалия там у окна... И здесь стоит даже стол! Знаешь ли, что было причиной моего всегдашнего отвращения! Это вечное сибаритство Валерии, которая могла по несколько часов кряду лениво лежать на мягких шелковых подушках дивана!

Он заглянул в широко растворенную дверь соседнего салона.

– А где же ты рисуешь, Юлиана? – спросил он. – Я не вижу тут никаких принадлежностей для рисования – ведь не в детской же?

– Нет, я приспособила к этому кабинет, смежный с моей гардеробной.

– Как! Тесный уголок, не имеющий даже, насколько я помню, удобного освещения? Какая странная идея!

Она пристально посмотрела ему в лицо.

– Но как же ты будешь заниматься в нем зимою? Этот кабинет не отапливается? – спросил он.

– Зимою? – повторила с испугом и удивлением молодая женщина, но тотчас же оправилась. – Ах, да, ты, конечно, не заметил, что в рю-дисдорфском зале отличный камин; несмотря на стеклянный фронтон, она, эта большая комната, хорошо нагревается, а когда становится очень холодно, мы с Ульрикой помещаемся в бельэтаже, в хорошенькой теплой угловой комнате, которой ты не знаешь.

Злобный огонек сверкнул во взгляде, которым он окинул стройную фигуру молодой женщины, совершенно спокойно стоявшей пред ним и только по высоко вздымавшейся груди которой можно было догадаться, что она боролась со страшным волнением.

– Неужели эта причуда так упрямо засела тут? – спросил он медленно, слегка коснувшись указательным пальцем ее белого лба.

– Я не понимаю, что ты хочешь сказать, – возразила она, отступая от него с холодным спокойствием; она невольно провела рукой по тому месту, до которого он дотронулся, как бы желая стереть неприятное ей прикосновение. – Для причуд моя голова еще слишком молода, да и вообще я очень остерегаюсь потворствовать каким-либо мелочным пристрастиям. Но, говоря так, ты, кажется, намекаешь на мое намерение вернуться в Рюдисдорф – разве это не было нашим обоюдным желанием?

– Мне кажется, что я уже выражал тебе сегодня противное, – сказал он с напускным равнодушием и пожимая плечами.

Она знала, что еще одно противоречие с ее стороны – и он непременно вспылит, но это не остановило ее.

– Сначала да, – ответила она, – но потом, в присутствии герцогини, ты выразил свое полное согласие.

Он так горько засмеялся, что она смутилась и замолчала.

– Знаю, что я доставил бы блистательное удовлетворение твоей оскорбленной гордости и высокомерию, если бы в эту ловко избранную тобою минуту заявил: «Эта женщина во что бы то ни стало хочет отвязаться от меня, я же на коленях умоляю ее не оставлять меня; она отвергает все, что я ни предлагаю ей, и радостно возвращается к прежней бедности и лишениям единственно для того, чтобы отомстить!» Нет, прекрасная баронесса, такого блестящего удовлетворения и при таких свидетелях, какие сегодня жадно ловили каждое твое слово, ни один муж не согласится дать своей жене, даже если бы он... любил ее.

Пылающее лицо Лианы сделалось бледно; она почувствовала себя глубоко оскорбленной и на последние слова не обратила никакого внимания: она слышала только, как он сказал, что она хочет отомстить.

– Убедительно прошу тебя, Майнау, не говорить обо мне так несправедливо и обидно, – прервала она его, задыхаясь. – Мстить! С подобным чувством я еще, слава Богу, незнакома и до сих пор не понимаю, до какой степени оно может волновать человеческое сердце; но мне кажется, месть вообще бывает последствием какой-нибудь страсти, а я не думаю, чтобы мое пребывание в Шенверте могло возбудить во мне какую бы то ни было страсть... Правда, гофмаршал часто и глубоко оскорбляет меня, но я уже говорила тебе, что снисхожу к нему как к больному и по возможности стараюсь хладнокровно отражать его нападения... В отношении тебя? Как могла бы я мстить за оскорбления, которых никогда не было и не должно быть? Мы не можем причинить друг другу глубокого горя.

– Берегись, Юлиана! В эту минуту каждое твое слово – преднамеренный острый нож, ты сама хорошо знаешь, что ты огорчена.

– Я решительно отрицаю твое предположение, – сказала она с невозмутимым спокойствием. – Да, я оскорблена, я утратила энергию, но не огорчена; я потеряла энергию, поскольку мне кажется, что хозяйничать в твоём доме – все равно что черпать воду решетом; то же убеждение не оставляет меня и в деле воспитания Лео: противная сторона слишком ревностно работает против меня... Относительно этого я только что писала Ульрике.

– О! Да это прекрасный случай узнать все, что мне хочется! – воскликнул он, быстро подходя к столу.

– Ты этого не сделаешь, Майнау! – сказала она серьезно, но губы ее дрожали, и она взяла его за руку, чтобы остановить.

– Я сделаю это непременно, – ответил он, с силою освобождаясь от ее руки. – Я имею неотъемлемое право читать письма моей жены, которые мне кажутся подозрительными... Посмотрись в зеркало, Юлиана! Такие бледные губы изобличают нечистую совесть... Я прочту тебе письмо вслух.

Майнау подошел к столу и стал громко, с саркастической интонацией читать письмо:

– «Не дальше как недели через две я приеду в Рюдисдорф и навсегда, Ульрика!.. Этот крик освобождения выходит так холоден и ничтожен на бумаге, он не передаст, как светло и радостно стало на моей душе с тех пор, как я сознаю, что опять буду жить вместе с тобою и Магнусом...» Бедный Шенверт! – произнес Майнау с горькой насмешкой. – «Не думай, чтобы разрыв произошел насильственно, – нет, он является прямым следствием того убеждения, к которому пришли два существа, совершенно чуждые друг другу. Одно из них боится светских толков, другое же трепещет от каждого гневного слова, нарушающего спокойствие семейной жизни; таким образом, разрыв совершается тихо, неслышно... Жадный до скандалов свет остается неудовлетворенным... В один прекрасный день баронесса Майнау бесследно исчезнет из замка Шенверт, где она, подобно тени, бродила короткое время, а равно и из памяти людей, которые сразу поняли ее шаткое положение и сочувственно относились к ней только потому, что предвидели ее скорый отъезд... А твоя Лиана? Ее не с корнем вырвали из родной почвы; после кратковременной отлучки она снова будет продолжать расти в родном Рюдисдорфе, согреваемая солнечным светом ваших глаз... Не так ли, Ульрика?.. Ты знаешь, мне всегда казалось жестокостью, срезав цветок, опустить его со свежей раной в холодную воду, а теперь это сострадание я чувствую еще живее, потому что по опыту знаю, как это больно. Некоторые отважные попытки и стремления оставляю увядшими в Шенверте: слишком слепая уверенность

в собственной нравственной силе и неблагоприятный вызов обществу, не имеющему ничего общего ни с моим вкусом, ни с моими воззрениями, — эта наука не может повредить мне... Видишь ли, тогда, как он говорил на террасе маме: „Любить ее я не могу, но буду настолько добросовестен, что не стану возбуждать любви и в ее сердце“, я должна была сойти вниз и спокойно вернуть ему полученное от него кольцо; конечно, не потому, что он отказывал мне в любви, — на нее я не имела права, да и сама я еще не питала к нему этого чувства, — но потому, что эти слова обличали безграничное тщеславие его души».

Яркая краска залила лицо Майнау; он закусил нижнюю губу и, прервав чтение, бросил, не поднимая головы, низко опущенной, сильно раздраженный, но вместе с тем и робкий взгляд на жену.

В ту минуту, когда он приглашал Юлиану поглядеться в зеркало, говоря о нечистой совести, она стояла спокойно, скрестив на груди руки; так стояла она и теперь, только ему казалось, что под его взглядом ее стройная фигура приняла еще более гордую осанку; из-под платья выставилась крошечная дивной формы ножка и твердо уперлась в пушистый ковер, но темные ресницы оста вались опущенными... Вовсе не желая того, она высказала мужу горькую правду: прямо в лицо она пристыдила его и сама покраснела от этой мысли.

Майнау подошел ближе к ней.

— Ты совершенно права в твоих суждениях, — сказал он, видимо сдерживаясь. — Я ведь не слеп и вполне сознаю эту преобладающую во мне слабость, и когда я теперь знаю, что ты со своим тонким слухом и строгою критикой слышала из моих уст такое нелепое мнение, вся кровь приливает мне к сердцу... Но и тебя, строгий судья, я могу упрекнуть. Положим, я был тщеславен, но ты вела себя как лицемерка, если с презрением в сердце и с замкнутыми устами последовала за мной.

— Прочти еще несколько строчек, — прервала она его с мольбой и не поднимая глаз.

Он опять отошел к окну: начинало смеркаться.

— «Я знала, что после этих слов никогда не подвергнусь искушению чувствовать к нему хоть искру симпатии, — читал он дальше о себе, — и если я все-таки пошла с ним к алтарю и во второй раз произнесла святое „да“, то сделалась соучастницей страшного святотатства, для которого нет оправдания, потому что я давно вышла из беззаботных лет юности...»

Теперь она бросилась к нему и хотела отнять у него письмо. Но он протянул левую руку, чтобы отстранить ее, и, почти прислонившись головой к стеклу, читал далее:

«Ульрика, Майнау очень красивый мужчина. Он щедро одарен гибким умом, которым он, со своею неподражаемою небрежностью, блистает в разговоре и который может увлечь женское сердце, но какую жалкою покажется его прекрасная салонная личность в сравнении с нашим кротким мыслителем Магнусом, строгому, деятельному уму которого несвойственна мысль: какой эффект произведешь ты?.. Видишь ли, в этом вопросе заключается разгадка всех сумасбродств, приписываемых Майнау, его дуэлей, любовных приключений, даже его ученых путешествий, в которых он, подобно сказочному принцу, внезапно, фантастически является то тут, то там, на лету схватывая все, особенно выдающееся, ослепляющее. Он сам лучше всех видит свои многочисленные слабости, но не откажется ни от одной из них, потому что все они не больше как оригинальные благородные шалости, которым потворствует легкомысленный свет... Но если бы он был посерьезнее, построже к самому себе и поменьше избалован женщинами, то он мог бы быть человеком совершенным, но...»

Тут письмо прерывалось.

— Это правда: ты не огорчена, Юлиана! — сказал он с ироническим и каким-то особенным хриплым смехом, положив письмо на стол. — Огорченная не может так объективно и беспристрастно разбирать все мое существо, как делают это с несчастной пойманной бабочкой, рассматривая ее в лупу... Имея такие понятия о моем характере, ты совершенно права, если желаешь во что бы то ни стало отделаться от меня. После того, что сегодня случилось, тебе и нетрудно будет это сделать: даже неумолимый Рим должен будет согласиться на развод, так как есть налицо уважительная причина: ведь я ударил тебя!

— Майнау! — вскрикнула она. Тон его слов пронзил ее душу. Не глядя на нее, он ушел в

зал; там, пройдясь несколько раз взад и вперед, он остановился у стеклянной двери и устремил взгляд на силуэты деревьев, окутанные вечерними сумерками... Как посмеялся бы друг Рюдигер, если бы мог теперь заглянуть в покои молодой женщины!.. Она стояла среди белых азалий в голубом будуаре, окруженная волнами золотистых волос, блеск которых не уступал блеску воспетых волос немецкой Лорелеи, этих ненавистных, расплетенных, рыжих кос, которые он мог допустить у жены, но отнюдь не у возлюбленной; ее осмеянные бледно-голубые глаза *à la Lavalliere* смотрели с выражением железной решимости. А Майнау? Как еще недавно он пророчески называл будущие ее письма «педантическими упражнениями в слоге серьезной институтки с хозяйственными отчетами в виде упрека»; теперь он прочел ее письмо, и волнение, очевидно скрывавшееся под мрачным, нахмуренным видом, его бессознательная нервная игра пальцами по стеклу говорили о том, что душевное спокойствие, при котором была немыслима «бессонная ночь», его покинуло.

Глава 17

После того как Лиана вскрикнула: «Майнау!», на ее половине воцарилась тишина: только в клетках в соседнем приемном зале еще щебетали маленькие птички, выбирая себе на жердочках поуютней местечко, где бы они могли, спрятав свои головки под крылышки, спокойно провести ночь, да по мозаичному полу длинной колоннады по временам раздавались шаги лакеев; но из голубого будуара не доносилось ни малейшего шороха. Неужели молодая женщина вышла из комнаты? Майнау почувствовал почти страх при мысли о таком оскорблении. Он ожидал, что она последует за ним, потому что его голос – что, впрочем, его самого удивило – взволновал ее, как волновал всех прочих женщин. Не полагал ли он, что и эта неуязвимая, сильная душа имела, как и другие слабые женские натуры, чувствительную струну, которая сочувственно отзывается на потрясающие звуки мужского голоса и, наконец, дает ему возможность торжествовать?..

Быстро, но неслышно ступая по устланному ковром полу, приблизился он к портьеру.

Лиана не уходила. Она все еще стояла у окна, опершись левой рукой о подоконник и погрузясь в самое себя; несмотря на сгустившиеся сумерки, он видел ее милый профиль и красивый полуоткрытый рот. Услышав шорох, она медленно повернула головку, и большие глубокие глаза ее смотрели на него серьезно и спокойно. В ней не видно было следов борьбы, она давно уже оправилась.

– Тяжело мне будет, когда придется перевести Лео в его старую спальню, – заметил он, отвечая на ее взгляд холодным, пристальным взглядом.

Тяжелый вздох вырвался из груди молодой женщины, и глаза ее наполнились слезами.

– Тебя это недолго будет тревожить, ведь ты скоро уезжаешь, – произнесла она тихо, не поднимая глаз.

– Конечно, я уезжаю и бешенее, чем когда-нибудь, брошусь в водоворот жизни; кому же судить меня за это? За собою оставляю я вечный лед гордой добродетели, холодного, наблюдательного ума, а передо мною жизнь со всем разнообразием наслаждений. Там меня лелеют, как сказочного принца, а здесь подвергают неумолимому критическому разбору до мельчайших подробностей.

Он направился к выходной двери.

– Ты ничего не имеешь сказать мне, Юлиана? – спросил он, глядя на нее через плечо.

Она отрицательно покачала головой, но прижала руку к сердцу, как будто подавляя какое-то непреодолимое желание.

– Мы сегодня в последний раз одни, – добавил он, пристально следя за ее движением. Быстро приняв решение, она подошла к нему.

– Я высказала тебе много неприятного, против моего желания; мне это больно, но я еще не кончила... ты сам вызвал меня; можешь ли ты еще выслушать?

Он ответил утвердительно, но остался неподвижно стоять у двери, положив руку на ручку.

– Я не раз слышала от тебя, что в следующем полугодии ты не предвидишь никакой деятельности в отечестве... Майнау, неужели отец, какое бы ни занимал он положение в обществе, имеет право отказываться от своих обязанностей по воспитанию своего ребенка?.. Дальше: в каких руках оставляешь ты своего единственного сына?.. Ты сам относишься с неуважением к строгим, неисполнимым догматам, проповедуемым твоей церковью, и знаешь, что они до суеверия ревностно исполняются и придворным священником, и твоим дядей, а между тем беззаботно предоставляешь им руководить молодым умом твоего сына; даже еще хуже: ты молчишь против своих убеждений!..

– А, это наказание за то, что я не поддержал тебя во время неутешительных прений о существовании дьявола! Да кому же придет охота спорить о таких нелепостях, которые уничтожатся сами собою? Лео даже и по духу мой сын; он освободится от излишнего балласта, как только станет мыслить самостоятельно.

– Так спокойно думают многие, которые должны были бы действовать, и только этим объясняется, что в нашем столетии терпима безумная отважность человеческого рассудка, которую проповедует старик в Риме... Действительно ли уверен ты, что Лео перенесет внутренний переворот так же легко, как ты? Я знаю, что первые сомнения в вере оставляют глубокие раны в душе; к чему же добровольно вызывать их и, может быть, потрясать религиозное чувство?.. Как бы мы ни охраняли, ни изучали детскую душу, она все остается тайною для самой себя и для нас; мы не можем заранее знать, каковы будут лепестки в не распутившейся еще чашечке цветка, это я узнала по опыту, какой я приобрела с тех пор, как живу здесь с Лео и постоянно наблюдаю за ним. Убедительно прошу тебя, не оставляй Лео в руках священника!

Он молчал, но руки его невольно оставили дверную ручку.

– Хорошо, – сказал он после некоторого раздумья, – я согласен исполнить эту просьбу, как твою последнюю волю перед отъездом... Довольна ты?

– Благодарю тебя! – воскликнула она искренно, протягивая ему левую руку.

– Нет, что мне в этом рукопожатии! Мы ведь перестали быть добрыми товарищами, – сказал он, отвернувшись. – Впрочем, – и тут Майнау насмешливо улыбнулся, – ты не слишком-то благодарна. Твой очень хороший друг, придворный священник, с неограниченным самоотвержением, где только может, вступается за тебя, а ты против него интригуешь!

– Он лучше всех знает, что я не желаю его рыцарских услуг, – возразила она спокойно. – В первый вечер моего приезда сюда он пробовал приблизиться ко мне, но такими хитрыми путями ему вряд ли удастся обратить меня.

– Обратить! – громко смеясь, воскликнул Майнау. – Посмотри на меня, Юлиана! – Он схватил ее левую руку и крепко сжал. – Ты в самом деле так думаешь? Он хотел обратить тебя? Обратить в католичество? Ну, говори же, я хочу знать правду! Неужели этот удивительный служитель церкви злоупотребляет своим знаменитым проповедническим голосом? Признайся, Юлиана, неужели он дерзнул хоть одним своим дыханием коснуться тебя?..

– Что с тобой? – гневно спросила она, гордым движением освобождая свою руку. – Я не понимаю тебя. Мне и в голову не приходит утаивать от тебя что-либо, что говорилось в твоём доме, и если это интересует тебя, то я отвечу тебе: он мне сказал, что Шенверт – раскаленная почва для женских ног, откуда бы они ни происходили, из Индии или из немецкого графского дома, и в то же время пытался приготовить меня к неизбежным тяжким минутам, ожидающим меня в этом замке.

– Отлично задумано! Нельзя не сознаться, что этот человек обладает недюжинным умом. Он с первого взгляда видит то, что слабые глаза замечают только тогда, когда оно для них уже утрачено!.. Да, видишь ли, Юлиана, Валерия была отличной духовной дочерью, и он вполне прав, желая, чтобы и новая хозяйка Шенверта пошла по старой колее ради религиозного мира в семейном кругу, – ведь так это, не правда ли?

– Думаю или, лучше сказать, ни минуты не сомневаюсь в этом, – сказала она и посмотрела на него своими выразительными глазами. – Оттого, как я уже говорила тебе, я так решительно протестую против всякого его вмешательства.

– Твоя воля тверда как сталь, и, конечно, такою и останется... Юлиана, я желал бы не заглядывать так глубоко в омут общественной жизни тогда, – он нагнулся к ее лицу, – и присягнул бы на этом письме, как на Евангелии, но... – Майнау горько засмеялся. – Да, да, конечно, эта головка с роскошными волнами золотых волос отлично пристала бы к лику ангелов католической церкви; проповедник прав, и я от души верю ему; к тому же ведь ты еще не знаешь, Юлиана, как сладко быть причисленной к ангельскому лику! Но я сам буду энергически противодействовать этому обращению.

– К чему все это? – прервала его молодая женщина. – Ты ведь уезжаешь, а я...

– Да, мне кажется, ты уже довольно часто повторяешь это! – воскликнул он гневно и топнул ногой. – Ты, конечно, допускаешь, что мне одному принадлежит право определить – ехать ли мне и когда.

Она промолчала. В какие противоречия вдавался этот человек, благодаря своему необузданному темпераменту! Не сам ли он до сегодняшнего дня постоянно говорил о предстоящем отъезде, как бы предвкушая величайшее наслаждение.

– Сознайся же, Юлиана, при этих предостережениях о тягостных минутах этот любезно-болтливый набожный отец не пощадил, конечно, и моей частной жизни, – проговорил он с напускным равнодушием и, сняв с пьедестала статуэтку из слоновой кости, принялся внимательно рассматривать ее.

– Для этого нужно предположить, что я спокойно слушала его, – ответила она, глубоко оскорбленная. – Надеюсь, что ты признаешь за мной настолько чувство долга, чтобы не дозволить судить тебя в моем присутствии, даже если бы эти суждения согласовались с моим собственным мнением. Тот должен глубоко презирать жену, кто осмеливается сообщать ей что-нибудь невыгодное о ее муже.

– Если умершим душам доступно чувство стыда, то я желал бы видеть теперь Валерию! – воскликнул он, поставив на пьедестал фигурку Ариадны из слоновой кости. – Значит, твое невыгодное мнение обо мне основывается исключительно на твоих собственных наблюдениях.

Она молча отвернулась.

– Как? Значит, и другие говорили тебе обо мне?... Дядя, что ли?..

Как неудачно разыгрывал он теперь роль равнодушного!

– Да, Майнау. Он недавно жаловался священнику, что твои вечные путешествия беспокоят его относительно Лео. Ты гуляешь по свету, чтобы избежать скуки, а между тем у тебя дома слишком много дела и не на один год. Твое состояние – настоящие золотые россыпи, но оно находится в неверных руках, которые так же беспощадно расточают его, как и ты сам. Беспорядки по управлению превосходят всякое описание, и он приходит в ужас, когда ему хоть мельком приходится заглянуть туда.

Майнау побледнел, повернулся к ней спиной и стал смотреть в окно. Она говорила с видимым смущением; очевидно, это были такие обстоятельства, в которые она не должна была вмешиваться, а тем более теперь, когда была уже почти разведенной женой. Но она говорила за будущее Лео, и в эти последние минуты, которые она проводила с ним наедине, она хотела сделать для пользы Лео все, что было в ее власти.

– Но ведь ты знаешь дядю и его смертельный страх, что состояние Майнау уменьшится; его жадность к увеличению богатства становится положительно невыносимой: старик впадает в ужасные крайности, – говорил он, не поворачивая к ней головы. – Я говорю тебе, что через несколько недель все будет приведено в надлежащий порядок и все опять пойдет как по-писаному, и что же потом?... Не должен ли я сам, ради развлечения, взяться за плуг или, может быть, не имея ни малейшего призвания к музыке, сделаться директором придворного театра? Или не должен ли я домогаться какого-нибудь вакантного министерского поста? В Берлине и Бонне я немного занимался юриспруденцией, а еще прежде сделал два похода, да ко всему этому мое старинное дворянство – чего же еще? – Он содрогнулся. – Нет, никогда!.. Ну, посоветуй же мне, мудрый сфинкс, как мне проводить время в Шенверте, когда и вторая жена покинет меня?

– Тебе никогда не приходила охота писать? Он быстро повернулся и молча взглянул на

нее.

– Не хочешь ли ты зачислить меня в сочинители? – спросил он с недоверчивой улыбкой.

– Если ты разделяешь мнение моей матери и гофмаршала, то, конечно, ты не должен понимать меня так, будто я советую тебе печатать твои сочинения, – сказала она веселым тоном. – Ты рассказываешь увлекательно и красноречиво – я уверена, что у тебя прекрасный слог, а пишешь ты, верно, еще лучше, чем говоришь.

Странно! Этот человек, пресыщенный похвалами и избалованный вниманием женщин, опустил глаза и застенчиво покраснел, как девушка, услышав такую похвалу из уст этой серьезной молодой женщины.

– По вечерам, за чаем, мне не раз хотелось записывать за тобой, – добавила она.

– А! Значит, строгая критика незримо и неслышно сидела возле меня в то время, когда я порывался спросить, сколько может быть стежков в лепестке цветка этого нескончаемого ковра?.. Юлиана, с твоей стороны было нечестно заставлять меня играть такую глупую роль... Нет, молчи! – воскликнул он, когда она, гордо подняв голову, раскрыла рот для ответа. – Наказание было вполне заслужено!.. Я должен признаться тебе, – сказал он колеблясь, – что у меня не раз являлось желание описать, например, мои путевые впечатления, но первый робкий опыт мой в форме письма, который я прислал из Лондона на родину, потерпел такое блистательное фиаско, что я навсегда бросил перо. Дядя не шутя рассердился на меня за мою бесконечную болтовню, за эти бестактные и нескромные сообщения относительно различных дворов, при которых меня так «незаслуженно милостиво» принимали, и серьезно запретил мне продолжение описаний моих путевых впечатлений, потому что такое письмо легко могло попасть не в те руки, в какие было назначено, и скомпрометировать его и меня самого, а вернувшись, я нашел у Валерии один из ее флаконов заткнутым вместо пробки отрывком скучного послания, – как она, смеясь, уверяла меня.

В эту минуту вбежал Лео. Он уставил на отца свои большие удивленные глаза, недоумевая, как отец попал сюда, когда прежде он никогда не входил на эту половину.

– Папа, что ты делаешь в голубой комнате? – спросил он с изумлением и некоторою ревностью, так как до сих пор он один только бывал в комнатах мамы.

Майнау покраснел и, взяв мальчика за плечи, тихонько повернул его к молодой женщине.

– Поди, мой милый, обними хорошенько маму, – я не смею подойти к ней ни на одну линию ближе того, как она назначила, – и попроси ее быть немного потерпеливее с тобою... и со мной, пока мы не расстанемся.

– Ах, папа, да ведь я с ней поеду! – воскликнул мальчик и обнял обеими руками за талию молодую женщину. – Мама, укладывая меня вечером спать, не раз обещала мне взять меня с собой к дяде Магнусу и тете Ульрике, когда она поедет в Рюдисдорф.

– Что?! Почему ты знаешь, что мама уже едет в Рюдисдорф? – спросил удивленный Майнау.

– Придворный священник и мама наследного принца говорили об этом у охотничьего домика; хотя они говорили очень тихо, но мы все-таки слышали – наследный принц и я... Не правда ли, мама, ты возьмешь меня с собою?

– Ты должен хорошенько попросить папу, чтобы он позволил тебе изредка навещать меня, ответила она твердым голосом, но не поднимая глаз, и погладила кудрявую головку ребенка.

– Там видно будет! – сурово проговорил Майнау. – Вот видишь, Юлиана, твое милое намерение, так любезно сообщенное сегодня после обеда, кажется, произвело действие электрической искры; завтра все воробьи станут чирикать на крышах нашей благословенной столицы о том, что у святейшего отца в Риме по горло хлопот, чтобы, обойдя неумолимый закон, разлучить двух людей, которые не могут вместе ужиться... Но, во всяком случае, ты не думаешь уехать раньше моего отъезда?

– Вполне подчиняюсь в этом случае твоим распоряжениям. Если хочешь, то я уеду из Шенверта через день после тебя.

Он слегка кивнул головой и, быстро подойдя к столу, сложил письмо к Ульрике и положил его в боковой карман.

– Я имею еще право конфисковать – это письмо принадлежит мне!

Он иронически низко поклонился удивленной молодой женщине, как будто был на аудиенции у королевы, и торжественно вышел из комнаты. Лео же вдруг разразился громкими рыданиями; ребенок предчувствовал, что должен лишиться своего ангела-хранителя.

Глава 18

В кухне, этом сборном пункте шенвертское прислуги, известие, что баронесса поедет «гостить» в Рюдисдорф на время отсутствия молодого барона, не произвело особенно сильного впечатления. Лакеи уверяли, что они еще тогда пророчили этот отъезд, когда молодой барон, выходя из экипажа, не знал, как предложить руку невесте, так что ей наконец пришлось выйти одной. Горничная, снимавшая в это время с огня утюг, равнодушно заметила, что, она этому очень рада, потому что ей противно служить госпоже, которую муж не почитает и которая только и носит что «кисейные тряпки»; а кухарка с огненно-красными косами глубоко вздохнула, вытирая тарелки, и со своей стороны заметила, что барон – заклятый враг «блондинок», и дамы на портретах, которые висят в его комнате, все с темно-русыми или с черными волосами, точно так же как и первая его жена; но при выборе себе второй жены он, должно быть, «недоглядел»...

В комнатах верхнего этажа наступил светлый праздник: костыль гофмаршала не стучал о паркет; Лео получил целую конюшню великолепно взнузданных лошадей, камердинер – еще не очень подержанный фрак, притом обычные выражения «дурак» и «болван» заменились, хотя, быть может, на время, словами «любезный друг», «старинушка» – и все это потому, что баронесса действительно «сломила себе шею».

Гофмаршал не говорил еще с племянником об этом явлении, да и не было в том нужды.

Майнау привез в дом небогатую жену-протестантку, вопреки всем доводам и настоятельным просьбам дяди, и все предсказанные последствия такого необдуманного поступка не замедлили свершиться, но он, по своему баснословному счастью, ловко вывернулся и из этого обстоятельства... Все обошлось так тихо и прилично. Молодая женщина по-прежнему играла роль хозяйки: разливала по вечерам чай, занималась с Лео, как будто бы ничего не случилось; только она со страхом избегала оставаться наедине с гофмаршалом. Тот это заметил и однажды дьявольски расхохотался ей в лицо, когда она, подавая ему чай, нечаянно коснулась его руки и отскочила как ужаленная – да и не удивительно: не был ли он зловещим пророком, не предсказал ли он ей в нескольких резких словах того момента, когда пребывание ее в Шенверте «сделается совершенно невозможным».

Отъезд молодого барона был на время отложен, потому что, как-то заехав в одно из своих имений в Волькерсгаузен, он заглянул в отчетные книги и нашел в них страшный беспорядок. Нельзя же было оставить это без внимания, предпринимая такое продолжительное путешествие, сказал он гофмаршалу, который при этом неожиданном и энергическом вмешательстве в дело чуть-чуть не упал от удивления со стула... Новые чемоданы из юфти были пока отнесены на чердак проветриться, – так сильно пахло от них кожей; точно так же и блестящий прощальный обед, который Майнау намеревался дать членам клуба в одном из первых отелей столицы, был тоже отложен на время... Впрочем, все это делалось потому, чтобы разом положить конец всем столичным толкам, чему способствовала своей обычной благосклонностью и сама герцогиня: ей лучше всех было известно положение дел, а потому она могла без опасений высказать желание видеть молодую женщину при дворе ранее отъезда ее в Рюдис-дорф. Лиана не противилась, – это ведь было в первый и последний раз.

Итак, «рыжая Трахенберг в своем неизбежном голубом шелковом платье», как саркастически заметила фрейлина, появилась на полчаса при дворе, чтобы по крайней мере унести «одно блестящее воспоминание в рюдисдорфское уединение».

Ящик с аметистом и высушенными растениями остался неотправленным, – ведь Лиана сама собиралась домой; кроме того, она лишилась и картинки, выручка за которую должна была увеличить сумму для поездки графини Трахенберг на морские купанья; Майнау тоже

конфисковал ее, «не желая ни в каком случае предавать гласности невыгодных для дома Майнау обстоятельств». Часто отлучавшийся и занятый введением новых порядков в своих имениях, Майнау все же находил возможность появляться вечером за чаем и всегда заводил беседы в прежнем тоне. Разговаривая с дядей и священником, он будто не замечал, что последний почти не выезжал из Шенверта, – герцогиня уволила его на несколько недель, чтобы дать ему возможность укрепить свои расстроенные нервы шенвертским деревенским воздухом; только когда он предложил давать Лео уроки не в салоне гофмаршала, нервы которого страдали от монотонного рассказа ребенка, а внизу, в детской, лицо Майнау дрогнуло, и он глухим голосом, как будто спазмы сдавили ему горло, заметил святому отцу, что подобным требованием нельзя было тревожить его супругу-протестантку.

Как-то раз в Волькерсгаузене вдруг потребовалось немедленное присутствие молодого барона, да еще на несколько дней. Он уезжал после обеда.

Наверху у окна стояли дядя и священник; оба смотрели, как он садился на лошадь. Лиана, шедшая с Лео в это время в сад, остановилась, чтобы ребенок мог проститься с отцом. Он с лошади протянул Лео руку, а жене – нет. Его лицо, на которое пристально смотрели две пары глаз, оставалось совершенно спокойным; лаская шею лошади, он нагнулся, и Лиана встретила его мрачный, угрожающий взгляд.

– Надеюсь найти тебя твердою протестанткой по моем возвращении, Юлиана, – сказал он глухим голосом.

Она с сердцем отвернулась, а он, послав им поклон, ускакал.

Ежедневно утром приезжал из Волькерсгаузена верховой с запиской от Майнау, где тот преимущественно справлялся о здоровье Лео.

Гофмаршал много смеялся над этой новой фантазией капризного чудака, который прежде по целым месяцам не вспоминал ни о жене, ни о ребенке, а теперь вдруг разыгрывает сентиментальную роль глупой родительской нежности. Он всегда собственноручно отвечал, предварительно осведомившись о мальчике, не обращаясь специально ни к кому.

В одно утро посланец, передав по назначению официальную записку в бельэтаже, явился вниз к молодой женщине и передал ей запечатанное письмо. Вскрывши конверт, она нашла множество исписанных листов и визитную карточку, на которой Майнау объяснил, что эти листки были началом рукописи, которою он занимается поздними вечерами для отдохновения от дневных трудов, и посылает это начало на ее рассмотрение.

Со смешанным чувством радостного изумления и робкого смущения подержала она с минуту в нерешимости присланные ей листки. Эти новые, ею самой вызванные отношения к человеку, которого она скоро собиралась навсегда покинуть, озадачили ее. Но потом она села за стол и написала несколько строк, где между прочим сообщила, что теперь она постоянно проводит с Лео послеобеденное время в доме лесничего и там, в лесной тишине, будет читать его рукописи.

Хотя она сама сказала ему, что у него должен быть писательский талант, но, когда она углубилась в эти «письма к Юлиане из Норвегии», у нее захватило дыхание от изумления. Эти живые изложения лились, казалось, из-под пера неудержимым потоком. Разнообразные картины могучей северной природы как бы действием волшебства олицетворялись в ее воображении во всем своем диком величии. Молодая женщина забыла, кто писал эти строки: капризный светский лев с вечною насмешкой на устах и притворною небрежностью во всех своих движениях совершенно исчезал, уступая место одинокому человеку, серьезно смотревшему на суету жизни. Вся ветошь придворных этикетов была сброшена со смелого охотника, который с лихорадочным волнением в крови то неутомимо преследует медведей в дремучих лесах, то бороздит бесконечные снеговые пустыни, чтобы потом по целым неделям отдыхать в разбросанных по горам хижинах, увлеченный близкой его старогерманской природе дикою простотою горцев, чистотою их нравов, целомудрием их женщин. Читая эти меткие характеристические очерки, Лиана устыдилась высказанного в письме к Ульрике строгого упрека, что он, путешествуя, поверхностно схватывает все блестящее и особенно выдающееся.

Сидя перед лесным домиком, который Лиана будто теперь только открыла, читала она

вчера путевые записки Майнау; сегодня они опять были в ее руках... Дом лесничего не походил на кокетливые швейцарские домики современного характера, которые часто красуются на опушке леса. Это было старинное здание с кривыми стенами и покосившимися окнами, с белыми филейными занавесками, которые, точно сознавая, что не место им здесь висеть, застенчиво выглядывали только узенькой полоской. Старый ветеран не потерял ни одного карниза, да и хорошо сохранившаяся соломенная крыша круто поднималась вверх и была снабжена такой колоссальной дымовой трубой, что невольно являлось подозрение – не готовилось ли тут ежедневно продовольствие на целый полк солдат? Широкая дорожка прорезывала небольшой цветник, окаймленный низким заборчиком, и вела к входной двери, гостеприимно отворенной, откуда виднелся усыпанный песком пол сеней. В одном из углов цветника, под тенью раскидистой груши, стояла деревянная скамейка, кругом ее в изобилии вился хмель, простирая ветки на ее спинку и обвиваясь вокруг ствола груши.

Тут-то и сидела молодая женщина перед столом, покрытым пестрою скатертью. Конечно, тут странно было бы искать живописных видов, так как домик стоял в самой чаще; разве только из слухового окна или с голубятни можно было видеть возвышавшиеся вдали крыши Шенвертского замка. В маленьком цветнике росли вербены и георгины, а у двери стояло даже прекрасное олеандровое дерево в кадочке, но шагах в десяти от дома уже пестрели среди лесной чащи синие колокольчики, крупные белые ландыши и мелькало бесчисленное множество грибов...

Здесь молодая женщина, предоставленная самой себе, отдыхала душой. Никто не беспокоил ее. Лесничиха держала себя на почтительном расстоянии и больше хлопотала по хозяйству; ее муж со своими помощниками и с собаками находился большею частью в отлучке, так что в этом домике под соломенной крышей и вокруг него царствовало полное безмолвие, только изредка нарушаемое полетом голубей и мычаньем коров в стойле.

Благодаря простоте ее светлого летнего платья, Лиану легко можно было принять за дочь лесничего: такой милой и девственно чистой казалась она, сидя под тенью развесистого дерева. Круглая соломенная шляпка ее лежала около нее на скамейке, на другом конце которой бесцеремонно растянулась большая пестрая кошка лесничего; на столе блеснул медный кофейник; тут же лежал круглый ситный хлеб, стояла тарелочка с маслом и жестяная лакированная корзинка, наполненная только что сбитыми с дерева желтыми грушами.

Но в эту минуту об аппетитной закуске никто не думал. Лео принес запоздалый цветок земляники и с помощью мамы приготавливал его для гербария. Голова матери с блестящими золотистыми косами низко наклонилась к темной курчавой головке малютки, на щеках обоих играл румянец молодости, а сердца их бились сильнее от лесного приволья.

– Папа! – закричал вдруг Лео и с распростертыми объятиями побежал ему навстречу.

Майнау, в темной летней паре, с тростью в руке действительно шел быстрыми шагами по узкой извилистой тропинке из чащи леса. Лиана встала и пошла ему навстречу в то время, как он, подняв Лео высоко вверх, с поцелуем опустил его на землю.

– Из глубины леса, Майнау?... И пешком? – спросила она с удивлением.

– Меня утомил стук колес по шоссе – я ехал в экипаже и оставил его у шоссеиного дома.

– Но оттуда до домика лесничего будет добрый час ходьбы...

Он, улыбаясь, пожал плечами.

– Чего не сделаешь, когда так долго не видишься со своим мальчиком!.. Из твоего письма я знал, что в эту пору я найду Шенверт пустым! – Проговорив это, Майнау подошел к столу. – Как это все заманчиво красуется! – сказал он и опустился на скамью, осторожно отодвинув немного кошку: она ведь была тут у себя дома.

Лиана на минуту скрылась в доме лесничего и тотчас же возвратилась с кипятком. В миг запыхавшись под кофейником огонь, за клубился пар, и ароматный запах кофе смешался с пряным запахом леса... Лиана нарезала хлеба, намазала ломти маслом и все это делала так весело и ловко, как будто была в самом деле дочерью лесника за своей обычной повседневной деятельностью.

– Нет, мой милый мальчик, это место принадлежит маме, – сказал Майнау, отстранив

почти с сердцем Лео, хотевшего влезть на скамью, и пригласил знаком Лиану, наливавшую в это время чашку кофе, сесть возле себя.

Она колебалась. Он ведь мог бы прогнать кошку, так как на том конце скамейки оставалось много места, но он этого не сделал.

В эту минуту явилась лесничиха с соломенным стулом и тем положила конец ее неловкому положению. Она посадила на скамейку Лео, а сама, вздохнув свободнее, села на стул... Майнау бросил шляпу на траву и провел обеими руками по своим великолепным темным курчавым волосам; в мрачной улыбке, которою он приветствовал услужливую лесничиху, не было и тени благодарности.

– Теперь я видела собственными глазами, что это за несчастное супружество, – сказала лесничиха своей старой служанке, войдя в комнату, – Погляди-ка туда! Им даже и сесть-то рядом не хочется. А уж что за лицо у него было, когда милая, добрая баронесса подала ему своими прелестными руками чашку кофе, как будто она угощала его уксусом!.. Ему бы надо такую жену, как покойная баронесса, – вот та была ему пара... Да, поди угоди на нынешних мужчин!

Тень неудовольствия уже сошла с лица Майнау. Он прислонился к стенке скамейки так, что ветки хмеля, спускаясь над его головой, освежали ему лоб; глаза его медленно переходили с шелестевших вершин деревьев на видневшийся сбоку угол их дома и наконец остановились на накрытом столике с приготовленным кофе.

– Мы, кажется, разыгрываем роль из «Векфильдского священника», – сказал он, улыбаясь. – До сих пор я, право, не знал, что у нас есть такой поэтический уголок. Лесничий усердно хлопочет о том, чтобы снять соломенную крышу, но я оставляю ее. – Он с видимым наслаждением поднес чашку к губам. – Найти такой «столик-накройся» среди чащи леса после езды по пыльному шоссе и после часовой ходьбы...

– Я знаю, как это приятно, – перебила его с увлечением молодая женщина. – Когда я, бывало, с Магнусом возвращалась домой после сбора растений, усталая, голодная, с горячими руками и ногами, и сворачивала около фонтана в длинную аллею, которую ты знаешь, то я еще издали видела за стеклянною стеной накрытый стол в за ле, вокруг него стояли милые старые стулья, тоже тебе известные, и в ту минуту, как Ульрика замечала нас, под кофейником вспыхивал синий огонек. Такое возвращение усладительно, особенно когда, бывало, видишь приближающуюся грозу и бегом стремишься домой, а дождевые капли уже падают тебе на лицо, и вот, добравшись домой, защищенная от непогоды, слышишь, как воеет буря и потоки дождя льются на землю.

– И к такому-то возвращению ты и стремишься с тех пор, как живешь в Шенверте?

Ее глаза вспыхнули, сложенные руки невольно прижались к сердцу, и радостное «да» чуть не сорвалось с языка, но она овладела собою и не выговорила его.

– Мама всегда говорит, что последние Трахенберги вымирают, вырождаются, – сказала она с пленительной улыбкой, уклоняясь от прямого ответа. – Склонность жить тихой, мирной домашней жизнью в тесном кругу, стараться по мере сил доставлять счастье милым сердцу и в этом находить свое собственное благополучие – вот истинное наслаждение. Пусть оно будет доморощенным, как называет его мама, и которое лет десять назад не существовало в Рюдисдорфском замке, но оно одно сделало нас, сестер и брата, твердыми и дало нам силы мужественно перенести ужасную перемену в жизни, чуть не погубившую маму... Впрочем, мы не похожи на тех домоседов, которые делаются эгоистами, совершенно отказываются от общества прочих людей, ограничиваясь тесным кружком своих родных. У нас, напротив, самый беспокойный характер: нам хочется мыслить, совершенствоваться... Ты будешь смеяться, если я тебе скажу, что мы пили кофе без сахара и ели хлеб без масла, чтобы на скопленные деньги приобрести лучшие книги и инструменты для ученых целей и выписывать разные газеты... Такая жизнь и деятельность доставляет наслаждение, и теперь, прочитавши «Письма из Норвегии», я не понимаю... Ах, они великолепны, они потрясают душу! – прервала она себя вдруг и положила руку на лежавшие на столе листки... Если бы ты согласился напечатать их!..

– Тес! Ни слова больше, Юлиана! – воскликнул Майнау, и мертвенная бледность сменила

румянец, вспыхнувший в его лице при первых восторженных словах жены. – Не вызывай снова уснувших мрачных духов, которых ты раз растревожила обоюдоострым оружием! – Он прижал сжатую руку к боковому карману. – Письмо твое было со мною в Волькерсгаузене; оно так хорошо написано, Юлиана, что действительно могло бы служить соборным посланием против мужского тщеславия... У тебя светлый философский ум; я во многом признаю твою правоту, хотя, например, и не верю, что нужно непременно обеднеть для того, чтобы убедиться, что самое высокое счастье заключается в искренней, душевной совместной жизни.

Он взял со стола свою рукопись и стал рассеянно перелистывать ее; вдруг из нее посыпались маленькие листочки; он с удивлением подхватил их.

– Да, представь себе! – с улыбкой сказала молодая женщина. – Твои живые письма наэлектризовали меня так, что я невольно взялась за карандаш и начала иллюстрировать их.

– У тебя счастливая рука, Юлиана, – это превосходно сделано! Странно, что твои рисунки так точны и с такими мельчайшими подробностями переносят на бумагу мои описания, как будто не я, а ты их составляла. Именно эта ужасная и бесстрастная объективность и дает тебе такое превосходство надо мною... – Он говорил желчно, с резким оттенком в голосе. – А что, Юлиана, если бы мы с тобой составили ассоциацию, то есть я буду писать, а ты иллюстрировать? – сказал он небрежно.

– Охотно; присылай мне твои путевые очерки сколько хочешь...

– Разведенной жене?

Она невольно вздрогнула. Она тоже могла бы ему сказать: «Наши отношения в Шенверте ненормальны. Мы должны делить радость и горе, а вместо того идем врозь, каждый своей дорогой; ты должен бы быть моим защитником, а между тем позволяешь ежечасно оскорблять меня и ни одним пальцем не двинешь, чтобы заступиться за меня. Эти отношения ненормальны, я сбрасываю их с себя и во многом ставлю себя выше того, что свет называет неприличным». Но из всего, что промелькнуло в ее мыслях, она сказала только следующее:

– Мне кажется, что писатель и художник, иллюстрирующий его произведения, смело могут позволить себе письменные отношения. Никто не может осуждать нас за то, что мы расстаемся не смертельными врагами, но сохраняем некоторые дружеские отношения.

– Как могла ты решиться предложить мне это? Я не хочу твоей дружбы! – воскликнул он запальчиво и вскочил с места. – Конечно, я низко упал с высоты, на которую я сам себя возвел, но все же я из числа тех людей, которые скорее умрут с голоду, чем попросят милостыню.

Вероятно, лесничиха заметила эту сцену в свое полуоткрытое окно и испугалась серьезной супружеской размолвки. Она тихонько позвала Лео, чтобы показать ему на дворе жеребенка, – ей стало жаль мальчика.

Майнау несколько раз прошелся по цветнику, посмотрел на желтые ноготки, окаймлявшие грядку капусты, и медленно возвратился к столу, у которого молодая женщина дрожащими руками собирала разлетевшиеся листочки.

– В Шенверте в мое отсутствие ничего особенного не случилось? – спросил он с принужденным спокойствием, тихо барабанил по столу пальцами.

– Ничего, все по-старому, кроме того, разве, что Габриель сильно тоскует и плачет, что он скоро должен уехать отсюда, а Лен кажется очень огорченной и расстроенной.

– Лен? Что до этого Лен? И как тебе могла прийти в голову мысль, что эту женщину может что-нибудь на свете расстроить? Какими особенными глазами ты смотришь на все в Шенверте!.. Лен расстроена, она – это бессердечное, грубое, нечувствительное существо, без малейшего признака нервов! Да она, верно, благодарит Бога, что наконец может отвязаться от этого мальчишки!

– Я думаю совершенно иначе.

– А! Уж не открыла ли ты в ней чувствительную душу, как недавно открыла в этом апатичном, вялом мальчишке смелый гений Микеланджело?

Эта холодная насмешка, это намерение рассердить и обидеть ее огорчило Лиану, но она не хотела больше с ним ссориться.

– Я не помню, чтобы я сравнивала Габриеля с каким-нибудь знаменитым художником, –

воз разила она, смерив его серьезным взглядом. – Я сказала только, что в нем заглушают замечательный талант к живописи, – это я и теперь повторяю.

– Да кто же его заглушает? Если талант его так замечателен, как ты уверяешь, то в монастыре-то и представляется всего больше возможности к его развитию... Между монахами есть очень много высокодаровитых художников... Впрочем, что нам из-за пустяков спорить! Ни я, ни дядя не предназначали мальчика к духовному званию: мы только исполняем волю покойного.

– Действительно ли ты читал его последнюю волю и тщательно ли ты ее исследовал?

Он встрепенулся, огненные глаза его впились в ее глаза.

– Юлиана, берегись! – проговорил он глухим голосом, с угрозой подняв указательный палец. – Мне кажется, тебе хотелось бы еще заклеить подозрением дом, который ты покидаешь. Тебе хотелось бы сказать: «Я допускаю, что секвестр наложил неизгладимое пятно на род Трахенбергов, но там, в Шенверте, тоже водятся грехи: огромное богатство баронов имеет странный, сомнительный источник». На такое подозрение я ответил бы тебе: дядя скуп, он в высшей степени одержим бесом гордости и высокомерия; он имеет свои маленькие слабости, с которыми приходится иметь столкновения, но с его обдуманностью и холодной натурой он никогда не мог быть игрушкой дурных страстей и во всю свою жизнь неуклонно следовал основным правилам истинного дворянина, – в этом я слепо и безусловно ему верю, и я счел бы за личное оскорбление, если кто, хотя бы шутя, намекнул на такое щекотливое обстоятельство, как, например, подложное завещание или тому подобное... Заметь это, Юлиана! А теперь, я полагаю, пора домой: вершины деревьев что-то подозрительно зашелестели; хотя мы и в первых числах сентября, но в воздухе так душно, что можно ждать грозы... Наше возвращение будет далеко не такое радостное, как ты недавно описывала, но что же делать! Не нужно обращать на это внимание.

Она молча повернулась и пошла в домик лесничего за Лео. Она внутренне трепетала. «Лиана, он ужасен!» – воскликнула в день свадьбы Ульрика, а тогда он был только холоден и спокоен; что бы сказала она, если бы могла видеть эти вспышки, когда его голос и жесты грозили уничтожением!.. Между тем, не странно ли, Лиана в это время робко молчала перед ним; она была глубоко оскорблена его несправедливостью, но теперь он стал ей понятнее, нежели когда драпировался напускною пассивностью: такова была его натура, его характер, бессознательно выступавшие в его описаниях и помимо ее воли привлекавшие ее; иначе разве она могла бы предложить ему дружеские отношения? А он их отверг. Краска стыда залила бледные щеки Лианы, и она невольно закрыла лицо обеими руками.

Глава 19

Тяжелые свинцовые тучи, предвещавшие бурю с громом, действительно собирались над Шенвертом, когда наши герои вышли из леса. Майнау, во все время не говоривший ни слова, хотел переждать непогоду в охотничьем домике, но Лиана отказалась, говоря, что гофмаршал будет очень беспокоиться о Лео, и они ускоренными шагами пошли через сад. Буря выла. Во фруктовом саду кружились сорванные ветром листья, спелые плоды тяжело падали на землю и катились через дорожку.

Майнау недовольно топнул ногою, когда, приближаясь к замку, встретил конюха, который доложил мимоходом, что верховые лошади герцогини и фрейлины стоят в конюшне: герцогиня выехала кататься и, по случаю надвигавшейся грозы, остановилась в Шенвертском замке.

– Ну, разве не радостно мое возвращение в Шенверт? Разве можно ожидать более любезной и более заботливой встречи? – спросил Майнау холодно-насмешливым тоном, слегка кивнув головой на крыльцо замка.

Герцогиня в синей амазонке показалась в стеклянной двери; ветер развеивал ее черные локоны и рвал белые страусиные перья на шляпке; но она, ухватившись обеими руками за перила, устремила пристальный взгляд на супругов, которые вели Лео за руки, и в своем

изумлении даже не заметила поклона Майнау. С гордым поворотом головы она быстро удалилась и спокойно села в кресло между своим духовником и гофмаршалом, когда возвращавшиеся вошли в зал.

Казалось, что в самой комнате носились грозные тучи, – в такой зловещий полусвет был погружен обширный зал; гипсовые фигуры по стенам походили на привидения; но еще мрачнее казалось мертвенно-бледное лицо царственной гостьи; даже глаза ее утратили свой обычный блеск и, подобно двум раскаленным углям, сверкали из-под загнутых полей серой пуховой шляпки. На вежливый поклон Лианы она высокомерно кивнула головой.

– Что у тебя за фантазия, Рауль? – сердито крикнул гофмаршал своему племяннику. – Бросаешь среди дороги экипаж и лошадей, чтобы предпринять сентиментальную прогулку по лесу!.. Известно ли тебе, что едва не случилось несчастье? Как можешь ты доверять бешеных волькерс-гаузенских лошадей такому глупому малому, как Андре! Они ускакали от него, и он пришел сюда полумертвый от страха.

– Смешно... он не в первый раз один управляется с ними; они, верно, опять испугались верстового столба... Впрочем, в моем возвращении через лес нет и тени сентиментальности: мне только не хотелось жариться на солнце в экипаже.

– А вы, баронесса, сделали бы гораздо лучше, если бы отправились одна в ваш лесной дом, к которому вы вдруг так пристрастились, – обратился старик резким голосом к молодой женщине и даже не повернул к ней головы, находя лишним ради нее изменять свое покойное положение. – Я убедительно прошу вас не присваивать себе моего внука, как трахенбергское достояние, которым вы можете распоряжаться по своему усмотрению. Я о нем очень беспокоился.

– Я очень сожалею об этом, господин гофмаршал, – возразила она чистосердечно, спокойно выслушав все колкости.

Герцогиня вдруг повеселела. Она привлекла к себе Лео и стала его ласкать.

– Но ведь он цел и невредим, добрейший барон, – сказала она ласково старику.

Лео резким движением высвободился из ее прекрасных рук: маму наследного принца он не любил, как настойчиво уверял всегда. Но ему очень понравился ее хлыстик, который лежал возле нее на столе: ручка его изображала золотую прекрасной работы голову тигра с бриллиантовыми глазами.

– Этот хлыстик есть на портрете, что стоял у папы на письменном столе, – сказал он. – Лео говорил о большой фотографии герцогини в костюме амазонки. – А только теперь он больше не стоит там, – говоря это, он хлестнул в воздухе хлыстиком, – и всех других портретов тоже нет, а то место, где они висели, затянуто новыми красивыми обоями. Глупого старого башмака тоже нет.

– Как, барон Майнау, вы это сделали? – спросила герцогиня, затаив дыхание. – Вы собрали все эти воспоминания в один общий угол?

Вся необузданная гордость царственной женщины сказала в ее осанке; в глухом же, трепещущем голосе слышались и смертельный страх, и вместе тревожное ожидание... Она хорошо знала убранство комнат Майнау: не один вечер провела она там при жизни его первой жены.

Он стоял пред нею спокойно и почти насмешливо встретил ее страстно пылавший взгляд.

– Ваше высочество, они тщательно уложены; я уезжаю на долгое время, а потому не могу оставить их на жертву пыли и на произвол неосторожных рук прислуги.

– Но, папа, ведь ты же поставил мой портрет на то место, где стоял стеклянный колпак со старым башмаком, – настойчиво напоминал Лео, – а над ним висит новая картинка, которую нарисовала мама.

Быстро повернув голову, Майнау бросил робкий и вместе гневный взгляд на молодую женщину, казалось, он сердился на то, что именно она слышала эту детскую болтовню.

– Так ты конфисковал картинку, Рауль? – живо спросил гофмаршал. – Я позволил себе сомневаться, когда баронесса сообщила мне, что у нее нет эскиза... Извините, баронесса! Я был несправедлив к вам. – И старик с саркастической торжественностью кивнул головой Лиане. –

Что же, пожалуй, у тебя, Рауль, она надежнее сохранится и пусть себе стоит на окне!.. А известно тебе, во сколько сама художница оценила ее?.. В сорок талеров...

– Я попрошу тебя предоставить мне право решить этот вопрос так, как я найду лучшим, – запальчиво прервал его Майнау.

Старик немного струсил, увидя его нахмуренное лицо: ему показалось, что его сжатая правая рука готова была подняться с угрозой. Герцогиня и ее фрейлина сидели, ничего не понимая из этого маленького спора, но придворный священник, игравший все время пассивную роль, наклонился вперед и, опираясь на обе ручки кресла, с напряженным вниманием следил за этой сценой, как будто он по взгляду и движениям вспыльчивого красавца барона угадал его задушевную тайну.

– Боже мой, не волнуйся же по пустякам, дорогой Рауль, – уговаривал гофмаршал. – Из-за чего ты горячишься? Я ищу только справедливости.

Майнау серьезно посмотрел ему в лицо.

– Я верю этому, дядя, но часто, преследуя эту цель, ты ошибаешься в форме... Я скорее всех готов засвидетельствовать клятвой твою справедливость, – ведь ты единственный оставшийся в живых Майнау, на благородство которого я полагаюсь с полным сознанием и гордостью, потому что оно составляет характеристическую черту нашего рода... Кстати, мне пришлось на ум пересмотреть бумаги, посредством которых дядя Гиз-берт на одре болезни объяснился с окружавшими его лицами... Я живо вспомнил его в Волькерсгаузене, когда увидел его великолепный портрет, написанный масляными красками, и с ужасом заметил, что он очень пострадал от сырости и пыли и теперь требует реставрации. Читая его бумаги, кажется, будто слышишь его прощальное приветствие.

– Ты можешь видеть их. Но разве ты этого сейчас желаешь?

– Они, верно, сохраняются в ящике редкостей? – небрежно заметил Майнау, указывая на письменный стол в стиле рококо. – Если бы ты потрудился его отпереть...

Гофмаршал торопливо встал со своего кресла, ковыляя, побрел к столу и отпер ящик, в котором сохранялась записка графини Трахенберг. Осторожно взял он своими тонкими пальцами розовую бумажку и с коварной улыбкой показал ее герцогине.

– Блаженные воспоминания, ваше высочество, душистый розовый листок, и больше ничего, а между тем он стоил мне несколько тысяч! – воскликнул он смеясь и бросил записку назад в ящик; после того он вынул сверток бумаг, перевязанный черной лентой. – Вот, мой друг! – сказал он, передавая его Майнау, который тотчас же развязал его.

– А вот тут наверху лежит распоряжение дяди Гизберта относительно Габриеля! – воскликнул Майнау, вынимая из середины свертка маленькую бумажку. – Это, верно, последнее письменное выражение его воли?

– Да, это была последняя его воля, – с невозмутимым спокойствием подтвердил гофмаршал, возвращаясь к своему креслу.

Майнау взял еще несколько бумаг и разложил их рядом на столе.

– Странно! – заметил он. – Это последнее распоряжение, как я слышал, было написано за несколько часов до его смерти, а между тем здесь тот же его неизменный своеобразный почерк, – приближение смерти не уменьшило твердости его руки! Тем лучше, иначе легко можно было бы усомниться в неподдельности этой записки, написанной без законных свидетелей.

Герцогиня с любопытством взяла у него из рук бумажку.

– Характерный почерк, но его трудно разбирать, – заметила она. – «Я предназначаю Габриеля для духовного звания; он должен поступить в монастырь и молиться там за свою глубоко падшую мать», – читала она, запинаясь.

– Не хочешь ли и ты, Юлиана, взглянуть на эти последние распоряжения умершего? – небрежно обратился Майнау к молодой женщине, которая стояла за пустым креслом, положив руки на его спинку.

Очевидно, он хотел пристыдить ее; Лиана чувствовала это и потому даже не подняла глаз. Никто из присутствующих не угадывал значения этой сцены, только для нее каждое слово было

метко направленным ударом ножа. Зачем она была так неосторожна, что приподняла завесу, на которую указала ей Лен?.. Майнау держал перед нею две записки, и она, не дотрагиваясь до них руками, внимательно сравнивала их между собою. Это был одинаковый почерк до мельчайших подробностей, и притом такой оригинальный, такой своеобразный, что подделка его была бы немыслима, и все же...

Вошедший лакей подал Майнау на серебряном подносе визитную карточку и тем положил конец неловкому положению.

– Ах, да! – воскликнул гофмаршал, слегка ударив себя по лбу. – Я совсем и забыл, Рауль!.. Час тому назад сюда приезжал молодой человек и так непринужденно вышел из экипажа, точно имел намерение здесь остаться... Он даже утверждал, что приехал по твоему приказанию, и, если бы мне не выпало на долю несказанное счастье встретить ее высочество, я принял бы его, чтобы узнать, в чем дело.

– Действительно, он здесь останется, дядя: это новый наставник Лео, – равнодушно ответил Майнау, тщательно складывая бумаги.

Гофмаршал наклонился вперед, будто не расслышал слов племянника.

– Я, кажется, не так понял тебя, любезный Рауль, – проговорил он медленно, точно взвешивая каждое слово. – Неужели ты действительно сказал: новый наставник Лео?.. Быть может, я так долго спал или был болен горячкою, что ничего об этом не знаю?

Майнау саркастически улыбнулся.

– Эта перемена, дядюшка, подготавливалась не месяцами. Мне раньше предлагали этого молодого человека, и теперь, когда он мне понадобился, я вызвал его сюда. К счастью, он был свободен и приехал двумя днями раньше назначенного мною срока. Это мне потому только неприятно, что я хотел по крайней мере за день предупредить тебя о его приезде.

– Это мало изменило бы мою волю, и я скажу тебе, что этот свалившийся как снег на голову молодой человек не останется в Шенверте.

Майнау еще держал в руках развернутые бумаги, намереваясь положить их обратно в письменный стол; при последних неслыханно дерзких словах старика он вдруг повернулся к нему; дамы опустили глаза при виде искаженного гневом прекрасного лица Майнау.

Гофмаршал не смутился, хотя внутренне страшно волновался, что видно было по выставленному вперед подбородку и по пальцам, судорожно сжимавшим пунцовый носовой платок.

– Могу ли я по крайней мере узнать, что побудило тебя к такому внезапному... государственному перевороту? – спросил он.

– Ты сам бы мог ответить себе на это, дядя, – сказал Майнау, сдерживая гнев. – Я уезжаю надолго, как уж давно известно всем и каждому; баронесса едет в Рюдисдорф; она не будет больше заниматься с Лео. – Последние слова Майнау произнес с такою холодностью, что герцогиня подняла глаза и бросила торжествующий взгляд на молодую женщину, которая тихо и спокойно продолжала стоять на прежнем месте. – И что для меня всего важнее, – продолжал Майнау, – мы не можем требовать от господина священника, чтобы он и зимою также часто посещал Шенверт с целью давать Лео уроки закона Божия.

– Ну, уж этого я понять не могу, да, я думаю, ты и сам не веришь этой причине! Ты отлично знаешь, что его преподобие еще недавно предлагал преподавать Лео и другие предметы.

– О, это я хорошо помню, – сухо возразил Майнау, – но я так боюсь не правильного преподавания всеобщей и естественной истории, что ты найдешь весьма естественным, если я выскажу ему свою благодарность за такую доброту и такое самоотвержение.

– Господин барон! – воскликнул священник, вскочив с места.

– Что угодно вашему преподобию? – медленно спросил Майнау и смерил его гневным взглядом.

Это выражение презрения было до того ясно, что придворный священник в бешенстве сделал резкое движение, но гофмаршал схватил обеими руками его руку, стараясь снова усадить его.

– Рауль, я не понимаю тебя! Как можешь ты так оскорблять духовника ее высочества, да еще в присутствии самой герцогини! – воскликнул старик задыхающимся голосом.

– Оскорблять?.. Разве я говорил о подложных векселях или о чем-нибудь подобном?.. Спрашиваю тебя самого: разве католический богослов может излагать вещи так, как они существуют на самом деле? Не должен ли он настойчиво отрицать многое, что ясно как день и непреложно, как дважды два четыре, чтобы остаться верным своему учению?

Гофмаршал всплеснул руками и откинулся на спинку кресла.

– Бога ради, Рауль, я еще никогда не слышал от тебя ничего подобного.

– Ах, да, – возразил, пожимая плечами, Майнау, – ты прав: я в эти вещи никогда не вмешивался. Досадно только на слабые доводы и оружие противника, который в крайнем случае укрывается за своим щитом с девизом: «Для Бога нет ничего невозможного», да и что за охота умышленно раздражать себя, когда любишь Божий мир и хочешь наслаждаться им?.. Это миролюбие нарушил я вследствие неудавшегося проекта уничтожить колдунью в индийском саду, – проекта, едва не лишившего зрения моего сына. Я не доверяю такому преподаванию закона Божия, при котором свободно вырастают подобные плевелы, и нахожу, что нужно, не теряя времени, приступить к радикальному образованию молодой головы, потому что старых голов, которых не одна тысяча тяготит нашу землю, уже невозможно переделать.

– Как вы несправедливы, барон Майнау! Неужели вы в самом деле так думаете о святой простоте? – воскликнула святоша фрейлина, не будучи более в состоянии удержаться, чтобы не вмешаться в разговор. – Не сами ли вы недавно заявляли, что любите ее в женщинах?

– Я подтверждаю это и сегодня, фрейлейн, – ответил он своим обычным небрежным тоном. – Прекрасное, ясное, обрамленное шелковистыми кудрями чело, которое не мудрствует, беззаботно болтающий пурпуровый ротик, – как это все привлекательно для нас, мужчин!.. Да, я люблю таких женщин, но не отдаю им предпочтения.

– А когда локоны поседеют и на пурпуровых губках перестанет играть беззаботная улыбка, тогда игрушку бросают в угол, не так ли, барон Майнау? – резко спросила герцогиня, небрежно играя своим хлыстиком, причем бриллиантовые глаза на тигровой головке сверкали всеми цветами радуги.

– А разве эти женщины желали бы чего-нибудь другого, ваше высочество? – спросил Майнау с холодной улыбкой.

– Да, теперь понятно, почему многие из женщин берутся за латынь, ботанику и химию, которыми так мучили нас в юном возрасте, – резко засмеялась герцогиня. – Говорят, что я все-все очень легко схватываю, а может быть, это следствие с годами пробуждающегося во мне внутреннего стремления самой все испытывать... Что бы вы сказали, барон Майнау, если бы я по вашему возвращении с Востока встретила вас латинскою речью, повела бы вас в лабораторию и угостила бы вас разными образчиками моих ученых занятий?

– У! Синий чулок в неряшливой одежде с непричесанными волосами! – воскликнул, засмеявшись, Майнау. – Ваше высочество, я питаю к таким женщинам врожденную антипатию; но мне иногда кажется, что могут быть женщины, которые, подобно мужчинам, собственным разумом стараются изучить тайны и чудеса природы, которые при светлом взгляде и непреодолимом стремлении самостоятельно думают и следят за всеми явлениями на нашей планете, причем это стремление ставят на второй план, чувствуя, что главная задача их жизни состоит в том, чтобы охранять спокойствие «семейного очага» и держать бразды домашнего правления нежными, милостивыми, но твердыми руками.

– Дорогой барон Майнау, может быть, найдется такой великий художник, который нарисует вам такую женщину! – воскликнула фрейлина и принялась насмешливо хихикать, между тем как герцогиня резким движением поднялась с места.

Как только Майнау и священник заспорили, Лиана обняла Лео и отошла с ним в нишу самого отдаленного окна. Буря разразилась проливным дождем, который немилосердно хлестал в окна; сквозь сгустившийся туман виднелись вершины деревьев, которые, подобно прикованным привидениям, гнулись под напором ветра, а на лужайках стояли огромные лужи воды. Молния уже давно перестала сверкать; но там, у стола, к которому теперь молодая

женщина стояла спиной, собралась страшная гроза: этот необыкновенный человек вдруг восстал против незаметной, но крепко удерживаемой опеки, которую он до сих пор безмолвно игнорировал, потому что хотел невозмутимо наслаждаться жизнью; да, он пошел еще дальше – он отказался от прежних воззрений, и кто знает, было ли то следствием того же каприза, по которому он избрал себе в жены бедную протестантку, или же в нем действительно совершился внутренний переворот?

Молодая женщина не обернулась даже и тогда, когда услышала шум отодвигаемых стульев и твердые шаги священника, величественно направившегося к стеклянной двери; вслед за этим Майнау подошел к письменному столу и громко задвинул ящик. Почти в то же время зашелестело платье, нежный запах жонкиля – любимых духов герцогини – повеял в нише, и чья-то рука обняла талию молодой женщины.

– Ваш образ пленителен, прекрасная женщина, – шипела ей на ухо герцогиня, – но вы напрасно хлопочете, – я берусь устроить этими белыми, нежными, но твердыми руками все так, что все ваши старания разобьются о предпринимаемое путешествие.

Губы, произносившие эту угрозу, были бледны и судорожно сжаты, и молодая женщина буквально окаменела при виде искаженного гневом лица герцогини.

Оставь мою маму! Ты делаешь ей больно! – воскликнул Лео, протиснувшись между обеими женщинами, но герцогиня уже отступила.

– Не бойся, голубчик, я на это не способна! – сказала она с веселым смехом и подошла к зеркалу, чтобы поправить шляпку и подколоть распутившиеся от ветра локоны; фрейлина поспешила к ней на помощь.

Между тем Лиана, отойдя от окна, подошла к Майнау; ее сердце еще трепетало от испуга.

– Никогда не позволяй этой женщине дотрагиваться до тебя, я этого не хочу, – приказал он мрачно и таким глухим голосом, что только она одна могла его слышать.

– Боже мой, что за погода! Как несносно! Моему Арминиусу придется переночевать в Шенверте, – воскликнула в эту минуту герцогиня; она стояла спиной к залу, но в зеркале были видны ее сверкающие глаза. – Не будете ли вы так добры, барон Майнау, отправить меня домой! Я должна ехать, уже поздно.

Майнау вызвался сам отвезти ее, так как никому не доверял своих бешеных серых рысаков. Он вышел, чтобы отдать приказания относительно отъезда герцогини и вместе с тем поздороваться с вновь прибывшим наставником Лео.

Как ни в чем не бывало герцогиня подсела к сердито молчавшему гофмаршалу и начала с ним болтать, стараясь вовлечь в разговор и священника, пока не возвратился Майнау в дождевом плаще и рысаки не подъехали с громким ржаньем к крыльцу, где ожидали ее выхода два лакея с раскрытыми дождевыми зонтиками.

– Хотите ехать со мною? – спросила она священника.

Он отговорился партией шахмат, которую обещал сыграть вечером с гофмаршалом, и спокойно отступил назад, когда Майнау резко и с шумом распахнул возле него стеклянную дверь.

Прекрасная герцогиня, обязательно всем поклонившись, выпорхнула из зала под руку с Майнау, а гофмаршал, крихтя, возвратился к своему креслу.

– Пожалуйста, закройте дверь, – сказал он брюзгливо священнику, опускаясь на подушки. – Вы бы не должны были и давеча отворять ее, дорогой друг; я не смел протестовать, потому что, кажется, герцогиня этого желала, но сырой воздух свинцом лег на мои ноги: завтра я буду совершенно болен; к тому же гнев и досада сдавливают мне горло... Пожалуйста, отвезите меня в мою теплую спальню; там я отдохну и подожду, пока затопят камин, а то здесь стало ужасно холодно... Ну, Лео, ты пойдешь со мною! – крикнул он мальчику, прижавшемуся к молодой женщине.

– Я хотел бы остаться с мамой, она совсем одна, – сказал ребенок.

– Мама никогда не бывает одна: она принимает «духов природы» и не нуждается в нас, – ответил, лукаво подмигивая, старик. – Пойдем со мной!

Он схватил за руку сопротивлявшегося мальчика и потащил его за собою, между тем как

священник вывозил за дверь его кресло.

Глава 20

Молодая женщина снова подошла к окну. Стук колес отъехавшего экипажа замирал вдали. Теперь он въехал в лес: чудные рысаки бежали крупной рысью и уносили дорогой экипаж, где, утопая в мягких белых атласных подушках, сидела эта прелестная женщина с лицом медузы. Она любила его со всем пылом бешеной страсти, забывая свое герцогское достоинство и всю свою гордость; возле него она была не больше как страстно обожающая женщина, терзаемая ревностью... Зачем связал он свою судьбу с судьбой бедной девушки из Рюдисдорфа? Зачем не искал он ее царственной руки? Он был бы принят с распростертыми объятиями и мог бы быть счастлив с нею, так как и он не был равнодушен к ней: встреча в лесу в день свадьбы живо воскресла пред молодой женщиной – тут была какая-то тайна. «Старания ваши разобьются о предпринимаемое путешествие», – шепнула ей герцогиня, и Лиана еще чувствовала на своей шее и щеке ее горячее дыхание... Какое же старание должно разбиться? Она все делала, чтобы выполнить свои обязанности, но, благодарение Богу, гордость не изменила ей: она не шевельнула ни одним пальцем, чтобы приобрести любовь Майнау. Думая так, герцогиня ошиблась; в одном она была права, предполагая, что путешествие окончательно порвет слабо завязанный узел, даже если бы Лиана отказалась от своего решения уехать отсюда... Как ужасно ее положение! Когда он после продолжительного отсутствия вернется домой, никто и не вспомнит, что когда-то была привезена сюда графиня Трахен-берг, чтобы провести здесь целый ряд горестных дней среди ежедневных пыток и оскорблений; он сам, путешествуя, стряхнет с себя тягостное воспоминание, чтобы овладеть наконец рукой, которая протягивалась к нему с таким страстным томлением.

Невольно прижала молодая женщина судорожно сжатую руку к сердцу: отчего же оно вдруг так болезненно заныло? Неужели так ужасно быть отвергнутой ради другой?.. Ей вспомнилось, как Майнау запретил ей допускать герцогиню прикасаться к себе; какие побудительные причины он имел на это? Конечно, одну ревность. Он просто не мог переносить, когда ей, его жене, оказывались знаки благоволения... Она закрыла лицо руками, ею вдруг овладела необъяснимая слабость. Медленно отошла она от окна, чтобы уйти в свою комнату. Проходя мимо письменного стола, она остановилась как вкопанная: ключ был еще в ящике! Майнау забыл вынуть его, а разгневанному и раздосадованному гофмаршалу и в голову не пришло потребовать его назад... Сердце молодой женщины сильно забилося: тут лежала бумажка, от которой зависела вся судьба Габриеля; ей хотелось еще хоть раз взглянуть на нее, так как она знала, что для таких документов недостаточно исследования простым глазомером, а нужно рассматривать их с помощью микроскопа. Но чтобы снова иметь эту бумажку в своих руках, нужно было отодвинуть ящик с редкостями, а это была чужая собственность, и ключ оставался здесь случайно... честно ли будет с ее стороны вынуть бумагу? Нет, она опять положит ее невредимой на прежнее место; не сам ли Майнау требовал от нее, чтобы она хорошенько вгляделась в написанное, и не для этой ли цели взял у гофмаршала бумаги? Быстро решившись, выдвинула она ящик: розовая записка ее матери лежала перед нею и, нечаянно коснувшись ее, она, как ужаленная змеей, отняла руку. Она взяла лежавшую сверху бумажку: это именно и была та, которую она искала.

Едва переводя дух, сбежала она вниз в свои комнаты и положила бумажку под микроскоп, бывший верным помощником при ее занятиях... И невольно содрогнулась, под неумолимым стеклом ужаснейший подлог становился ясен как день. Каждая старательно выведенная буква была сперва прорисована карандашом, чего нельзя было заметить невооруженным глазом, и теперь выступало с беспощадной очевидностью. Работа была трудная – обманщик должен был отдельно срисовывать каждую букву, чтобы составить необходимые слова... Но кто бы мог это сделать? И для чего? Записка была написана без законных свидетелей, значит, этим подлогом хотели заставить молчать человека, имевшего сильный голос в этом деле, и это был Майнау. Он сам говорил ей, что сначала действовал в пользу мальчика... Было ли то сделано из корыстных

видов, или тут примешивался еще религиозный фанатизм – сказать было трудно. Но в записке было написано еще: «Женщина непременно должна принять святое крещение для спасения ее души».

Молодая женщина бросилась на кушетку. Ее сердце усиленно билось, по ее телу пробегала нервная дрожь, ей нужно было успокоиться – в таком волнении ее никто не должен был видеть... Майнау обладал благородной натурой, и, чтобы избежать его справедливого противодействия, прибегли к подлогу, зная, что никаким другим путем им не удалось бы склонить его к явной несправедливости. Прежде всего надо было положить бумагу на место; она могла бы только тогда сообщить это открытие Майнау, если бы на его глазах вынула бумажку из ящика. Лиана горько улыбнулась; он, во всяком случае, скорее заподозрил бы ее, чуждую здесь всем и всеми не любимую, нежели поверил бы, что в его Шенверте, этом гнезде рыцарского благородства и строгости правил, могли происходить подобные вещи... Но рано или поздно Майнау должен будет узнать всю правду – это требовалось для спасения Габриеля.

Тихонько прокралась она в зал. Там уже затопили камин. Тяжелые штофные гардины были спущены на окнах, а стеклянная дверь заперта дубовыми ставнями. Тишина нарушалась только беспрерывно лившимся дождем. Чайный стол был уже приготовлен, и среди него горела лампа под зеленым колпаком. Обширный зал тонул в полумраке; лампа освещала только стол и небольшое пространство вокруг него, да, кроме того, отблеск топившегося камина падал на паркет, углы же комнаты были погружены в совершенный мрак.

Молодая женщина робко осмотрелась: в комнате никого не было. Успокоенная, она подошла к столу, выдвинула ящик, развернула, не вынимая из него, сверток и положила в середину его записку. В эту минуту кто-то схватил ее руку, удерживая ее в ящике; ужас сковал Лиану; она не имела даже силы вскрикнуть – вся кровь прилила ей к сердцу. Почти лишившись чувств, она пошатнулась, и ее помутившимся глазам предстало лицо придворного священника. Он принял беспомощную в свои объятия и, прижав к груди, покрывал ее руку страстными поцелуями.

– Успокойтесь, ради Бога! Я один это видел, кроме меня, никого нет в зале, – шептал он нежным, ободряющим голосом.

Этот голос мгновенно возвратил ей сознание; она вырвалась и оттолкнула его руку.

– Что вы видели? – спросила она слабым, беззвучным голосом, в то время как красивая ее фигура приняла гордую осанку. – Разве эти ящики содержат в себе золото или серебро?.. Разве я хотела красть?

– Как мог бы я предположить такую мысль в вашей божественной головке? Скорее я запятнал бы память моей матери таким позорным подозрением, нежели вашу ангельски чистую душу, – верьте мне!.. Вы не поймете, конечно, этого выражения, потому что именно любовь к матери и привела вас сюда... Баронесса, кто может обвинять вас за желание уничтожить маленькую записочку, которая оскорбляет и унижает вас? – Он вынул из ящика записку. – Сожжем же вместе это розовое свидетельство материнских заблуждений!

Быстрым движением вырвала она у него письмо и бросила на прежнее место.

– Разве это не кража? Разве оно ко мне адресовано? – кричала она гневно. – Оно останется там, где было. Нечестным поступком я не могу смыть пятна с репутации моей матери.

Она отступила от него и стала по другую сторону письменного стола: ей хотелось увеличить расстояние, отделявшее ее от священника, дерзнувшего дотронуться до нее. Зеленый свет лампы падал на ее прелестный благородный профиль; своим гордым выражением походил он на камею... Священник попробовал было накинуть ей петлю на шею, и, будь у нее поменьше энергии, она неминуемо попала бы в его сети. Но вместо того ему пришлось убедиться, что она его насквозь видит.

– Как вы осмелились склонять меня на такое темное дело?

– Вы преднамеренно не хотите понимать меня и, где только можно, относитесь ко мне враждебно, – сказал он с горечью; в его голосе звучала неподдельная страсть, в этом она не могла сомневаться, – и все-таки у вас нет на земле более преданного друга, чем я.

– У меня два друга: брат и сестра, другой дружбы я не ищу, – возразила она.

Услышав ее враждебный тон, священник прижал обе руки к груди, точно он получил смертельный удар; глаза его вспыхнули зловещим огнем, и он подошел к ней ближе.

– Баронесса, здесь, в Шенверте, вы не должны были бы говорить так оскорбительно и гордо, потому что вы не имеете здесь никакой опоры и, подобно мячику, зависите от дуновения ветра.

– Слава Богу, он не отнес меня ни на одну линию в сторону относительно моих правил.

– Свет не спрашивает об этом; он видит только ваше фальшивое положение здесь и, зная побудительную причину, в силу которой сделали вас баронессой Майнау, насмешливо улыбаясь, шепчет самые унижительные предположения.

Она стала еще бледнее.

– К чему вы все это говорите мне? – спросила она нетвердым голосом. – Впрочем, я знаю побудительные причины, вследствие которых я здесь: я должна быть матерью Лео и хозяйкой осиротевшего дома; это положение отнюдь не оскорбляет моего женского достоинства, – прибавила она гордо и с холодным спокойствием. Это равнодушие, видимо, огорчило его.

– Да, если бы вы были ею на самом деле! – сказал он торопливо. – Но в Шенверте вряд ли когда-либо чувствовалось отсутствие хозяйки. Преклонные лета и почтенная особа гофмаршала делают хозяйку дома совершенно лишнею во время празднеств, а хозяйство он умеет контролировать лучше всякой женщины. Лео предназначается к военной службе и должен будет рано оставить Шенверт и выйти из-под опеки матери, так что едва ли эти причины имелись здесь в виду. Главною причиной была неутолимая жажда мести; не знаю, не будет ли оскорблено чувство достоинства женщины, если она узнает, что ее избрали единственно для того, чтобы нанести другой женщине смертельный удар, и притом с самой утонченной жестокостью.

Большие серые глаза молодой женщины пристально устремились на лицо говорившего, но именно ее молчание и этот взгляд, полный нескрываемого страха, и побудили его безжалостно продолжать:

– Тем, кто знает барона Майнау, известно, что все поступки и действия его рассчитаны на эффект. Выслушайте, как было дело. В молодых летах он страстно любил высокопоставленную женщину, и она так же пламенно отвечала на его любовь; близкие принудили ее отказать ему, чтобы взойти на ступени трона. Барон Майнау, может быть, и прав, называя ее поступок неверностью, но в глазах приближенных это не более как страшная жертва, принесенная обязанностям звания... Смерть мужа сделала эту женщину, не перестававшую любить Майнау, свободною; для бедной страдальцы в порфире и короне готовилась взойти новая заря; она мечтала сбросить с себя тяжесть герцогского блеска и величия, чтобы хоть в одиннадцатый час сделаться любящей и любимой женой, но кому удавалось тогда проникнуть в настоящие намерения и действия барона Майнау?.. Во все время траура он был с нею чрезвычайно любезен до той минуты, когда она, вся сгорая от любви и сладостной надежды, готовилась услышать из уст его предложение, а вместо того он в присутствии всего двора объявил ей о своей помолвке с Юлианой, графиней фон Трахенберг. Это, конечно, произвело громадный эффект, Майнау мог торжествовать.

Молодая женщина оперлась на высокую отделку письменного стола сложенными руками и прижалась к ним лицом. Она охотно согласилась бы провалиться сквозь землю, чтобы только не слышать более этого безжалостного голоса, наносившего неизлечимые раны ее фамильной гордости, ее бедному достоинству и даже ее бедному сердцу.

– Что должно было произойти после этой комедии, ему было все равно, – продолжал священник с возрастающим жаром; казалось, он дорожил каждым мгновением, которое проводил теперь с этой женщиной один, без всяких свидетелей. – Для чувства долга в душе этого человека нет места; он и к своей первой жене, самой привлекательной, любезной и благородной женщине, какую только можно себе представить, выказывал полное пренебрежение.

Последние слова заставили Лиану поднять голову: священник лгал; первая жена Майнау, напротив того, не отличалась благородством; она от малейшего противоречия топала ногами и

швыряла ножами и ножницами куда попало. А тем временем священник продолжал:

– Он и женился на ней единственно для того, чтобы доказать герцогине, что ее неверность мало его трогает... Но участь первой жены была завидна сравнительно с участью второй, которую он безжалостно принес в жертву своему тщеславию. На стороне первой был ее отец; вторая жена и его имеет против себя, – он ее непримиримый враг... Он знает теперь, что второй брак есть не что иное, как образчик самой неслыханной мести и что герцогиня не остановится ни перед какими средствами, чтобы хоть теперь одержать победу, и он – верный ее союзник. Царственное имя придаст завидный блеск родословной дома Майнау.

– Я спрашиваю вас еще раз: к чему вы мне все это говорите? – прервала она его вдруг, приняв свой гордый, величественный вид. – Я добровольно удаляюсь, как это всем известно; и не доставлю много хлопот ни герцогине, ни ее союзнику, но пока я еще ношу имя Майнау, я никому не позволю в моем присутствии дурно отзываться о человеке, с которым повенчана, если бы даже он был в десять раз виновнее... Прошу вас не забывать этого, ваше преподобие... Впрочем, не берусь решать, что более достойно осуждения: легкомыслие ли светского человека или суетность священника, который, зная о святотатстве, в потрясающей душу молитве призывает благословение Божие на недостойную комедию; первый попирает ногами женское сердце, как большая часть знатной молодежи; другой же, превращая алтарь в сцену, является на ней даровитым актером и тем совершает страшный грех!..

Лиана говорила громко, горячо, забыв всякую предосторожность и самообладание.

– Этот Шенверт – омут, и, к чести Майнау, должно сказать, что он этого не знает и потому, сам того не замечая, проходит мимо темных дел, которыми пропитан самый воздух в этом замке. Он и не предполагает, что документы, на которые он, по простоте души, опирается, подложны...

Не договорив, она вдруг испугалась и замолчала. Священник сделал выразительное движение, как будто у него блеснула внезапная мысль. С быстротою молнии выхватил он из ящика лежавшую сверху бумажку и поднес ее к лампе.

– Вы говорите об этом документе? Ученая мыслительница исследовала его под микроскопом и открыла...

– Что он писан предварительно карандашом, – сказала она твердо.

– Совершенно справедливо. Каждая буква срисована на стекле карандашом и потом обведена пером, – подтвердил он спокойно. – Я знаю это очень хорошо, знаю даже и то, что это очень трудная и неприятно действующая на нервы работа; а знаю я это потому, что сам сочинял и писал этот документ... О, не смотрите же на меня с таким отвращением! Разве в ваших глазах ничего не значит, что я так унижаю себя и так откровенно каюсь перед вами... Вы можете спокойно коснуться этой руки: не ради денег, не ради земной власти и величия действовала она так, но для осуществления высших идей... Разве я не мог с таким же успехом прибавить к этой последней воле какое-нибудь пожертвование капиталом или недвижимым имуществом в пользу нашего ордена? Барон Майнау верит в неподдельность этого документа, он поверил бы и такому добавлению, а старик гофмаршал... Ну, он по уважительным причинам должен бы был поверить. Я был далек от подобного грабежа, я только хотел приобрести две души: языческую душу матери для крещения и душу мальчика для миссии... Наш век ненавидит и преследует, как фанатизм, самоотверженную преданность пылкой души к призванию священника, но никто не думает, что, заключив горячее вещество в железном сосуде, он тем самым заставляет его стремиться к нему и...

– Сжигать еретиков, – добавила она ледяным тоном и отвернулась.

Священник нервно скомкал в руке записку.

– Но это пламя уже более не пылает, – проговорил он глухим голосом; он, видимо, отчаянно боролся со страшным волнением. – Ни самая усердная молитва, ни бичевания не в состоянии снова раздуть его. Меня пожирает другой огонь. – Тут он протянул ей руку с измятой бумажкой. – Вы можете относительно этого документа обвинить меня в подлоге двумя словами, можете освободить Габриеля, можете лишить меня моего положения, возбуждающего всеобщую зависть, уничтожить влияние, которое я имею на высокопоставленных лиц, –

сделайте это, и я буду молчать, не моргну даже глазом. Предайте меня моим многочисленным врагам, только позвольте мне, когда вы оставите Шенверт, жить вблизи вас!

Лиана посмотрела на него большими, изумленными глазами, подумав, уж не сошел ли он с ума... Она гордо выпрямилась перед ним во весь рост.

– Вы забываете, ваше преподобие, что мой брат, владелец Рюдисдорфа, может предоставить место приходского священника духовному лицу только протестантского вероисповедания, – сказала она ему через плечо слегка дрожащим голосом, но с насмешливой улыбкой.

– Психологи правы, говоря, что блондинки обладают самой жестокой холодностью. – Он как-то особенно прошипел эти слова. – Вы умны и так высокомерны, как ни одна природная аристократка, в жилах которой течет герцогская кровь, – одним поворотом вашей головы вы становитесь выше ничтожества. Другого вам, может быть, удастся отстранить от себя, но не меня. Я буду следовать за вами всюду по пятам, никогда не отниму я назад руки, которую раз протянул к вам, даже если бы мне пришлось ее лишиться! Бейте меня, попирайте ногами, я все вынесу молча, терпеливо; но вы никак от меня не освободитесь... Моя церковь требует от священника, чтобы он бодрствовал и постился, чтобы он работал без усталости, тут вел бы подземный ход, подобно кроту, там перекидывал бы в воздухе мост; судите же сами, какая фанатическая энергия будет одушевлять это стремление, пока вы не станете моею.

Неведомый до сих пор ужас объял Лиану. Теперь она поняла, что не душу ее он хотел приобрести для своей церкви: клятвопреступник священник любил в ней женщину. От этого открытия вся кровь застыла в ее жилах – она содрогнулась от ужаса; но как ни отвратителен был грех, эта энергичная речь, в потрясающих душу словах передававшая всю борьбу, все бури и муки души, произвела отталкивающее и вместе с тем магнетическое действие на молодую женщину: она еще никогда не слыхала от мужчины пылких речей всезабывающей глубокой страсти... Прочел ли он это в ее прелестном побледневшем лице или еще почему-либо догадался, только он вдруг приблизился к ней и, страстно закинув назад голову, бросился к ее ногам, чтобы обнять колени молодой женщины; зеленоватый свет лампы ярко освещал его бледное лицо и пятно гюменца, резко выделявшегося среди темных кудрявых волос. Лиане показалось, будто невидимая рука указывала ей на это пятно как на знак, положенный на Каина; она сделала шаг назад и протянула свои красивые руки, как бы защищаясь от стоявшего перед ней на коленях священника.

– Лицемер! – воскликнула она хриплым голосом. – Я скорее брошусь в пруд в индийском саду, нежели позволю вам хоть одним пальцем дотронуться до моего платья.

Боязливо прижав руки к груди, стояла она, как дитя, которое, страшаясь ужасного прикосновения, не имеет, однако, сил сдвинуться с места. Она не могла уйти, пока документ находился в его руках, иначе она сама выдала бы свое соучастие с ним.

Священник медленно приподнялся. В это время среди наступившего безмолвия вдруг раздался стук колес подъехавшего экипажа, который, скрипя по мокрому гравию, остановился затем у крыльца. То возвратился Майнау; он должен был ехать с невероятной быстротой. Священник топнул ногою и с бешенством повернулся к окну; было видно, что ему хотелось бы иметь под рукою какой-нибудь тяжелый предмет, чтобы бросить им в экипаж и в сидящего в нем ненавистного ему человека.

Молодая женщина вздохнула облегченно – нельзя было терять ни минуты.

– Я попрошу вас, ваше преподобие, положить бумагу на место, – сказала она, стараясь придать твердость своему голосу.

– Неужели, баронесса, вы думаете, что я способен на... такое бессмысленное простодушие? – воскликнул он с хриплым смехом. – Вы полагаете, что ваша смертельно раненная жертва не имеет больше сил для защиты? О, я могу еще рассуждать, могу объяснить вам ваши намерения. Вы пришли сюда, чтобы овладеть важной тайной: с помощью микроскопа доказали бы вашему супругу и гофмаршалу, что в доме Майнау совершен бессовестный подлог относительно наследства. Конечно, с этой тайной вас не пустят в Рюдисдорф, а попросят остаться... Но чего вы этим достигаете? Барон Майнау не любит вас и никогда не будет

любить: его сердце все-таки принадлежит герцогине. Теперь он совершенно равнодушен к вам, а после открытия тайны будет просто ненавидеть, а я – видите, сколько самоотвержения в моей любви, – я хочу предотвратить это.

И не успела Лиана оглянуться, как он, завладев розовой запиской графини Трахенберг, стоял уже у камина. С громким криком бросилась она к нему и, не помня себя, обеими руками схватила руку человека, который никогда не должен был дотрагиваться до нее, но документ и письмо превратились уже в пепел.

– Теперь обвиняйте меня, баронесса! Кто станет искать документ, не найдет и письма графини Трахенберг, а что я его сжег, никто вам не поверит.

Говоря это, он все еще левою рукою защищал камин, хотя в нем не оставалось и признаков сожженной бумаги.

Руки молодой женщины безжизненно опустились; она стояла как пораженная громом, освещенная ярким пламенем камина. Эта сильная, хотя слишком чистая, девственная душа не могла понять коварной души священника; нежная, стройная, беспомощная, с испуганными глазами, устремленными на огонь, она была как бы парализована и, сама того не замечая, склонила голову так близко к его плечу, что, казалось, довольно было одного энергического движения, чтобы овладеть ею; только трепещущий вздох вырвался из ее груди и коснулся щеки монаха.

– Еще есть время, – сказал он, помертвев от коснувшегося его дыхания. – Будьте сострадательны ко мне, и я сейчас пойду к владельцу Шенверта и покаюсь ему.

Она гордо отступила назад и смирila его с головы до ног презрительным взглядом.

– Это ваше дело, поступайте, как вам угодно! – сказала она резким тоном. – Я искренне желала спасти Габриеля и скорее решила бы ради доброго дела пасть к ногам герцогини, – но действовать сообща с... иезуитом я не в состоянии... Мальчика спасти я уже не могу, – да совершится его жестокая судьба!.. Но Германия вполне права, изгоняя из своей страны лицемерное братство Иисуса и вооружаясь против этого непримиримого врага патриотического духа, духовного развития и свободы вероисповедания... Это мои последние слова к вам, ваше преподобие. А теперь вы можете начать против меня интригу относительно сгоревших документов со всей тонкостью и неподражаемой уверенностью, как подобает ученику Лойолы.

Повернувшись к нему спиной, она хотела поспешно удалиться, но в это время отворилась боковая дверь, и из нее, опираясь на костыль, выглянул гофмаршал.

– Где же вы, почтенный друг? – воскликнул он, окинув взглядом зал. – Боже мой, разве так много времени надо, чтобы вынуть ключ?

При его появлении молодая женщина остановилась, повернувшись к нему лицом; священник же продолжал неподвижно стоять у камина, протянув к огню свои белые полные руки, как бы грея их.

Гофмаршал вошел в зал и даже забыл затворить за собою дверь, – до того он был поражен.

– Как, и вы уже здесь? – сказал он, опираясь костылем о паркет. – Или вы все время были здесь впотьмах? Но нет, при вашей мещанской привычке ни минуты не оставаться в бездействии этого не может быть.

Вдруг в голове его мелькнуло подозрение, и он повернул голову к столу с редкостями: один из ящиков был так выдвинут, что, казалось, вот-вот выпадет из своего места.

Продолжительный вздох вырвался у старика.

– Как, баронесса, вы изволили тут рыться? – спросил он со злобною улыбкой, почти кротко, подобно тому, как следственный судья обращается к обвиненному, потерявшему последнюю точку опоры. Он важно покачал головой. – Impossible⁸, что я говорю! Эти прекрасные аристократические ручки женщины, имеющей счастье именоваться внучкой герцогини фон Тургау, не могли унизиться до такой степени, чтобы рыться в чужой собственности... fi done! Извините меня, я позволил себе неприличную шутку!..

⁸ Не может быть (фр.).

Он побрел к столу и, опираясь левою рукой о костыль, правою стал перебирать бумаги.

Лиана судорожно скрестила руки на груди: она чувствовала приближение грозы. Этот человек в черной одежде так равнодушно смотрел на огонь, как будто не слышал ничего, что происходило за его спиной; конечно, он давно уже обдумал план своих действий.

Гофмаршал наконец повернулся к Лиане, лицо его было бело как снег.

– Вы также пошутили, баронесса? – воскликнул он, смеясь. – Вы хотели подтрунить надо мной? Весьма возможно; я в присутствии герцогини был немного не прав, но на будущее время я буду осторожнее, обещаю вам это. А теперь, пожалуйста, возвратите мне мой прелестный *billet doux*⁹, к которому, как вам известно, я привязан всем сердцем!.. Как! Вы не соглашаетесь? А я готов побожиться, что у вас из кармана выглядывает уголок розового письма. Нет? Где же письмо графини Трахенберг, спрашиваю я вас? – прибавил он вдруг, совершенно переменив тон.

В порыве бешенства он до того забылся, что с угрозой поднял свой костыль.

– Спросите у его преподобия! – отвечала Лиана, и щеки ее побледнели.

– У его преподобия? Да разве графиня Трахенберг его мать?.. Гм! Да, может быть, он подкараулил ваш смелый поступок, и вы апеллируете к его рыцарской готовности и христианскому великодушию и ищите у него помощи; но это вам ни к чему не послужит, прекрасная баронесса. Я хочу слышать прямо из ваших уст: куда девалось письмо?

Молодая женщина указала на камин.

– Оно сожжено, – сказала она беззвучным, но твердым голосом.

В эту минуту священник в первый раз повернул немного голову; он искоса бросил смущенный, почти безумный взгляд на Лиану, которой и в голову не пришло искать спасения во лжи.

У гофмаршала вырвался хриплый крик бешенства, и он бессильно опустился на ближайшее кресло.

– Вы были свидетелем, ваше преподобие? И вы спокойно смотрели на совершение такого безбожного дела? – проговорил он сквозь зубы.

– В данную минуту я ничего не могу отвечать вам, господин гофмаршал: вы должны сперва успокоиться. Вы совсем не так смотрите на это дело, – возразил уклончиво священник, подходя к гофмаршалу неверными шагами.

– Ну, право, только и недоставало того, чтобы и вы совратились с пути. Неужели еретический дух, гнездящийся под этими огненными косами, сводит с ума все мужские головы? Раулю я уже давно не доверяю...

Старик закусил губы; видимо, последние слова вырвались у него против воли, но на священника они произвели действие неожиданного удара; бросив испуганный, но гневный взгляд на Лиану, он поднял руку, как будто желая зажать рот неосторожному старику.

– Я не понимаю вас, господин гофмаршал, – проговорил он тоном грозного предостережения, взвешивая каждое слово.

– Боже мой, да я не говорю о его католическом вероисповедании! – воскликнул тот с досадой.

Человек, о вере которого теперь шла речь, поднимался в это время по покрытой византийскими коврами парадной лестнице. Лиана стояла лицом к отворенной двери; ярко освещенный коридор оканчивался сенями, также залитыми огнем. На верхней ступеньке Майнау, закутанный в темный дождевой плащ, остановился на минуту. Неизвестно, увидел ли он светлое платье своей жены в полумраке зала, но только, вместо того чтобы прямо пройти, как сначала намеревался, в свои комнаты, Майнау вдруг пошел по коридору.

– А, во г и он! Очень кстати! – сказал гофмаршал, злорадно прислушиваясь к приближавшимся знакомым шагам племянника.

Он удобнее устроился в кресле, как бы готовясь к борьбе, и, покряхтывая, начал потирать

⁹ Любовное письмецо (фр.).

свои костлявые сухие руки.

— Господин гофмаршал, я убедительно прошу вас не говорить пока ни слова, — воскликнул священник странным, повелительным полусшепотом, в котором, однако, слышалась тревога.

Но Майнау уже был на пороге.

— Я не должен этого знать? — спросил он резко.

Слова священника не укрылись от его острого ревнивого слуха. Он перенес огненный, пронзительный взгляд со священника на лицо молодой женщины.

— Значит, это тайна между его преподобием и моей женой?.. Тайна, которой ты не должен выдавать мне, дядя? — прибавил он, медленно отчеканивая каждое слово. — Я должен сознаться, что это возбуждает во мне живой интерес. Тайна между строго католическим священником и «еретичкой» — как пикантно!.. Должно быть, я угадал, дядя, интересная попытка к обращению, не так ли?

— Не думай этого, Рауль: его преподобие слишком положителен и умен, чтобы стал понапрасну тратить время и слова; баронесса даже и не протестантка... Нет, мой друг, тайна принадлежит исключительно баронессе, а его преподобие только невольный свидетель ее; он так рыцарски благороден и великодушен, что не хочет компрометировать твою жену... Я бы и сам, пожалуй, готов молчать, да что же я тебе скажу? Я слишком стар для того, чтобы быстро придумывать сказки...

— К делу, дядя! — воскликнул Майнау суровым, глухим голосом.

Его лицо было страшно, губы судорожно сжаты, а глаза горели лихорадочным огнем.

— Ну, да и рассказывать-то не долго. Ты оставил в столе ключ, как раз в том ящике, где лежало письмо графини Трахенберг. Я должен сознаться, что слишком часто дразнил баронессу маленьким интересным документом, и вот она подумала, что хорошо было бы, если бы он в один прекрасный день исчез навеки... Оставшись одна в зале, она воспользовалась удобным случаем, чтобы бросить в огонь мое милое, любимое розовое письмецо... А? Что ты на это скажешь?.. К сожалению, по странной случайности, я как раз в это время заметил, что у меня не было ключа; его преподобие предложил мне сходить за ним, и таким образом его любезная услужливость была причиной, что он сделался невольным свидетелем этого аутодафе. Когда же я, встревоженный его долгим отсутствием, вдруг вошел сюда, мой почтенный друг еще стоял как пораженный громом у камина, а баронесса, увидя меня, хотела скрыться, но было уже слишком поздно... Посмотри туда! Открытый ящик говорит довольно ясно.

Молодая женщина, видя, что буря готова разразиться над ней, опустила платок, который прижала к губам, и, бледная как воск, сделала шаг вперед, чтобы приблизиться к мужу.

— Оставь это, Юлиана! — сказал он ледяным тоном, отступив назад и подняв руку, как бы приказывая ей молчать. — Дядя судит с предубеждением: ты не дотрагивалась до письма, я знаю это, и горе тому, кто осмелится повторить подобное обвинение!.. Но я должен высказать удивление, что вижу тебя здесь в этот час.

— Ага! В этом пункте мы совершенно сходимся, — засмеялся гофмаршал.

— До чаю еще далеко, — продолжал Майнау, не обратив внимания на замечание дяди, — при этом бедном освещении ты не могла вышивать, да я и не вижу ни твоей рабочей корзинки, ни книги, которые могли бы свидетельствовать о твоих занятиях... Обыкновенно ты первая удаляешься отсюда, а сюда приходишь всегда последней. Повторяю, что все эти данные заставляют меня крайне удивляться твоему присутствию здесь, и я только так могу его объяснить: под каким-нибудь предлогом тебя вызвали сюда, и ты, Юлиана, поддалась на приманку. Птичка попала-таки в силочку, и я считаю ее погибшей, безвозвратно погибшей. Ты прикована теперь к той руке, которая, разумеется, без твоего согласия и к твоему собственному ужасу оказала тебе любезное одолжение — сжечь компрометирующее тебя письмо... Ты еще не пропала, но все-таки погибла... Зачем ты пришла?!

— Что это значит, Рауль? Что ты за бессмыслицу говоришь? — воскликнул гофмаршал.

Майнау засмеялся так горько и так громко, что стены отозвались.

— Попроси святого отца объяснить тебе это, дядя! Он так долго загонял жирных карпов в

обширные римские сети, что никто не решится осудить его за то, что он хоть раз в жизни пожелал залучить в свою собственную сеть прекрасную, стройную золотую рыбку... Ваше преподобие, ваш святой орден отвергает в новейшее время часто приводимое правило, что «цель оправдывает средства». Может быть, из предосторожности его никогда не писали, но тем сильнее действует оно, как на ухо сказанный лозунг, и я не могу не поздравить вас, что вы эту сделку с совестью умеете применять и к частным интересам... Неужели эти прекрасные уста должны только творить молитву, перебирая четки?

– Признаюсь, я не понимаю, что вы этим хотите сказать, господин барон, – возразил священник совершенно непринужденно.

Он имел время принять спокойную и даже вызывающую позу, хотя по его горевшим мезью глазам и бледному лицу было видно, что он вовсе не так равнодушен, как желал казаться.

– Глупости!.. Я решительно не понимаю, с какою целью ты все это говоришь, – заметил старик, нетерпеливо ворочаясь в своем кресле.

– Зато я понимаю, Майнау, – проговорила молодая женщина как уничтоженная.

Потом она молча подняла руки к небу: ей казалось, что вместе с признанием падет огонь на ее голову.

– Комедия! – крикнул гофмаршал своим пронзительным голосом и с негодованием отвернулся; но священник подошел к нему неверными шагами.

– Не грешите, господин гофмаршал! – сказал он строго и повелительно. – Эта бедная, измученная женщина находится под моим покровительством. Я не допущу, чтобы небесную чистоту ее души...

– Ни слова больше, ваше преподобие! – воскликнула возмущенная Лиана со сверкающими огнем глазами. – Вы ведь знаете, что я «одним поворотом головы становлюсь выше ничтожества», вы знаете, что я «высокомерна, как ни одна природная аристократка, в жилах которой течет герцогская кровь»! Все это слова, только что произнесенные вами! И вы, непрощенный, все-таки осмеливаетесь защищать меня? Разве вы не знаете, что графиня Трахенберг не потерпит такой навязчивости, а с достоинством отвергнет ее?.. Тут пред вами, господин гофмаршал, стоит комедиант, неподражаемый актер! – она указала на священника. – Решайте с ним, как знаете. Пусть он объяснит вам все, что случилось здесь в зале, как вам и ему будет удобнее. Я считаю напрасным трудом и унижением моего достоинства сказать хоть одно слово в свое оправдание. Она быстро повернулась и подошла к мужу; теперь они стояли друг против друга.

– Я удивляюсь, Майнау, – сказала она; как ни твердо и энергично звучал за минуту пред тем ее голос, теперь в нем слышалось как будто рыдание. – Несколько дней тому назад я могла бы оставить Шенверт, не сказав и тебе ни слова в свое оправдание; но с тех пор как я глубже заглянула в твою душу, я ближе узнала ее; я уважаю ее, хотя, к моему глубокому сожалению, я сегодня должна снова убедиться, насколько ты можешь быть слабым и ослепленным и как искажен твой взгляд на вещи, если ты веришь тому, что говоришь... Сама я, конечно, не могу ни устно, ни письменно изложить тебе настоящее положение дел, но у меня есть сестра и брат, от них ты услышишь обо мне.

– Она направилась к выходу.

– Ради Бога, Рауль, без скандала! Надеюсь, ты не согласишься этой хитрой интриганке! Заклинаю тебя памятью твоего отца, не позволяй вооружать себя против верного друга нашего дома! О Боже, дорогой, достойнейший святой отец, уведите меня скорей отсюда, скорее в мою спальню! Мне очень худо! – слышала Лиана громкие тревожные возгласы гофмаршала, когда затворила за собою дверь.

На самом же деле один актер стоил другого: это притворное нездоровье было только предлогом, посредством которого гофмаршал хотел избавить своего друга и поверенного от столкновения с раздраженным Майнау.

Глава 21

С горькою улыбкой, едва сдерживая душившие ее слезы, сходила молодая женщина с лестницы. Три человека, оставленные ею наверху, может быть, будут в течение нескольких дней враждовать между собою, но время и этикет не замедлят примирить их; бездна же, в которую ввергли несчастную женщину, скоро, очень скоро сомкнется над ее головою, и кто тогда вспомнит о разведенной жене? В высшем свете неприятные происшествия необыкновенно быстро порастают травой забвения.

В гардеробной перед трюмо горели лампы. Ганна предполагала, что ее госпожа, во всяком случае, переоденется к чаю и заменит легкое летнее платье более теплым, так как на дворе стало холодно и сыро. Белая фарфоровая печка, топившаяся исключительно в это время года, распространяла приятную теплоту, а сквозь отверстие в медной дверке ее падал на ковер красноватый отблеск горевшего в ней угля. И в этот уютный, приветливый уголочек вошла в последний раз молодая женщина с разбитым сердцем и помутившимся взглядом, чтобы приготовиться к отъезду... Она отпустила горничную ужинать в людскую и заперла за нею дверь, которая вела на колоннаду.

Почти все окна были уже закрыты ставнями, только в голубом будуаре оба окна стояли открытыми. Лиана всегда сама затворяла их из предосторожности, чтобы чужие, неумелые руки не повредили ее прекрасных азалий... Дождь шумными потоками лился на землю. Холодный сырой воздух, врываясь в открытое окно, веял на атласные стены. По временам буря выла еще яростнее, и дождь лился тогда с удвоенною силой. Эоловы арфы то звучали сильнее от порывов ветра, то заглушались шумом дождя и замирали где-то в саду.

С минуту Лиана простояла у открытого окна; она невольно содрогнулась при мысли, что в такую ужасную погоду и притом ночью ей приходится покинуть замок и идти пешком. Она хотела уйти из Шенверта так тихо и незаметно, чтобы никто не мог даже знать, когда она ушла. Она ни одной ночи не могла более оставаться под кровлею того, кто считал ее неверною и погибшею безвозвратно. Масса взведенных на нее оскорбительных обвинений и вероломные действия священника лишили ее всякой возможности доказать свою невинность, так что только опытная в хитрости и коварстве женщина могла бы выпутаться из этой интриги; ей же, беспомощной по чистоте ее души, остался только один исход: бежать к Магнусу и Ульрике и им поручить свою защиту.

Она заперла окно и опустила штору; вдруг раздались торопливые шаги в передней, и сильная рука взялась за ручку двери, но голубой будуар был заперт... Лиана прижала руки к сильно бьющемуся сердцу. Майнау стоял в передней и требовал, чтобы его впустили... Нет, ни за что на свете она не увидит его больше! Он сделал эту встречу невозможной.

Майнау стал с силою стучать в дверь.

– Юлиана, отвори! – кричал он повелительно. Она словно окаменела; не было слышно даже ее дыхания, только глаза тревожно скользили по платью, боясь, чтобы какая-нибудь складка не шевельнулась и не выдала ее присутствия.

Два раза он позвал ее, сильно дергая дверь. Потом он пошел назад и с силой распахнул обе половинки большой двери, ведущей на колоннаду; но Лиана не слыхала, чтобы она снова затворилась, – очевидно, Майнау удалился в сильном негодовании.

Облегченно вздохнув, Лиана снова вошла в гардеробную, но о чем она плакала? Ей самой стыдно было своих слез. Есть ли на свете что-нибудь непоследовательнее и загадочнее женского сердца? Не было ли оно теперь готово разорваться от невыносимой муки?.. Она закрыла лицо руками, как будто чей-нибудь насмешливый взгляд мог заглянуть в ее душу, обманывать же самое себя было невозможно. Если бы он теперь вошел к ней, то, пожалуй, она была бы настолько слаба, что сказала бы ему: «Я удаляюсь, но знаю, что никогда не забуду тебя...» Какое торжество было бы для его демонического характера! Значит, действительно ни одна женщина не умела противостоять ему. Даже она, с которою он держал себя так холодно, чтобы не допустить никакого сближения, на которой женился только для того, чтобы жестоко отомстить другой, все еще горячо любимой, и которой хотя и дал свое имя, но предоставил в своем доме только место гувернантки, – даже и она, забыв свою гордость и свое женское

достоинство, готова была сказать ему: «Я никогда не забуду тебя...» Нет, слава Богу, он ушел. Он не видел своей победы и никогда не узнает о ней. На лице ее вдруг появилось суровое, чуждое ей до сих пор выражение. Она мысленно представила себе серых рысаков, остановившихся у герцогского дворца; видела Майнау, смело правившего ими и потом стоявшего у подножки кареты, и эту высокопоставленную, самую гордую женщину в государстве, выходявшую из кареты и опирающуюся на его руку, – может быть, это возвращение решило судьбу обоих. Молодая женщина была так огорчена, что в душе ее явилось подозрение, что Майнау с намерением, против своего убеждения, обвинял ее в неверности, чтобы ускорить развод... О Боже, но к чему же эти убийственные мысли! Ведь не любовь же терзает ее сердце – от этого чувства ее сохранила фамильная трахенбергская гордость? Она только не могла в эту минуту преодолеть горячего желания обладать его дружбой; но как только вернется домой, она скоро сладит с собой... Лиана открыла ларчик с бриллиантами, чтобы еще раз проверить их по описи, точно так же пересчитала свертки с золотом, – она не дотрагивалась ни до одного из них. Потом положила оба ключа в конверт, запечатала его, написала на нем имя Майнау и оставила на письменном столе. Некоторые вещи, до которых не хотела, чтобы касались посторонние руки, она уложила в маленький ящик, остальное же предоставила переслать горничной.

Среди этих приготовлений прошло около двух часов. Она подняла штору в голубом будуаре; на дворе было совершенно темно; свет от стоявшей за ней лампы падал на усыпанную гравием площадку и отражался в лужах, вода которых была покрыта пузырями от дождевых капель. Ливень прекратился, но буря все еще свирепствовала с удвоенной силой по дворам, дворикам и колоннадам огромного замка, точно радуясь, что, наконец освободившись, она могла на просторе завывать в обширных шенвертских парках.

Теперь пора было идти. Лиана надела темное платье, черное бархатное пальто и накинула на голову капюшон. С горькими слезами вошла она в спальню Лео и склонила голову на его подушку, около которой сидела каждый вечер, пока сладкий сон не смыкал блестящих глаз ее резвого любимца. Он был теперь у деда и не предчувствовал, что ее слезы орошали его подушку и что она, которую он боготворил всею силою своего пылкого сердца, готовилась в бурную ночь покинуть Шенверт, чтобы никогда более не возвращаться в него.

Неслышно отодвинула Лиана задвижку у двери голубого будуара и вышла, но тотчас же с испугом отступила назад; она думала выйти в совершенно темную переднюю, а между тем в ней горела большая висючая лампа и в широко растворенную парадную дверь врывались целые потоки света из освещенной газом колоннады... Она остановилась, едва дыша от страха; яркий свет газа и темная бархатная одежда придавали ей волшебную прелесть, но резкое выражение, появившееся сегодня вечером на ее обыкновенно кротком лице, стало еще резче, когда глазам ее представился Майнау, стоявший, скрестив руки на груди, в нише окна.

– Ты заставила меня долго ждать, Юлиана! – сказал он спокойно, как будто речь шла об условленной поездке в театр или концерт.

При этом он быстро подошел к дверям и захлопнул их: ясно, что он оставил их отворенными для того, чтобы видеть колоннаду и таким образом помешать жене уйти через гардеробную.

– Ты хочешь еще прогуляться? Он задал этот вопрос со свойственным ему сарказмом, но глаза его горели зловещим огнем.

– Как видишь, – ответила она холодно и подвинулась в сторону, чтобы беспрепятственно пройти в дверь.

– Странное желание в такую погоду! Слышишь, как воеет буря? Ты не дойдешь и до первой лужайки в саду, будь в этом уверена! Все дороги затоплены, предостерегаю тебя, Юлиана!.. Из-за этого каприза ты непременно приобретешь себе насморк или ревматизм.

– К чему эта комедия? – сказала она совершенно спокойно и остановилась. – Ты очень хорошо знаешь, что тут и речи нет о «капризе». Я тебе еще наверху сказала, что сегодня же хочу уехать, и ты видишь меня на пути...

– В самом деле? Ты хочешь, как ты есть, в бархатном пальто и с дождевым зонтиком в

руках путешествовать пешком вплоть до Рюдисдорфа?

Она слабо улыбнулась.

– Только до столицы: поезд отходит в девять часов.

– Ах, да! Отлично! В Шенверте конюшни полны лошадей, а сараи – покойных и красивых экипажей; но госпожа баронесса предпочитает оставить дом *per pedes* потому...

– С той минуты, как я ушла сверху, с намерением никогда больше не входить туда, я уже не член семейства в этом доме, а потому и не признаю за собою права распоряжаться чем бы то ни было.

Холодно улыбнувшись на ее возражение, Майнау, возвысив голос, продолжал прежде начатую речь:

– Уж не для того ли, чтобы завтра утром ходил в столице из уст в уста следующий, горестный и волнующий душу рассказ: «Бедная молодая баронесса фон Майнау! Ее до того измучили в Шенверте, что она ночью оставила его; гонимая бурей, блуждала она по лесу, пока не упала без чувств у самой дороги, с окровавленным, бледным, страдальческим лицом и с растрепавшимися великолепными золотыми косами...»

Но, не dokonчив фразы, он заступил ей дорогу, потому что она, возмущенная его речью, в негодовании сделала быстрое движение, чтобы пройти мимо него в дверь.

– При такой рассудительности и зрелом уме, как у тебя, при таком взгляде на вещи – и вдруг такая невероятная наивность, Юлиана, – продолжал он, но ни в его лице, ни в голосе не было и следов прежней насмешки. – Ты мыслишь, как мужчина, а поступаешь вдруг, как испуганное дитя. Когда нужно сказать правду или помочь другим, ты исполнена героизма и твой язык подобен острию меча, а в деле собственной защиты ты сбиваешься с пути, как страус, который при виде опасности прячет голову. Ты чувствуешь себя невинною, а между тем хочешь бежать! Разве ты не знаешь, что этим поступком ты вызываешь против себя осуждение всего света? Женщину, которая одна ночью навсегда покидает дом своего мужа, будут всегда считать бежавшею! Это звучит резко и оскорбительно для твоего нежного чувства, не правда ли?... А все-таки я иначе выразиться не могу.

Он взял ее руку, но ее пальцы так крепко держались за ручку двери, что ему надо было бы силою сжать ее. Лицо его вдруг приняло какое-то своеобразное выражение ожидания и вместе с тем вспыхнуло таким необузданным гневом, что она испугалась, но все это, однако, не помешало ей сказать твердо и спокойно:

– Не забывай, что я при двух свидетелях предупредила тебя о моем удалении, а потому о «бегстве» не может быть и речи... Злые же языки могут говорить, что им угодно... Боже мой! Какое же значение имеет для света моя личность? Я не так тщеславна, чтобы воображать, что он долго будет заниматься мною, да он при всем своем желании и не мог бы: я схожу со сцены... А теперь прошу тебя, пропусти меня! Прощаться с тобою в другой раз я не стану, мы оба не сентиментальны.

– Нет... но только у меня, бедняка, есть в груди вздорное, беспокойное «нечто», которое возмущается.

Он отступил от двери.

– Дорога свободна, Юлиана, то есть она свободна для нас обоих. Ты, конечно, не думаешь, чтобы я отпустил тебя одну предстать пред судьей, который вдобавок будет держать сторону обвинительницы? Ты хочешь поручить наш развод сестре и брату; хорошо, но я хочу быть при этом... Я велю заложить карету, потому что поеду сам с тобой, – пусть рассудительная и мудрая Ульрика решит...

– Как, Майнау, ты решаешься на это? – воскликнула она с испугом.

При ее быстром движении капюшон свалился с головы, растрепавшиеся волосы блестящими волнами рассыпались по черному бархату, зонтик упал на пол. Она сложила руки и приложила их к груди.

– Много пережила я горя в твоём доме, однако никогда не хотела бы видеть тебя пред строгим судом Ульрики: я не вынесла бы этого... Что ответишь ты ей, когда она спросит тебя: ради чего ты искал руки ее сестры? Что ты затеял все это из мести к другой женщине, что

своею помолвкой с графиней Трахенберг хотел пред лицом целого двора поразить герцогиню в самое сердце...

Майнау стоял пред нею с мрачным, бледным лицом. Медленно и как-то машинально поднял он правую руку и заложил ее за пуговицы сюртука. Его молчание и поза придавали ему вид человека, который считает себя совершенно погибшим и с притворным спокойствием ожидает решения своей участи.

– И что же дальше? – спросила она неумолимо. – Тебе придется продолжать: «После того привез я несчастную статистку, с которой ради приличия нельзя было скоро развязаться, в своей дом, навьючил на нее драгоценные уборы, ткани, начертал ей программу действия вроде того, как заводят часы, и поставил ей в обязанность неуклонно следовать ей в мое отсутствие... Я знал, что глава моего дома – больной, ожесточенный старик и что только относительно его исполнение моих предначертаний представляет собой колоссальную задачу, что для этого нужно беспримерное самоотвержение, совершенное отсутствие гордой крови и впечатлительных нервов, а все это, само собою разумеется, можно было найти у куклы, носящей мое имя, обедающей за моим столом и живущей под моею кровлей».

Она замолчала, задыхаясь, полураскрыла рот и откинула назад голову, как бы освобождаясь от тяжелого бремени и гнетущего горя, терзавшего ее сердце за все время, проведенное ею здесь.

– Ты кончила, Юлиана? И конечно, позволишь теперь мне отвечать Ульрике? – спросил он тихо, с невыразимою нежностью в голосе, от которого до сих пор женщины «трепетали, как овечки».

– Нет еще, – сурово ответила молодая женщина.

Она в первый раз испытала месть и почувствовала, как сладко платить холодностью за холодность, презрением за пренебрежение; она невольно увлеклась и не предполагала, что сквозь это горячее чувство мести проглядывала безнадежная страсть...

– «Этот бедный автомат со своим вечным вышиванием и вокабулами на устах против собственного желания поступил бестактно, слишком затянув свой дебют в доме Майнау, продолжала она запальчиво. – Он упустил настоящий момент, когда мог с достоинством удалиться, а потому заставил других прибегнуть к крайнему средству – к оскорбительным обвинениям, чтобы скорее от него избавиться».

– Юлиана!.. – Он наклонился к ее лицу и заглянул ей в широко раскрытые глаза, смотревшие на него с неподвижностью высшего нервного возбуждения. – Как грустно мне знать, что твой светлый разум впал в такое ужасное заблуждение! Но я сам виноват: я слишком долго оставлял тебя одну, и хотя во всем прочем готов отдать отчет Ульрике, но в этом не могу... Юлиана, не смотри на меня так пристально, – просил он, привлекая к себе ее руки, – ты ужасно взволнована и можешь заболеть.

– Тогда оставь меня, – ведь ты не можешь видеть больных людей.

Она старалась высвободить свои руки, между тем как губы ее дрожали от душевных страданий.

Майнау в отчаянии отвернулся. Куда ни обращался он, он всюду с неумолимой жестокостью, как в зеркале, видел в неприглядной наготе весь свой дурной, испорченный характер. Лиана тщательно запомнила все его жестокие выражения. Он так умел блистать в разговоре, для него в обществе не существовало ни преград, ни неудач; он все бичевал своим колким остроумием, своей едкой насмешкой; а здесь, при столкновении с честною, но по его собственной вине ожесточенною женскою натурой, терпел этот блестящий светский человек полнейшее поражение. Молча протянул он руку к звонку, но она быстрым движением предупредила его.

– Не делай этого, Майнау! Я не поеду с то бой, – сказала она мрачно и решительно. – К чему переносить все эти неприятности в Рюдис-дорф? Я не должна допускать это уже ради моего милого робкого Магнуса, которого эти громкие неприятные сцены сильно огорчили бы. А мама?.. Мне предстоит, по моем возвращении, перенести жестокую борьбу с нею – я знаю это, но я предпочитаю лучше выдержать ее одной, чем в твоём присутствии. Она тотчас примет

твою сторону; в ее глазах я останусь виновною до конца жизни; ты, которому все завидуют и которого все носят на руках, – владетель Шенверта и Волькерсгаузена и прочее, а я, обедневшая девушка, едва имеющая право на каноникат; впрочем, я сама виновата в том, что не умела достойным образом занять завидного положения! – При этих словах какая горькая, раздирающая душу улыбка мелькнула на губах молодой женщины! – Вот именно поэтому-то мама употребит все усилия, чтобы воспрепятствовать совершению нашего развода, а ведь мы оба только того и добиваемся.

– В самом деле, Юлиана? – Он гневно засмеялся. – Если я захочу приобрести силою то, чего мне ни за что не хотят дать добровольно, то я поручу твоей матери рассудить нас, но пока пусть Ульрика останется высшею инстанцией... Я не утаю от нее ни йоты из моей громадной вины. Я расскажу ей, как царственная кокетка играла мною и как своею неверностью сделала меня таким, каков я теперь, – легкомысленным насмешником, бессовестно играющим женщинами, беспокойным бродягою, который бросался в вихрь недостойных наслаждений, чтобы забыть об оскорблении, нанесенном его самолюбию и мужской гордости. Пусть Ульрика узнает также и то, что я не имел ни малейшего сочувствия к неверной, но жаждал только мести; может быть, Ульрика глубже, чем ты, заглянет в душу раздраженного и глубоко оскорбленного человека... Я скажу ей: «Это правда, Ульрика, что я действительно женился на твоей сестре для того, чтобы отплатить герцогине и удовлетворить свою месть, но также и для того, чтобы положить конец ненавистой страсти, которую питала ко мне эта женщина».

Он замолчал в надежде услышать хоть одно слово одобрения, но губы молодой женщины не шевельнулись – казалось, она окаменела от этих признаний.

– «Я был совершенно равнодушен к молодой девушке, которую едва заметил при первой встрече, – продолжал он взволнованным голосом. – Если бы я тогда заметил ее красоту и ум, я тотчас бы удалился. Я не хотел заковывать себя новыми цепями, я искал только кроткую женщину, которая могла бы быть представительницей моего дома, терпеливо бы ходила за больным брюзгливым дядей, руководила бы воспитанием моего сына и умела примениться к раз установленному порядку в доме; признаюсь, я был жестоким эгоистом... Во мне снова проснулась страсть к путешествиям, явилась жажда к всевозможным приключениям, в том числе и с хорошенькими, пикантными женщинами; казалось, я был поражен слепотою... Белая рюдисдорфская роза уже в первый день показала мне свои острые шипы, которых я испугался, неожиданно наткнувшись на непреодолимую гордость... Но она была также умна и далеко превосходила меня в благоразумии; она умела скрывать свою телесную красоту точно так же, как и свой возвышенный ум; ей не пришлось на ум шевельнуть даже пальцем, чтобы расположить в свою пользу человека, который пренебрег другим человеком. Так и жил вдаль от нее, хотя и под одной кровлей, равнодушный, насмешливый, и только по временам чувствовал на себе ее молниеносные взгляды. Я должен был смеяться над шуткой Немезиды, когда бы мне не было так невыносимо горько!.. Не ужасно ли, Ульрика, – скажу я, – что человек, который в своем непростительном ослеплении мог сказать: „Любить ее я не могу“, готов теперь преклонить перед твоей сестрой колени и просить прощения? Не смешно ли, что он вымаливает и добивается того, от чего сам с пренебрежением отказался?.. Она хочет покинуть мой дом и, исполненная справедливого негодования, совершенно не понимает меня. Другая, более опытная женщина давно бы угадала, что со мною делается, и, великодушно простив вероломного, избавила бы его от тягостного сознания своего полнейшего поражения; но она невозмутимо проходит мимо, не замечая, что именно попирает ногами, и мне ничего более не остается, как сказать ей прямо, что я буду глубоко страдать и душой и телом, если Юлиана покинет меня!»

Уже в начале своей исповеди он вдруг отошел к окну и во все время ни разу не взглянул на молодую женщину. Теперь он обернулся к ней.

Закрыв правую руку глаза, она старалась опереться на ближайшее кресло; казалось, от изумления она готова была лишиться чувств.

– Велеть подавать карету? – спросил он, подходя ближе; его губы были бледны, он едва переводил дух. – Или, может быть, Юлиана слышала меня и сама решит...

Крепко сжала она руки и затем бессильно опустила их; неужели не обрушится на нее

потолок при этом неожиданном обороте?

– Скажи только «да» или «нет», положи конец мучению! Ты останешься у меня, Юлиана?

– Да.

Это «да» едва слышно вылетело из ее уст, а между тем произвело магическое действие на Майнау. Молча взглянув на нее и как будто избавившись от смертельного страха, он заключил в объятия трепещущую молодую женщину, расстегнул на ней пальто, далеко отбросил его на пол и поцеловал ее в губы.

– Это наша помолвка, Юлиана. Я прошу твоей руки с глубокой, искренней любовью! – сказал он с серьезной торжественностью. – Теперь делай из меня что хочешь. У тебя будет достаточно времени убедиться, в состоянии ли ты когда-нибудь полюбить меня, которого ты в эту минуту прощаешь только по женскому великодушию... Если бы кто-нибудь полгода назад сказал мне, что я буду побежден женским характером?! Но, слава Богу, я еще довольно молод, могу изменить свой жизненный путь и быть еще счастливым. Теперь, когда я обнимаю твой стан и ты не отталкиваешь меня ни взглядом, ни движением, ты моя. Лиана.

Он ввел ее в голубой будуар.

– Боже, какое волшебство! – воскликнул он, окинув взглядом атласные стены будуара и с восторгом остановив его на милом лице своей молодой жены. – Неужели в самом деле это та самая ненавистная комната, пропитанная одуряющим запахом жасминов, с мягкой мебелью, приют беспечной лени?

На столе горела только одна лампа под красным абажуром; розовый отблеск ее слабо отражался на атласных складках драпировки. Прежде Майнау видел эту комнату совершенно иною, почти при волшебном освещении. Лиана слышала от Лео, что комнаты «первой мамы» были всегда залиты целым морем огней. С сильно бьющимся сердцем сказала она себе, что это заря нового счастья, которая представляет ему все в таком светлом виде. Ей и самой казалось, что в темной нише окна даже чашечки азалий светятся магическим блеском и как будто шепчутся между собою. Они, которые она лелеяла среди всех своих мучений и борьбы, видят ее тихое счастье лучше, чем он, считавший себя нелюбимым.

– Еще один и последний вопрос относительно происшедшего. Лиана, – сказал он со страстной мольбой, прижимая к груди ее руки. – Ты знаешь, что было причиной моей жестокой, безумной несправедливости к тебе сегодня там, наверху; ты знаешь, что на самом деле я никогда не считал тебя виновною, иначе я не был бы теперь здесь!.. Ядовитое дыхание ненавистного черноризца не смело коснуться тебя, – в этом я готов присягнуть, а между тем... Я не могу быть покоен, Лиана! Мне давит горло, когда я среди своего счастья вспоминаю ту загадочную минуту, как я увидел тебя с испуганным лицом, стоящую в полумраке, и услышал его голос, вызывающий к дяде о молчании... Что привело тебя в необычный час в полутемную комнату?

И она, задыхаясь от волнения, стала передавать ему все ясно и отчетливо. Она описала ему, как, по намеку Лен, открыла подлог.

Узнав об обмане, которому он невольно столько лет способствовал, Майнау окаменел: он был бессовестным образом одурачен; интриган иезуит шутя водил его на помочах и заставлял действовать по усмотрению своей хитрой головы. А бедный мальчик, отвергнутый благодаря записке как незаконнорожденный самого низкого происхождения, проводил свои лучшие детские годы всеми презираемый в замке, принадлежавшем человеку, которого он был единственным сыном!..

Лиане показалось, что она слышит скрежет зубов – такой необузданный гнев исказил лицо Майнау: это было слишком жестокое пробуждение от слепого доверия!

Но вот дошла очередь до того момента, когда священник бросил письмо и записку в огонь. Скромность не допустила ее повторить его страстных излияний, и она только мельком намекнула на причины его вероломного поступка. Майнау вышел из себя: он как бешеный бросился в соседний зал и зашагал там взад и вперед, потом вдруг возвратился и привлек молодую женщину в свои объятия.

– И я, несчастный, мог оставить тебя одну в когтях тигра, чтобы покровительственно

сопровождать эту презренную женщину! – жаловался он.

Она кротко успокаивала его, и с этой минуты началась ее миссия жены и верного друга. Вдвойне отрадно звучал успокаивающий женский голос в тех самых комнатах, которые не раз были свидетелями горячих супружеских размолвок. Как стыдливо сдержанна и вместе с тем как ласкова была эта вторая жена и как непохожа на капризное существо, которое то лежало здесь по целым дням на мягких подушках, съезжившись, подобно котенку, то, как грациозный, но злобный гений, порхавшее тут, растапывая цветы своим маленьким каблучком или расправляясь своими аристократическими ручками с провинившеюся женскою прислугой...

Все это, может быть, промелькнуло в душе Майнау; он невольно поддался новому очарованию и сделался спокойнее.

– Еще раньше была у меня мысль тотчас же перевезти тебя и Лео в Волькерсгаузен, а самому вернуться в Шенверт и навсегда изгнать из него нечистого духа, – сказал он, и в его голосе звучали еще отголоски внутренней бури. – Вся кровь кипит во мне при мысли, что этот негодяй спокойно сидит теперь наверху, в спальне дяди, тогда как, несмотря на ночь и ветер, его следовало бы вытолкать за дверь... Но я знаю, что с такими людьми ничего не добьешься прямым путем: он человек пропащий, хотя бы за него и стояли все законы. Видишь ли, моя любимая, дорогая Лиана, первое блистательное действие твоего влияния: я сдерживаюсь; но это дорого обойдется черноризцу: око за око, зуб за зуб, святой отец! Хочу и я раз в жизни похитрить, во имя дяди Гизберта, против сына которого я тяжело виноват. Даже дядя гофмаршал – этот старик со своим умом и придворною проницательностью – был тоже одурачен запиской, как и я, что меня, конечно, немного утешает.

Майнау непоколебимо верил в честность больного старика. Лиана трепетала: с этой минуты, когда Майнау брал на себя защиту Габриеля, ничто не обязывало и Лен молчать... Какое горькое разочарование готовилось ему!

– Если бы я теперь захотел изложить ему настоящее положение дел, то он просто осмелел бы меня и потребовал бы неопровержимых доказательств, – продолжал Майнау. – А потому я возьмусь за это дело иначе... Лиана, как ни тяжело мне, а надо нам на некоторое время сохранять по наружности прежние отношения. Можешь ли ты принудить себя и завтра снова приняться за свои хозяйственные обязанности, как будто ничего не случилось?

– Попробую. Ведь я твой верный товарищ.

– О, нет! Наше товарищество кончено, условие, которое мы заключили на другой день нашей свадьбы, давно нарушено и уничтожено. Между товарищами всегда существует некоторого рода снисхождение, а я сделался нестерпимым и в товарищи не гожусь. Даже Лео возбуждает во мне порой враждебное чувство, когда так мило скажет «моя мама», а имена Магнуса и Ульрики в твоих устах возбуждают во мне просто ревность. Мне кажется, что я никогда не примирюсь с этими именами. Впрочем, будь спокойна, я буду охранять тебя не хуже твоего ангела-хранителя и ни на минуту не оставлю тебя, пока не очистится воздух от хищника, который добирается до моей стройной лани.

Прислуга, встретившая его через несколько минут в коридорах замка, никак не подозревала, что на его строго сжатых губах горели еще поцелуи помолвки и что возбуждавшая их сожаление вторая жена только что сделалась «полною госпожою его дома»... А когда, полчаса спустя, несмотря на дождь и бурю, священник обходил вокруг замка, он увидел тень Майнау, ходившего взад и вперед по ярко освещенному кабинету, а внизу, в будуаре, сидела Лиана за письменным столом и что-то писала... Значит, эти два человека даже не чувствовали потребности объясниться друг с другом. Священник, который, подобно робкому, но алчному хищному зверю, разгоревшимся взглядом искал за слегка притворенными ставнями роскошные золотистые косы, считал победу за собою.

Глава 22

Буря, превратившаяся к вечеру в ураган, свирепствовала далеко за полночь. Почти никто из прислуги замка не ложился спать. Боялись, чтобы не снесло даже тяжелой мозаикой

крыши замка; что же удивительного, если легкая бамбуковая крыша индийского домика была вся разметана!

Наутро солнце весело вошло на безоблачном небе, ярко освещая землю, опустошенную бурей; деревья стояли неподвижно, прямо, но печально; им жаль было оторванных и далеко отброшенных ветвей, старых снесенных гнезд, укрывавшихся в их покровительственной тени, а листья их шелестели, колеблемые легким ветерком...

В кухне замка собралась прислуга, и все передавали друг другу, что Лен похожа на привидение; страшная буря навела ужас даже и на эту суровую женщину, которую ничто на свете не могло смутить: она всю ночь не спала в индийском домике и была свидетельницей, как снесло крышу над ее головой. Только небесные звезды освещали комнату сквозь пробитые в потолке отверстия, потому что по случаю сильного ветра во всю ночь нельзя было зажигать огня: ветер тушил его. Никаких поправок нельзя было производить в доме, потому что малейший шум мог потревожить умирающую индианку... Истинно верующие говорили, что вот и причина страшного урагана: когда «отходит» некрещеная душа, в природе всегда происходит борьба.

Лиана тоже не спала до самого утра. Но не буря, конечно, мешала ей спать, – вся душа ее была как бы в лихорадочном состоянии: какое несказанное блаженство сознавать себя так горячо любимой!.. Она торопливо распаковала маленький ящик и опять положила каждую вещь на свое место; ключи тоже вынула из адресованного на имя Майнау конверта, который тотчас же сожгла, так как никто не должен был знать о том, что она хотела бежать отсюда... Потом она написала Ульрике, передав ей в кратких словах все свои неприятности и страдания вплоть до счастливой развязки.

Она заснула только под утро; этот короткий сон необыкновенно освежил ее. Когда горничная подняла шторы и открыла ставни, то Лиане показалось, что она во всю жизнь не видала такого синего неба и не дышала таким бальзамическим воздухом даже и в Рюдисдорфе, где она проводила утра с дорогими ее сердцу Магнусом и Ульрикой... С намерением надела она фиолетового цвета платье, которое, по словам Ульрики, «было ей к лицу»... О, она сделала за ночь кокеткой, ей хотелось нравиться Майнау!

По обыкновению держа Лео за руку, вошла она к завтраку в столовую. Она знала, что ее ожидали оскорбления со стороны гофмаршала, к которому она вчера презрительно повернулась спиной, а сегодня вдруг опять являлась поить его утренним шоколадом. Необходимо было вооружиться стоическим мужеством и терпением... Ей, конечно, не было известно, что говорил вчера вечером священник гофмаршалу в спальне и как он выпутался из дела. В девятом часу Ганна привела Лео, который все время находился в комнате дедушки; но из всей его болтовни она вывела только заключение, что между священником и гофмаршалом не произошло никакого оживленного разговора, и все обошлось мирно и тихо, и они даже играли в шахматы.

При входе в столовую Лиана невольно вспомнила первое утро, проведенное ею в Шенверте. Гофмаршал сидел у камина, а только что, по-видимому, вошедшая Лен стояла в нескольких шагах от него. Не обратив внимания на неловкий поклон ключницы, он оперся обеими руками на ручки кресла, наклонился вперед и смотрел на вошедшую Лиану щурясь, как будто не веря своим глазам.

– Ах, это вы, баронесса! – воскликнул он. – Я и вчера еще подумал, когда вы так... так грубо оставили нас, объявив о своем намерении отправиться в такую непогоду в давно задуманное путешествие, домой, что, успокоившись, вы наверно примете другое решение... Еще бы, в такую бурю! А потом вы, конечно, и то обсудили, что такое внезапное удаление из нашего дома, без всякого судебного решения, значительно сократит ваши материальные средства; вы очень умны, баронесса.

Она хотела было молча уйти, чувствуя, что ее задача была ей не по силам. Где Майнау? Он обещал не оставлять ее ни на одну минуту... Лео с удивлением заметил ее нерешительность; ребенок не понимал, какие оскорбления вместо утреннего приветствия были сказаны его матери. Заметив, что она колеблется, он схватил своими руками ее правую руку и, смеясь, тащил ее в глубину столовой.

– Вот так, вот так, милый мальчик! – весело засмеялся гофмаршал. – Веди маму к чайному столу и попроси для бабушки чашку шоколада: он всего охотнее пьет из ее прекрасных рук, если бы даже от них и пахло жженой бумагой... Что, Лен, – быстро обернулся он к ключнице, как будто хотел предупредить ответ молодой женщины, – правда, говорят, что ночью снесло бурей всю крышу с индийского дома?

– Да, барон, правда, как есть всю снесло.

– И потолок поврежден?

– Да, барон, в нем есть такие дыры, что не знаю, что с нами и будет, если снова пойдет такой дождь, как вчера.

– Очень печально!.. Но в индийском саду ничего не будет ни возобновляться, ни поправляться: чем скорее разрушится эта забава, тем лучше!.. Позаботьтесь, чтобы больную перенесли в маленький круглый павильон.

При этом приказании Лиана взглянула на ключницу: люди были правы, говоря, что «суровая женщина» походила на привидение. От тонкого слуха молодой женщины не скрылось, что она давала короткие и резкие ответы только ради того, чтобы не заметили, как дрожал ее голос.

– В этом нет надобности, барон, – больная сама отправится! – ответила Лен на его приказание с обычной ей неподвижностью во взгляде.

– Как! Что? Вы с ума сошли? – воскликнул гофмаршал; тут Лиана в первый раз увидела, как это старческое лицо вспыхнуло ярким румянцем. – Глупости! Не хотите ли уверить меня, что ее разбитые члены могут двигаться, а парализованный язык – говорить?

– Нет, барон, что умерло, то и останется мертвым... и с заходом солнца ее не станет.

Лен произнесла это ровным голосом, а между тем ее слова пронзали душу.

Гофмаршал отвернулся и стал смотреть в топившийся камин.

– В самом деле? – воскликнул он торопливо. Лиана, готовившаяся подать ему чашку шоколада, поставила ее опять на стол: она не могла принудить себя приблизиться теперь к убийце, который как-то странно то открывал рот, то, словно забывшись, снова устремлял взгляд на свои болезненно скорченные пальцы, сжимавшие костыль... Не восставал ли теперь перед ним изувеченный, умирающий «цветок лотоса», указывая на синие пятна на своей нежной, белой шейке?..

Старик вдруг поднял голову, будто чувствуя на себе взгляд молодой женщины, причем глаза его приняли резкое выражение.

– Ну-с, баронесса, вы видите, я жду своего шоколада, зачем вы опять поставили его на стол? Может быть, потому, что я немного задумался?.. Ба! Мне только показалось, что из золы выглядывает маленький клочок розовой бумажки.

Это было выше сил Лианы, но она скоро ободрилась, так как за дверью послышались шаги Майнау.

Он быстро вошел в комнату. Какая разница между первым и сегодняшним утром! Не мельком взглянул он на нее, как тогда, но, забыв всякую предосторожность, он устремил свой огненный взгляд на ее лицо, как будто не мог от него оторваться. Больной старик в своем кресле не мог этого заметить: он сидел спиной к двери, но Лен была вконец поражена; она из всех сил стала дергать своею жесткою рукою туго накрахмаленный передник и потупила глаза.

– Ты уже здесь, Юлиана? – спросил Майнау небрежно и посмотрел на часы, как будто думал, что ошибся временем. – Вот зачем вызывали меня, дядя, – обратился он к гофмаршалу, подавая ему карточку. – Герцогиня прислала конного с приглашением на концерт сегодня вечером; он ждет внизу ответа... Герцогиня еще вчера говорила, что ее любимая примадонна проездом находится в столице и изъявила готовность петь при дворе. Она приехала днем раньше и завтра уезжает – вот причина этого неожиданного концерта; ты, конечно, принимаешь приглашение?

– Разумеется! Довольно долго пришлось мне коптеть в этом глухом Шенверте. Ты знаешь, что я всегда готов явиться, когда меня требуют ко двору, хотя бы мне пришлось тащиться туда на четвереньках.

Насмешливо улыбаясь, отворил Майнау дверь и передал лакею ответ.

– Это развлечение мне очень кстати, – прибавил гофмаршал. – Опустошения, произведенные бурей в садах, расстраивают меня; кроме того, есть еще и другие неутешительные вещи... Вот Лен, – он тут указал, не оглядываясь, на то место, где стояла ключница, – докладывала мне сейчас, что с «той», в индийском доме, сегодня все будет кончено... Я всегда чувствую себя нехорошо, когда знаю, что у нас в замке находится покойник, оттого я два года назад тотчас же отправил в город в покойницкую убившегося работника; но как поступим мы в настоящем случае?

– Признаюсь, дядя, мне ужасно слышать от тебя такой вопрос. Он в высшей степени возмущает меня! – вскричал раздраженный Майнау. – Как можешь ты так выражаться о человеке, который еще дышит?.. Послали вы за доктором, Лен? – обратился он к ключнице.

– Нет, барон, да и к чему? Он помочь ей не может, а только будет мучить ее разными пустяками... Я говорю: ее души уже нет более на земле, а то бы она не смотрела такими спокойными и неподвижными глазами на Габриеля, который так ужасно рыдает над ней.

– Убирайтесь вы с вашими жалобными причитаниями, Лен! – воскликнул раздраженно гофмаршал. – Если бы вы знали, как не пристало вашему грубому голосу так жалобно стонать, вы и сами замолчали бы. Возмущаешься ты этим, Рауль, или нет, мне все равно, – сказал он, с возрастающим волнением обращаясь к Майнау. – В подобном случае, по пословице «своя рубашка ближе к телу», я не стану скрывать своего отвращения. При подобной обстановке я с ужасом вдыхаю воздух... Я совсем расхвораюсь, если ты не позаботишься, чтобы тотчас же после катастрофы останки были отправлены туда, где их настоящее место, то есть на городское кладбище.

Лиана понимала объявивший старика ужас, сказавшийся как в его голосе, так и в нервной дрожи, пробежавшей по его телу. Он не боялся измученной им души, пока она была прикована к изувеченному телу, но как только она отрешится от него, то, по народному поверью, будет парить над местом своего жилища до тех пор, пока ее тело не будет погребено.

– Женщина будет покоиться в могиле под обелиском, – сказал Майнау серьезно и выразительно. – Дядя Гизберт увез ее из ее отечества, и она была единственной женщиной, которую он любил; итак, по справедливости она должна лежать рядом с ним; а теперь положим конец этому печальному разговору.

– Она по справедливости должна лежать рядом с ним? – повторил старик с хриплым хохотом. – Осмелюсь только, Рауль, и ты узнаешь меня!.. Я ненавижу эту женщину даже мертвую. Она не должна лежать рядом с ним, хотя бы мне самому пришлось лечь между ними.

Что же это такое?... Майнау смотрел широко открытыми глазами на старика, о котором он сказал: «Дядя скуп, в высшей степени одержим бесом высокомерия, он имеет свои мелкие недостатки, но при его обдуманности и холодной натуре он никогда не был игрушкой страстей...» Что же, как не долго сдерживаемая безумная страсть, сказывалось теперь так ужасно в этих энергически протестующих жестах, в этих лихорадочно горящих глазах?

Гофмаршал встал и довольно твердыми и скорыми шагами подошел к ближайшему окну. Он близко прошел мимо Лен, почти касаясь своего тайного, беспощадного врага; глаза его смотрели прямо в пространство; ему и в голову не приходило, что это суровое, бесстрастное лицо тоже могло одушевляться и неумолимо выследить по пятам высокорожденного гофмаршала.

Утренний ветер, врываясь в полуотворенное окно, поднимал над его лбом тщательно причесанные седые волосы; но он, обыкновенно избегавший малейшего дуновения ветерка, как злейшего врага, теперь и не замечал его.

– Я не понимаю тебя, Рауль, – сказал он, стараясь победить свое волнение. – Неужели ты хочешь срамить моего брата и в могиле?

– Если он не считал срамом привлечь к себе индийскую девушку и боготворить ее... – Тут гофмаршал громко засмеялся. – Дядя! – прервал себя Майнау и, угрюмо нахмутив брови, напомнил ему, что он вышел из границ самообладания. – Я только один раз при его жизни был в Шенверте, но знаю, что рассказы людей в замке заставляли тогда лихорадочно биться мое

сердце. Человек, который охраняет предмет своей страсти с такою боязливою нежностью...

Он невольно замолчал при виде зловещего огня, грозно вспыхнувшего в обыкновенно холодных, бесстрастных глазах гофмаршала. Он ведь не подозревал, до какой раны касался неосторожною рукой. Соблазнительная оболочка несчастного «цветка лотоса», с тихими, неподвижными глазами, готовилась умереть и превратиться в прах, человек же, который когда-то с боязливою нежностью нес ее на руках через сады, чтобы ни один камешек не беспокоил ее дивных ножек, давно уже спал под обелиском вечным сном, а он, отвергнутый, все еще мучился бешеной ревностью и до сих пор не мог простить умершему брату, что женщина, внушавшая ему безумную страсть, была достоянием брата...

– Эта «боязливая нежность» была, к счастью, непродолжительна, – сказал он хрипло. – Добрый Гизберт вовремя образумился и отвергнул «знаменитый цветок лотоса» как недостойную.

– Для этого у меня недостает основательных доказательств, дядя.

Как будто вчерашняя буря снова ворвалась в окно и прогнала от него сухую фигуру придворного – так внезапно отскочил гофмаршал от окна и теперь стоял перед племянником.

– Основательных доказательств, Рауль? Они лежат в белом зале, в ящике редкостей, который, к сожалению, сделался вчера жертвою нападения. Мне нет надобности напоминать тебе, что это последняя воля и желание, твердо и неизменно выраженные дядей Гизбертом, были вчера после обеда у тебя в руках.

– И эта записка – единственный документ, на который ты опираешься? – спросил Майнау сурово.

Вчерашняя дерзкая выходка старика по отношению к Лиане заставила его теперь вспыхнуть.

– Да, единственный; но что с тобою, Рауль? Что же может быть на земле действительно, если не собственноручная подпись умирающего?

– Ты видел, как он писал, дядя?

– Нет, сам я не видал: в то время я тоже был болен; но я могу представить тебе свидетеля, который по совести присягнет, что в его присутствии написана каждая буква, – жаль, что час тому назад он возвратился в город!.. Ты за последнее время стал странным образом относиться к нашему придворному священнику...

Майнау почти весело засмеялся.

– Любезный дядя, твоего свидетеля я отвергаю и здесь, и перед законом. В то же время я объявляю этот документ недействительным и подложным. О да, я верю, что святой отец готов присягнуть, – он поклялся даже спасением своей души, что сам обмакивал умирающему перо в чернила, отчего же ему не поклясться? Господа иезуиты всегда сумеют найти себе лазейку на небо, если бы даже и не удостоились быть торжественно принятыми туда в числе святых... Я и на самого себя сержусь, что поступал не так, как должны поступать люди с совестью. Меня тут не было, когда умирал дядя. Как один из наследников его огромного состояния, я должен был бы поступать вдвойне осторожно и осмотрительно, а не позволять утверждать тех распоряжений, которые основывались на клочке бумажки, написанной без законных свидетелей. В подобном случае можно и должно основываться только на ясных указаниях закона.

– Хорошо, мой друг, – согласился гофмаршал; он вдруг сделался спокойнее, но это спокойствие имело что-то зловещее: опираясь обеими руками на костыль, он устремил свои маленькие блестящие глаза на прекрасное лицо племянника. – Так потрудись назвать мне закон, под покровительством которого находится женщина в индийском домике? Она свободна как птица, потому что не была законною женой моего брата... Если бы мы стали придерживаться «ясных указаний закона», то имели бы право тотчас же вытолкнуть ее за порог, потому что не было законного завещания, в силу которого она имела бы право на кусок хлеба или приют в Шенверте. Если мы в этом случае не придерживались буквы закона, то и в другом случае не обязаны держаться ее.

– Да разве это логично, дядя? Значит, потому, что мы не были дьявольски жестоки, нам

представляется право поступить жестоко в силу незасвидетельствованного последнего распоряжения?.. Положим, что дядя Гизберт действительно составил и написал документ и отвергнул женщину, потому что Габриель не сын его, что ж, спрашиваю я, давало ему право произвольно распоряжаться судьбою чужого ребенка?.. Я еще был молодым и неопытным человеком, когда умер дядя Гизберт. Разве я мог тогда думать о законе и тщательном исследовании дела? Для меня довольно было и твоих слов, чтобы поверить, что индианка осмелилась быть неверною, и возненавидеть ее, потому что я искренно любил дядю... Только это некоторым образом и извиняет меня. Впоследствии мальчик своею рабскою покорностью утвердил меня в мысли, что в его жилах нет ни капли гордой, властной крови Майнау; я, как собаку, толкал его ногою со своей дороги и всегда одобрял распоряжение, предназначавшее его в монахи. Теперь же я каюсь в моем недостойном заблуждении.

За этими торжественными словами последовала глубокая тишина. Даже Лео инстинктивно почувствовал, что через минуту произойдет разрыв в доме Майнау, и, прижавшись к молодой женщине, наклонил набок головку и устремил широко открытые глаза на строго-серьезное лицо своего отца.

– Не будешь ли ты так добр высказаться яснее? Я стал стар и не могу быстро соображать, особенно то, что носит характер новейших идей, – проговорил гофмаршал.

Старик гордо выпрямил свой худой стан, и на лице его появилось выражение какой-то ледяной неприступности. В эту минуту ему не нужно было и костыля, – нетерпеливое ожидание придало ему силу и бодрость.

– С удовольствием, любезный дядюшка.

Я говорю коротко и ясно. Габриель не будет ни монахом, ни миссионером..

Он вдруг остановился и быстро подошел к ключнице. Эта крепкая, здоровая женщина внезапно вскрикнула и пошатнулась, как пораженная ударом. Лиана успела уже обнять ее и довести до стула.

– Вам дурно, Лен? – спросил заботливо Майнау, наклонившись к ней.

О, Боже избави, барон, еще ни разу во всю мою долгую жизнь мне не было так хорошо, как сейчас, – бормотала Лен, полуплача, полусмеясь. – У меня только немного потемнело в глазах, и моей глупой голове показалось, что небо должно разверзнуться... О Господи, Отец небесный – глубоко вздохнула она и закрыла передником свое сильно покрасневшее лицо.

Гофмаршал бросил на нее сердитый взгляд. При всем его волнении он не мог переварить, что эта служанка осмелилась сесть в его присутствии и не встала тотчас же по заявлении, что ей хорошо.

– Итак, Габриель не будет ни монахом, ни миссионером? – спросил он насмешливо и отвернулся, чтобы не видеть бестактности ключницы. – Могу ли я узнать, какое высокое назначение имеешь ты в виду для этого драгоценного экземпляра человеческого рода?

– Дядя, этот тон меня больше не смущает. Долго имел я слабость бояться этого «милого тона»; я разыгрывал роль холодного насмешника только для того, чтобы не сделаться, как «человек сентиментальный», предметом насмешек. Но теперь я отрекаюсь от тех из моих товарищей, между которыми господствует этот тон... Я твердо убежден в том, что Габриель мой двоюродный брат. Если ты, как первый наследник необъятного состояния дяди Гизберта, не захочешь выделить ему части, не надо, принудить тебя никто не может, потому что Габриель незаконное дитя... Но я в этом случае не стану придерживаться «ясных указаний» светского правосудия, а буду руководствоваться собственной совестью: я дам мальчику имя его отца и средства, приличные его положению, и усыновлю его.

Разрыв совершился, а также и отречение. Но изворотливый придворный, который в серьезных диспутах бывал очень задорен, умел, ввиду совершившегося факта, противопоставить полнейшее наружное спокойствие, чтобы удержать за собою перевес.

– Тут могут быть только две причины, – сказал он холодно и резко, – или ты болен, – тут он порывистым движением указал на лоб, – или ты, как я уже давно догадываюсь, безвозвратно попался в сети красных кос; я предполагаю последнее – и это твое несчастье. Горе тебе, Рауль! Я знаю женщин этого сорта; слава Богу, они редки. От огненных волос и белоснежной кожи их

исходит фосфорический огонь, как от русалок; своим дыханием они зажигают пламя, которое не умеют погасить... Они обладают сильным духом, но не пылкой душой. Их уста блещут красноречием, но их сердцу незнакомы безумие любви и страстная преданность женщины. Еще на земле ты будешь гореть вечным огнем, – вспомни мои слова!.. Посмотри, как ты бледнеешь...

– Я полагаю! Кровь останавливается в жилах, когда слышишь твои слова! Хотя, к сожалению, у меня не слишком чувствительное ухо, но тут каждое слово равняется пощечине... Должен ли я напомнить тебе о твоих сединах?

– Не беспокойся. Я хорошо знаю, что делаю и говорю. Я предостерегал тебя против мачехи моего внука. А теперь лелей ее на своем сердце, которое никогда не умело понимать набожно благочестивой, горячо любившей тебя моей дочери, Валерии!.. Относительно твоего нового протеже – я говорю о мальчишке в индийском доме, – я не буду терять даром слов, это дело церкви. Душа и тело его составляют ее неотъемлемую собственность, и она сумеет ответить тебе, если ты осмелишься объявить на него свои права. Слава и честь Господу, которому она служит! С Его всемогущей помощью она всегда побеждала непокорных, как отдельных лиц, так и целые нации; ты проиграешь, как и все те, которые вооружаются против нее и венчают ее слуг мученическим венцом. В конце концов мы все-таки одержим верх.

Он повернулся к Майнау спиной и хотел было идти, но на первом же шагу остановился и стукнул о паркет костылем.

– Ну, Лен, вы все еще не отдохнули? Не правда ли, на мягких шелковых креслах замка сидится очень покойно? – насмешливо проворчал он.

Ключница, с напряженным вниманием следившая за происходившей сценой, так увлеклась ею, что позабыла все, но, заслышав стук костыля, она испуганно вскочила.

– Поставьте мой завтрак на поднос, – приказал он, – и несите за мной в мой рабочий кабинет: я хочу быть один.

Он вышел. Костыль его стучал о паркет, а связка ключей у пояса Лен и посуда на серебряном подносе звенели ему в такт. Душа гофмаршала кипела гневом; женщина же, покорно и молча следовавшая за ним, трепетала от внутренней радости, а также и от негодования; охотнее всего она вылила бы этот шоколад под ноги этому желтому скелету во фраке, который осмелился так дурно отозваться о милом, чистом ангеле.

В ту минуту, когда за вышедшим захлопнулась дверь, Лиана, стоявшая все время в углублении окна, быстро подбежала к Майнау и, взяв его правую руку, поднесла ее к губам.

– Что делаешь ты. Лиана! – воскликнул он, отнимая руку. – Ты целуешь мою руку?

Но вдруг лицо его просветлело, он раскрыл объятия, и молодая женщина в первый раз добровольно прижалась к его груди.

Лео, бледный от удивления, стоял, скрестив за спиной руки; он, который всегда так свободно высказывал свое мнение, безмолвно смотрел теперь на эту необыкновенную сцену. Лиана с улыбкою притянула его к себе, и он полуревниво, полуласково обнял маленькими ручонками ее талию. Эти три прекрасные фигуры представляли группу, достойную служить олицетворением семейного счастья, полного мира и согласия.

– И все-таки мне завтра же придется расстаться с вами, – уныло сказал Майнау. – После всего, что произошло, ты не можешь оставаться здесь, Лиана, а я не могу оставить Шенверта, пока не будут решены поднятые вопросы и не окончится борьба.

– Я останусь с тобой, Майнау, – сказала она решительно; она знала, что его неминуемо ожидали ужасные открытия, а потому в эти тяжелые минуты ее присутствие было необходимо. – Ты говоришь о борьбе? И я должна оставить тебя одного?.. Я и здесь могу жить так же изолированно, как и в Волькерсгаузене; с гофмаршалом мне нет более надобности встречаться.

– Один раз тебе все-таки придется встретиться, – прервал он ее и с любовью поправил на лбу ее густые волосы. – Ты слышала, он собирается сегодня ко двору, «хотя бы даже пришлось ему ползти на четвереньках». И я поеду, но это в последний раз. Лиана; можешь ли ты преодолеть себя и поехать со мною, если я буду очень просить тебя о том?

– Я поеду с тобой, куда тебе угодно. Она сказала это твердо, хотя выражение испуга промелькнуло на нежном лице молодой женщины. Ее сердце тревожно забилось при мысли, что она еще раз должна предстать пред женщиной, которая считалась ее злейшим врагом и готова была возбудить против нее все элементы природы, чтобы только лишить ее занимаемого ею положения, оторвать у нее сердце, которое при самых торжественных уверениях отдалось ей вчера навеки.

Глава 23

Гофмаршал остался на весь день в своей комнате, обедал один и ни разу не требовал к себе даже и Лео. Прислуга замка была поражена, потому что молодой барон обедал с Лео и его новым наставником на половине баронессы... Он посылал в город за доктором и сам ходил с ним в индийский домик к умирающей, и в его присутствии, со всею осторожностью и избегая стука, прикрыли потолок поврежденного бурею домика, чтобы жгучие лучи солнца не падали на больную. Различные животные, населявшие «Кашмирскую долину», были заперты в их зимние помещения, и «молодой барон» собственноручно остановил воду с шумом струившегося фонтана: ни малейший шум не должен был тревожить больную.

Этого было достаточно, чтобы изменить настроение духа прислуги. Умирающая женщина, которую столько лет величали бесполезной нахлебницей, вдруг сделалась несчастною страдальцей; а когда барон Майнау с серьезной торжественностью возвратился из индийского сада, лакеи стали еще тише ходить на цыпочках по коридорам, а в конюшнях и сараях умолкли песни и свист, как будто умирающая лежала в самом замке...

Ганна тоже ходила с красными от слез глазами. Она пережила сегодня два необыкновенных события: первое – она видела в замочную скважину, как господин барон поцеловал ее «госпожу»; второе – она была в первый раз в жизни в индийском домике. Ее послали с чашкою бульона для Лен в комнату умирающей; после того она, не осушая глаз, плакала, говоря, что живет среди варваров и невежд, потому что никто, кроме суровой, грубой Лен, не заботился о больной, которая, как видит это образованный человек с первого взгляда, была не кто другая, как увезенная чужестранная принцесса.

Такое же потрясающее впечатление произвел индийский домик и на Майнау. Лицо, которое он в детстве, сгорая от любопытства, тихонько искал случая увидеть, а потом с отвращением избегал, думая, что оно должно носить печать глубокого падения, выражение безумия в обезображенных чертах, – это лицо видел он теперь пред собой на белых подушках, бледное, спокойное, сохранившее свою дивную красоту: это была не неверная возлюбленная дяди Гизберта, не мать Габриеля, а непорочное умирающее дитя, лепесток белой розы, отделенный дуновением ветерка от родной чашечки и сброшенный на землю, чтобы умереть... Проницательный, неподкупный ум второй жены пролил яркий свет на непроглядную темноту прошедшего; но еще более яркий свет исходил от этого кроткого личика. Теперь Майнау знал, что в его безупречном благородном Шенверте также совершались преступления, только он не находил нужным замечать или тщательно расследовать их, какими бы странными ни казались они тогда его молодому уму. Он чувствовал себя глубоко виноватым, что по своему легкомыслию слепо доверялся неподкупной честности дяди, чтобы самому не вмешиваться в скучные расследования, которые помешали бы ему невозмутимо наслаждаться жизнью... Теперь же он не чувствовал ни малейшего доверия; однако он должен был, к своему стыду, сознаться, что, случись все это несколькими месяцами раньше, он непременно уклонился бы от вмешательства в эту неприятную историю... Но теперь, вызванный твердым характером женщины действовать, он понял, что нельзя уже переменить того, что допустил своим равнодушием и эгоизмом. Потухающие глаза умирающей под опущенными веками не видали, как он привлек к своему сердцу несчастного ребенка, в немом отчаянии ловившего последнее дыхание матери; она не слыхала, как бедного, «незаконного» нежно называли «милым сыном»; она понимала это так же мало, как сам мальчик, который не хотел быть ничьим сыном, кроме ее, этой умирающей, на сердце которой укрылся он, отвергнутый холодным, беспощадным

светом... Пока Майнау мог упрекнуть гофмаршала только в том, что и он слепо поверил. Конечно, в подлоге документа, которого более не существовало, он не принимал участия – уж слишком спокойно ссылался он на него сегодня. Священник шел тут своей собственной дорогой, как и в истории с письмом, которую он сумел по-своему передать гофмаршалу, не открывая ему, однако, истины. Этим успокаивал себя Майнау, хотя не мог освободиться от горестного убеждения, что имя Майнау пострадает, если станут продолжать расследование событий прошедшего времени.

Поздно вечером отправилась и Лиана в индийский домик. К Майнау прибыл посланный со спешным делом из Волькерсгаузена, и он должен был удалиться на несколько часов в кабинет. Лео прекрасно чувствовал себя в обществе нового наставника и очень скоро привязался к нему... Непривычная тишина поразила молодую женщину, когда дверь проволочной решетки затворилась за нею. Такая могильная тишина, будто темная сила, царившая над бамбуковым домом, поглотила все живые существа в воздухе и на земле. Странно, любимцы дяди Гизберта умирали все вместе. Его чудная муза, так великолепно разросшаяся под чуждым ей северным небом, лежала теперь, как подкошенная, на зеленом дерне: буря безжалостно подломила ее. «Чем скорее уничтожится эта игрушка, тем лучше», – сказал гофмаршал... Молодой женщине пришлось идти по дорожкам, заваленным поломанными сучьями деревьев; большие пространства шла она по осыпавшимся лепесткам роз, а там, где на больших лужайках красовались штамбовые розы, стояли только их стволы, верхушки же были сломаны, подобно тому как своевольная рука ребенка уничтожает хрупкие стебельки цветов. Везде, куда ни взглянешь, опустошение; только индийский храм после дождя блистал еще ярче, а в спокойной поверхности пруда ясно отражалось синее безоблачное небо, будто его волны, гонимые вчера ураганом, не обливали его мраморных ступеней и не достигали даже до середины храма. На влажных берегах его расцвели за ночь сотни белых водяных роз; северные водоросли свежее и прекраснее качались на широких листьях, между тем как индийские цветы уныло склоняли свои увядающие головки.

Что произошло бы в душе убийцы в Шенвертском замке, если бы он мог бросить хоть один взгляд на эту тростниковую кровать! О, от этого он был огражден! Лиана видела, что даже окна его комнаты, выходявшие на индийский сад, были наглухо закрыты. Красота баядерки в последние минуты ее жизни была так ослепительна, как не могла быть даже в то время, когда возбудила в сухой душе придворного всепожирающую страсть. Лен снова одела это воздушное тело, эту «снежинку», в кисейное облако, потому что «она всегда это любила». На незаметно дышавшей груди лежало ожерелье из монет, а левая рука ее сжимала висевший на цепочке амулет. Эти синеватые прозрачные веки поднялись еще раз, когда стеклянные глаза остановились, но выражение блаженства, замершее на ее полуоткрытых устах, унесено было ею под красный обелиск.

– Не думайте, баронесса, что я плачу об этой несчастной душе, – сказала Лен глухим голосом, когда Лиана ласково взглянула на ее опухшие веки. – Я любила ее, – продолжала Лен, – так искренно любила, как будто она была моим собственным ребенком, и именно потому я и крещусь, говоря: «Слава Богу, страдания ее окончены!..» Это и было причиной, что я сегодня утром готова была заплакать и, наверное, задохнулась бы от радости, если бы не вскрикнула. Потом я пришла в этот домик, где видела столько горя и страдания, и наплакалась досыта, – тут я могла плакать! Не для чего больше продолжать комедию, можно сбросить с себя маску, почтительно смотревшую мошеннику и негодяю в глаза, которые я охотнее всего выцарапала бы. Не гневайтесь на меня, баронесса, потому что я должна наконец высказаться. Но мне иногда приходит в голову вопрос: наяву ли я все это вижу? А потом мною овладевает сомнение и страх: что, как тот, с бритой головой, опять перевернет все дело по-своему, несмотря на желание барона? Тут надо торопиться и предупредить. Что говорила я, баронесса? Вы были истинно добрым ангелом, которого Бог послал нам. Его долготерпению пришел конец, и наш молодой барон прозрел; когда он сегодня утром вошел в столовую и взглянул на вас, я тотчас поняла, что пробил час... Итак, говоря короче, Габриель обязан вам своим счастьем, вашему уму и вашему доброму сердцу, а потому вам-то и следует довести это дело до

конца... Молодой барон тут ничего не сделает, – не прогневайтесь, баронесса. Он слишком долго был суров, чтобы наши сердца, то есть мое и Габриеля, так скоро расположились к нему. Сегодня утром я было попробовала, но ничего не вышло; доктор тоже был с ним, а я стояла, как немая... Габриель, выдь-ка на минуту! Свежий воздух необходим тебе, как хлеб, а мне надо кое-что передать доброй баронессе.

Мальчик, на плечо которого Лиана покровительственно положила руку, встал, вышел в сад и сел там на скамейку под розовым кустом, откуда мог сквозь разбитые стекла видеть тростниковую постель.

– Значит, молодой барон не хочет признавать действительной записку, которую будто бы писал покойный барон? Почему он это вдруг делает – я не знаю. Я только могу благодарить за это Бога, – продолжала ключница. – Хуже всего то, что завяжется беспощадная война, прости Господи, с попом и что мы ее проиграем – это верно, как то, что солнце сияет на небе. Вы видели сегодня гофмаршала: он просто засмеялся молодому барону в лицо... Но и я кое-что знаю, – она умерила свой голос до шепота, – вот тут, баронесса, есть тоже что-то писаное, тоже записка покойного барона, в которой каждая буква действительно писана им на моих глазах. Там, – старушка указала на левую руку умирающей – она держит ее в руке. Это маленький медальон, в виде книжки из серебра, и в нем лежит записка... Бедное, несчастное создание! Неужели у него там не разрывается сердце? Чудовища говорят, что она изменила своему возлюбленному, а она тринадцать лет лежит и охраняет заботливее, чем собственное дитя, маленькую записочку, не обращая внимания на боль в пальцах, которыми она судорожно сжимает свое сокровище, из страха, чтобы его не отняли у нее, потому что это последнее, что у нее осталось от него, и потому что она думает, что каждый, кто приближается к ней, хочет непременно отнять его.

Молодая женщина вспомнила момент, когда священник протянул руку к медальону. Теперь она поняла ужас больной женщины, энергическое вмешательство Лен, ее отчаянное движение, когда она стала между священником и больной. Нервная дрожь пробежала по ее телу при мысли, что в этих бледных, похолодевших детских пальчиках заключается свидетель, ожидающий минуты своего освобождения. Священник, сам того не зная, почти держал его в своих руках, но лукавый не шепнул ему в то время на ухо: «Уничтожь его».

– Видите, баронесса, только когда случилась беда, эта несчастная увидела меня в первый раз, и то мельком, и не обратила на меня внимания, – продолжала ключница. – Я всегда была некрасивою, грубою женщиной, а потому и не могла требовать большего. Когда покойный барон привез ее в Шенверт, то никому и ползком не позволил приближаться к индийскому домику. Барон-то сам был как сумасшедший и требовал того же от прислуги. Она не должна была на нас ни смотреть, ни говорить с нами. Бывало, она, как маленькое дитя, бежит по коридорам замка и не дается в руки своему сокровищу, а как он бросится за ней бежать, она вдруг повернется и вмиг повиснет у него на шее, – верите ли, баронесса, другой раз кажется, вот так бы и схватила в свои грубые объятия это воздушное существо в красной кофточке и белой кисейной юбочке, да и задушила бы ее от любви. Посмотрите-ка на нее! Такая прелесть не скоро еще родится на свет!

Ее голос вдруг оборвался; она встала и с гордой нежностью матери поправила синевато-черные косы, лежавшие по обеим сторонам на тяжело дышавшей груди.

– Да, не раз взвешивал он на руке эти волосы и целовал их, – вздохнула она и остановилась у кровати. – Он, может быть, тоже, как и я, думал, что они тяжелее самой этой маленькой девочки. Только они всегда были украшены жемчугом, рубинами и золотыми монетами; все это я должна была отдать господину гофмаршалу... У нее была ученая камеристка, которую барон вывез из Парижа или уж не знаю откуда; та должна была прислуживать ей; она была добра с ней, как ангел; но желтокожая ведьма худо отплатила ей!.. Раз утром барон упал замертво, и его часа два не могли привести в чувство, а когда он пришел в себя, у него окончательно открылось помешательство – по-ихнему меланхолия, – которое уже прежде замечали. С этой минуты гофмаршал и капеллан, теперешний придворный священник, сделались хозяевами в замке. Я уже говорила вам, что все в замке было заодно с двумя

негодьями – не во гнев вам будет сказано, баронесса, – а хуже всех была модная камеристка. Она выдумала позорную сказку, что бедная женщина влюбилась в красивого берейтора Иосифа, и рассказала это больному барону. За это она, уезжая домой, увезла с собой не одну тысячу талеров... Вот я и пришла в индийский домик потихоньку, чтобы мой муж этого не узнал. Вижу, сидит тут она на корточках на этой самой кровати, голодная, одичавшая. Она так боялась гофмаршала, что предпочитала голодать и спать на неоправленной постели, только бы не отодвинуть задвижек... Я и до сих пор не понимаю, как он никогда не мог заметить, что она имела во мне поддержку: может быть, я вовсе не так глупа, как он всегда говорит... Шесть месяцев сидела она, как пленница, в этом домике. Она томилась по человеку, который не хотел больше о ней и слышать; а жалоб ее и слез я во всю жизнь не забуду... После того родился Габриель, и с той минуты приставили сюда «суровую и грубую Лен»... Иногда бывала я и у больного барона, когда у моего мужа делались припадки головокружения, тогда я должна была прислуживать барону, и знаю, что это было ему приятно... Сколько раз имя ее было у меня на языке, сколько раз хотелось сказать ему, что у него есть сын и что все, что ему наговорили, – бессовестная ложь! Но все это приходилось таить и обо всем умалчивать, потому что если бы он и поверил мне, то в минуту тоски исповедал бы все капеллану, и тогда меня без милосердия выгнали бы, а у двух несчастных в индийском домике не оставалось бы никого на свете.

Лиана искренно пожала ее руку. Эта женщина обладала такой бездной любви и самоотвержения к двум несчастным, как ни одна мать к своей собственной плоти и крови...

Старушка покраснела и с испугом опустила глаза, когда прекрасная ручка Лианы так нежно сжала ее жесткую руку.

– Но вот барон приближался уж к смерти, – продолжала Лен нетвердо и с волнением. – Господин гофмаршал и капеллан не покидали его ни на одну минуту. Один из них стерег его постоянно и наблюдал, чтобы все шло по их начертанию, и все-таки случилось, что гофмаршал, где-то простудившись, заболел, а капеллана потребовали в город причащать католического принца Адольфа, – это было Божье произволение. Все уж должно было так случиться, потому что, как только бритая голова выехала из ворот, у моего мужа сделался такой сильный припадок головокружения, что он не мог встать с дивана. И вот я была тут!.. Я стояла в красной комнате и подавала лекарство больному барону; он велел раздвинуть тяжелые драпировки у окон; солнце осветило его кровать, и точно завеса упала с его глаз: он взглянул на меня так выразительно и вдруг погладил мою руку, точно благодарил меня за услугу. Как молния блеснула у меня в голове мысль:

«Рискну», – подумала я и выбежала вон. Минут через десять пробралась я с бедной женщиной на руках, сквозь можжевельник, в маленькую дверь к винтовой лестнице у правого флигеля. Никто не видал нас, никто и не подозревал, что произошло то, за что гофмаршал переколотил бы всю прислугу, если бы узнал. Я отворила дверь в красную комнату, и сердце замерло у меня от страха: она вырвалась у меня и побежала вперед, с криком, которого я никогда не забуду. Бедная женщина! От ее гордого, прекрасного возлюбленного осталась только одна тень. Она бросилась на его кровать... Ах! Возле его желтого, худого лица она казалась еще свежее и прекраснее, точно нежный лепесток яблоневого цветка на фоне зеленого шелкового одеяла. Сначала он серьезно смотрел на нее, пока она по-прежнему не обвилась обеими руками вокруг его шеи и не прижалась своим личиком к его лицу. Тогда он стал гладить ее волосы, а она начала говорить с ним на своем языке, из которого я ни слова не поняла. Она говорила скоро-скоро, словно торопилась высказать ему все, что томило ее сердце, по мере того как она говорила, его глаза делались все больше и горели все ярче, – остаток крови бросился ему в лицо... Тут и я рассказала ему все, что было у меня на душе... Господи Боже мой! Как я испугалась; я думала, что он сейчас умрет. Он хотел что-то сказать и не мог. Тогда он написал на бумажке: «Можете ли вы представить мне законных свидетелей?» Я покачала головою: это было невозможно, да я думаю, что он и сам это понимал. Тогда он опять начал писать и, как мне показалось, очень долго. Пот выступил у него на лбу; в его глазах я видела страх и поняла его: он боялся за прекрасное любимое существо, которое постоянно гладило его и было так счастливо, что могло опять находиться около него... Наконец он кончил, и я должна

была зажечь свечку и принести сургуч. Он приложил две большие печати на записке своим дорогим перстнем, который потом подарил гофмаршалу; все это сделал он сам; но так как силы его были слабы, то мне пришлось крепко прижать его руки, чтобы герб вышел яснее на сургуче. Потом он посмотрел на печать в стекло и, должно быть, вышло очень хорошо, потому что он одобрительно качнул головою. Он показал мне записку, и я должна была прочитать вслух написанный на ней адрес; я прочла по складам: «Барону Раулю фон Майнау». Он передал было мне записку на сохранение, но она вскочила, вырвала ее у меня из рук и начала целовать; потом выбросила из маленькой серебряной книжки на пол все, что в ней лежало, и, положила в нее записку... Нечто вроде улыбки мелькнуло на его лице, и он сделал мне знак, точно хотел сказать, что она пока и здесь хорошо спрятана. Потом опять начал ласкать и целовать ее в последний раз в своей жизни; он это знал, но она не могла и подозревать этого... Она не хотела уходить от него, когда он подал мне знак унести ее домой. Она расплакалась, как ребе нок, но была так кротка и послушна: он только серьезно взглянул на нее и поднял палец – и она вышла... Если бы она всегда была так послушна! Но, повидавшись с ним, она стала еще сильнее тосковать по нем; она даже не смотрела на маленького Габриеля – так сильно томила ее разлука; вот гут-то и случилось несчастье. Она ускользнула от меня и побежала в замок; там в коридоре, перед комнатою больного, поймал ее гофмаршал... Что потом случилось – этого никто не знает и не узнает никогда. Хотела ли она кричать и за это он схватил ее за горло, или от бешеной ревности хотел задушить ее – я не знаю; но что он душил ее, это я знаю от нее самой, потому что понимала ее взгляд так же ясно, как будто она высказывала мне то словами. Сначала ее рассудок был совершенно здоров, пока не начал ходить придворный священник и не стал ей проповедовать. Наконец однажды она так ужасно закричала, как только может кричать человек, подвергнутый пытке... Господи, как он пустился тогда бежать! Больше он уж и пробовать не стал; но несчастье совершилось – бедный мозг ее был поражен окончательно... Теперь я все сказала вам, баронесса; прошу вас, возьмите эту цепочку с серебряной книжкою.

– Не сейчас же! – с ужасом воскликнула Лиана. Она подошла к кровати и наклонилась над умирающей, приоткрытые глаза которой уже затянуло могильным холодом, хотя грудь ее все еще равномерно поднималась и опускалась.

– Я никогда не успокоилась бы, если бы ее глаза еще раз открылись в ту минуту, когда я дотронулся до ее талисмана, и она унесла бы это последнее впечатление в могилу, – сказала молодая женщина, отступая. – Когда все кончится, придите за мною, хотя бы это было в глухую полночь. Я хочу вынуть из ее руки документ; ваша правда, я должна сделать это сама, но до тех пор не должно трогать этой бедной ручки... Лен, мне жаль, что приходится сделать вам один упрек: вы должны были еще тогда же, несмотря ни на что, отдать записку по адресу.

– Баронесса!.. – воскликнула ключница. – Вы говорите это теперь, когда все так счастливо устроилось, но тогда!.. Я была совершенно одна, все были против меня. Такие сильные противники, как гофмаршал и священник, мне не под силу: тут люди и искуснее меня не нашлись бы, что делать, а молодой барон, да разве он взялся бы расследовать дело? Господи Боже мой! Ведь это не голубой башмак, который можно поставить под стекло, а потом снять его!..

Густая краска разлилась по лицу молодой женщины, и испуганная ключница замолчала.

– Ах, что я болтаю! – поправилась она, – теперь, конечно, все идет хорошо; но тогда было не так. Вы сегодня сами слышали, баронесса, что он толкал ребенка, как собаку, со своей дороги... Я скажу вам, что бы тогда вышло: барон взял бы у меня записку, показал бы ее обоим господам, они громко засмеялись бы и сказали, что им все это лучше известно, потому что дни и ночи проводили у кровати больного. Меня же обвинили бы в обмане – это так же верно, как дважды два – четыре, и выгнали бы за ворота замка... Нет, нет, тут надо было наблюдать и выжидать... Еще если бы я знала, что в записке написано, то это другое дело, но я стояла далеко, когда покойный писал; а когда он подал мне бумагу и велел прочесть, то мне впору было только разобрать адрес... Недавно, когда она крепко заснула после сильного приема морфия, я взяла у нее книжку и хотела заглянуть в нее, но не могла ее открыть, – она точно запаяна кругом: не видно ни замка, ни пружины, – я думаю что ее придется сломать.

– Тем лучше, – сказала Лиана.

Она подошла к стеклянной двери и позвала Габриеля. Было уже поздно, слишком поздно, чтобы передать все Майнау, прежде чем он поедет во дворец, а он сказал ей, что по особым причинам он должен непременно принять приглашение. Да ей и самой надо было еще одеться. Ее сильно возмущала мысль, что она должна наряжаться, стоять перед зеркалом в эти ужасные минуты, когда старые грехи должны быть вызваны на свет... Она торопливо ушла из индийского домика, чтобы успеть еще отыскать Майнау и хоть в коротких словах передать ему самое главное; но она не нашла его, а один из лакеев доложил ей, что барон вследствие известий, полученных из Волькерсгаузена, вышел неизвестно куда, может быть, пошел к садовнику. С грустью пошла она в свою уборную.

Глава 24

На обширном дворе Шенвертского замка стоял экипаж, запряженный серыми рысаками, а у самого подъезда – карета гофмаршала. Толстому кучеру не доставляло никакого труда управлять лошадьми. Это были прекрасные смирные животные; они стояли как ягнята, между тем как серые рысаки фыркали и нетерпеливо били копытами.

– Бестии! – ворчал гофмаршал, спускаясь в своем кресле с лестницы.

Он мог бы и сойти, но берег свои силы, зная, что во дворце ему придется немало стоять в присутствии высочайших особ.

Внизу, в сенях, в ожидании прохаживался Майнау, и в ту минуту, как лакеи спускали кресло со ступенек на мозаичный пол, из бокового коридора вышел человек. Увидя гофмаршала, он ускориł шаги и вышел в стеклянную дверь.

Гофмаршал выпрямился в своем кресле, точно не верил своим глазам.

– Это, кажется, негодяй Даммер, которого следовало бы давно прогнать? – обратился он к Майнау.

– Да, дядя.

– Так как же он смеет здесь так *sans facons* прогуливаться? – обратился он с выговором к лакеям.

– Он ужинал в людской, барон, – нерешительно ответил один из них.

Гофмаршал мгновенно встал на ноги.

– В моей людской, за моим столом?

– Любезный дядя, на людскую и людской стол, мне кажется, и я имею некоторое право, не так ли? – сказал спокойно Майнау. – Даммер привез мне известия из Волькерсгаузена; он может возвратиться только завтра; неужели же заставить его голодать в Шенверте?.. Он глупо сделал, что попался тебе на глаза, но тут он был с моего позволения.

– А, понимаю! Ты ведь филантроп и, верно, устроил в Волькерсгаузене исправительный дом, нечто вроде колонии преступников; очень хорошо!..

Гофмаршал опять опустился в свое кресло.

– Даммер забылся пред тобою. Само собою разумеется, что его тотчас же удалили из Шенверта. – Майнау говорил с невозмутимым спокойствием. – Но ведь и его не раз раздражали. Мы не должны забывать, что мы имеем дело с людьми, а не с собаками, которых наказывают кнутом за естественную и справедливую оппозицию... – Густая краска, покрывшая его лицо, свидетельствовала о том, что у него воскресла в памяти сцена, когда он, поддавшись своему вспыльчивому характеру, забылся до того, что поднял руку на человека. – Вместе с ним пострадал бы и его невинный старый отец. Даммер получил строгий выговор и переведен в Волькерсгаузен. Вот мы и сквитались!

– В самом деле? Ты думаешь? Замечательный мир между гофмаршалом фон Майнау и негодяем! Ну, хорошо, хорошо, пусть все идет своим чередом, но и у самой длинной нитки есть конец... Потрудись на этот раз предшествовать мне: я не желал бы, чтобы твои бешеные животные ехали за мной.

– Я жду жену, дядя.

Почти одновременно с этими словами послышался шелест шелкового платья в колоннаде, и Лиана сошла в сени.

Майнау предупредил ее, что дамы должны быть в бальных туалетах, и она надела свое затканное серебром подвенечное платье. Большие смарагды, отделенные от ее ожерелья, блестели в роскошных волнах ее золотистых волос, придерживая ветки белых фиалок.

– Ах, какой сюрприз нашему двору! – воскликнул гофмаршал. Он был взбешен: ему и в голову не приходило, что она тоже поедет. – *Alez toujours, madame*¹⁰! – сказал он, быстро отодвинувшись с креслом и пропуская ее мимо себя.

Лиана, видимо, колебалась: ей не хотелось проходить мимо разволновавшегося старика.

Майнау подал ей руку и вывел из сеней.

– Моя невеста мила, как Белоснежка, но прекрасное лицо ее подернуто грустью, – шепнул он ей нежно на ухо.

– Мне многое надо передать тебе; мне кажется, что я ступаю по раскаленным углям. Если бы мы скорее были опять дома!

– Терпение! Я, насколько возможно, скорее окончу свою миссию при дворе, а потом помчусь далеко-далеко, держа в объятиях свою возлюбленную.

Он помог ей сесть в экипаж. Серые рысаки помчались, а за ними крупной рысью поехали гнедые лошади гофмаршала.

В столице привыкли смотреть на второй брак Майнау, несмотря на знатное происхождение молодой женщины, как на некоторого рода *mesalliance*. Многие держались даже того мнения, что ее взяли в замок в качестве ключницы и гувернантки рассказывали, что она в черном шелковом переднике, со связкой ключей в руках прогуливается по кухне, погребам и прачечным... И это баронесса фон Майнау, супруга самого богатого человека в государстве!.. Это возмутительно!.. Боже, как очаровательно наивна и неопытна была в подобных вещах первая жена, как неотразимо привлекательна и с каким достоинством умела она держать себя! Она была не госпожой, а феей, благородной «лилией» своего аристократического дома! Она явилась на свет только для того, чтобы для нее плелись дорогие кружева, готовилось лучшее шампанское и чтобы дать счастье бесчисленным рукам и ногам носить себя, позволять украшать свою нежную фигурку и служить ей. Если бы кто-нибудь спросил ее, где находится кухня в Шенверте, то она в прелестном гневе ударила бы дерзкого хлыстом. Напротив того, в конюшне она была как у себя дома, как в своем будуаре, и даже знаменитые жасминные духи не могли иногда заглушить запаха конюшни, которым пропитывались ее платья; но это было так несказанно аристократично и так оригинально. Второй же жены никто в столице не видал; знали только, что она высокого роста и рыжая, а воображение прибавляло к этому и широкие плечи, почтенной величины ноги, красные руки и неизбежные веснушки... Далее, привыкли видеть, что барон Майнау жил в столице холостяком, и на последнем большом вечере на лукавый вопрос, как поживает его молодая жена, он отвечал, пожав плечами: «Я думаю, что хорошо; я три дня не был в Шенверте...» К довершению всего, все были уверены, что его отъезд будет сигналом к разводу, – и вдруг он входит в концертный зал герцогского дворца под руку с молодой женщиной, одетой во все белое, начиная с платья и кончая белыми атласными туфельками, все существо которой дышало такой белоснежной, строгой и такой холодной красотой, как будто это была ледяная королева со снежных гор.

Герцогиня желала придать особенный блеск своему вечеру. Это был первый придворный концерт после смерти герцога и, как предполагали, первый маленький, по-видимому импровизованный, бал, которым она хотела повеселить придворную молодежь. В концертном зале и прилегавших к нему других залах было светло как днем. Все люстры и канделябры проливали ослепительный свет, а в зимнем саду, замыкавшем анфиладу комнат, искрились огненные фонтаны из колоссальных лилий и ландышей белого стекла, возвышавшихся из массы тропических растений. Туалеты дам отличались особенной роскошью и разнообразием;

¹⁰ Зд. Проходите, мадам (фр)

драгоценные камни сверкали в волосах, на белых шеях, на тяжелом атласе и воздушном газе платьев; блестящие веера колебались, и со всех, как молодых, так и старых, прекрасных и безобразных уст сыпались слова злоречия, лести, тайной любви и скрытой зависти. И весь этот говор мгновенно утих при появлении «владельцев Шенверта». Так вот какова сделавшаяся почти мифом вторая жена Майнау! Так горда и спокойна! Как мало смущения и волнения обнаруживает она перед всем этим блестящим придворным обществом! И что же это за новая прихоть чудака, что вел ее под руку? Своим ложным браком, из известных ему расчетов, он поставил эту графиню Трахенберг в щекотливое положение, как будто стыдясь, он тщательно прятал ее до сих пор от всех; при дворе она была предметом насмешек, и результатом такого поведения было то, что просьба о разводе была уже на пути в Рим. И как раз в ту минуту, когда это известие не представляло больше никаких сомнений, он вдруг явился с ней ко двору и с таким видом, точно хотел сказать:

«Полюбуйтесь, мой вкус еще не так дурен! Даже для своей комедии я не мог отказаться от пристрастия к изящному. Посмотрите еще раз на осмеянную прежде, нежели я отправлю ее домой!» Мужчины думали, что тщеславие окончательно свело его с ума, нельзя было представить себе ничего гармоничнее этих двух высоких, стройных фигур, шедших рядом! Первая его жена, как бабочка, всегда летала впереди него; а когда случалось, что она из этикета клала свои хорошенькие пальчики на его руку, то почти смешно было видеть рядом с ним ее миниатюрную фигурку. Еще вторая жена не окончила своего пути через огромный зал, как уже всеобщее мнение решило, что она Лорелея, а он – слепой глупец.

Никто, конечно, не заметил, как он вдруг крепче прижал к себе ее белую руку, как будто им овладело раскаяние, что он выставил напоказ свою молодую жену всем этим жадным взглядам; никто не слышал нежных слов, исполненных внезапно вспыхнувшей ревности, которые он шептал ей; никто не понял его, когда он торжественно представил свою жену нескольким пожилым дамам, – все видели только новый фарс, в котором он, по обыкновению, заставлял принимать участие как бедную жертву, так и всех присутствующих.

Вдруг звуки оркестра замолкли; присутствующие остановились, и все глаза устремились на боковую дверь, в которую должна была войти герцогиня. Двери торжественно распахнулись, и в зал вошла герцогиня в сопровождении обоих маленьких принцев, нескольких дам и кавалеров.

В эту минуту Лиана невольно взглянула на Майнау. Его лицо вспыхнуло ярким румянцем, и злая улыбка заиграла на его губах.

– А! В палевом платье и гранатовые цветы в локонах! – сказал он тихо, не отвечая на взгляд молодой женщины. – Лиана, всмотрись хорошенько в прекрасную герцогиню! Такою она была на том балу, когда дала мне слово быть моею. Блаженные воспоминания! И вот их-то она и хочет сегодня возобновить!

И в самом деле, герцогиня была ослепительно хороша. Блестящий палевый цвет платья с глубоко вырезанным лифом и короткими пышными рукавами, яркие пунцовые цветы, небрежно ниспадавшие на лоб с ее черных волос, придавали ее восковому, бескровному лицу какую-то демоническую красоту; к тому же легкие, грациозные движения, необыкновенно радостная улыбка на бледно-розовых губах, слегка раздувавшиеся ноздри и большие огненные глаза – все это невольно заставило Лиану вспомнить о вилльлисах, которые насмерть затанцовывают своих возлюбленных... Что, если он опять поддастся этому очарованию?... Молодая женщина внутренне затрепетала и так крепко прижалась к нему, что он мог слышать ускоренное биение ее встревоженного сердца.

– Рауль! – шепнула она, напоминая ему о своем присутствии.

Он невольно вздрогнул: этот нежный сердечный звук в первый раз коснулся его слуха, в первый раз еще вся душа ее отразилась в больших темно-серых глазах, искавших его взгляда, и, в виду входившей герцогини, перед лицом всего двора, один тревожный взгляд открыл ему, что он любим.

Герцогиня замедлила шаг, точно темное облако спустилось над ее сияющим лицом, а красиво очерченные брови нахмурились. Белое, затканное серебром платье, блестящее,

подобно лунному лучу, среди разноцветных платьев, казалось, изумило ее; она, по-видимому, разделяла всеобщее удивление по случаю появления молодой женщины на сегодняшнем вечере; но она быстро овладела собой и пошла вперед, благосклонно кланяясь на обе стороны, отличила особенным вниманием гофмаршала, которого так давно не было видно при дворе, милостиво протянув ему для поцелуя руку и сказав короткое приветствие; медленно проходя мимо длинного ряда приглашенных, она каждого осчастливила ласковым словом. Осыпанный бриллиантами веер ее сверкал разноцветными огнями, палевый газ, покрывавший атласное платье, походил на облако, освещенное золотистыми лучами солнца. Наконец она остановилась перед Лианой.

– Что я вижу! Мы думали, что ученая отшельница Шенверта питает отвращение к общественным удовольствиям, а потому и не решились послать вам личного приглашения на наш музыкальный вечер, – сказала она холодно и как бы извиняясь, что молодая женщина не получила отдельного приглашения.

Лиана вспыхнула и посмотрела на мужа; но Майнау, казалось, не замечал досадливого чувства герцогини, заставившего ее быть не совсем деликатной.

– Ваше высочество, ввиду предстоящего продолжительного путешествия можно допустить исключение, – сказал он своим обычным, пропитанным насмешкою тоном. – Я потому предложил сегодня баронессе сопровождать меня, что мы через несколько дней уезжаем.

– В самом деле, барон Майнау? – воскликнула герцогиня с радостным изумлением. – Это путешествие на Восток, подобно лихорадке, волнует вашу кровь. Мне кажется, вы не отложили бы его даже и тогда, если бы вся вселенная стояла в огне... Хорошо же! Придет время, когда вы устанете путешествовать и возвратитесь к нам, может быть, более обходительным, чем теперь.

Лицо ее преобразилось; она услышала подтверждение, что страстно желаемая ею катастрофа неминуемо последует через несколько дней, но вместе с тем ее возмутили гордое спокойствие и уверенность, с которыми эта молодая женщина стояла рядом с Майнау. Разве не готовилась она ехать к себе домой и оставить Шенверт навсегда? Однако ей даже и в голову не приходило отнять свою руку, которая, как бы по неотъемлемому праву, продолжала лежать на его руке.

– Вы будете рады снова увидеть ваш тихий Рюдисдорф? – спросила она, бросив косвенный враждебный взгляд на ненавистную руку молодой женщины.

– Я отложила свою поездку в Рюдисдорф, ваше высочество, – со смущением возразила Лиана: ей тяжело было выговорить это, но нельзя было не ответить на прямой вопрос.

Герцогиня невольно отступила; грациозно поднятая рука ее, державшая веер, бессильно опустилась и скользнула вниз по атласному платью.

– Как! Вы остаетесь? – И ироническая улыбка мелькнула на ее побледневших губах. – А, понимаю! Вы так великодушны, что не хотите покидать нашего доброго гофмаршала, – прибавила она быстро, благосклонно кивнув головой подошедшему гофмаршалу.

Несмотря на громкий разговор в зале, он с напряженным вниманием ловил каждое слово.

– Осмелюсь заявить вашему высочеству, что ваш старый, верный гофмаршал не принимал никакого участия в этих решениях, – пояснил он, торжественно приложив руку к сердцу.

– Это правда: дядя ничего не знает о моих намерениях, – подтвердил Майнау совершенно спокойно и довольно громко; казалось, он говорил с окружающими, а не с герцогиней. – Как бы ни желал я оставить его в верных, заботливых руках, но в этом случае я сам себе ближе всех. Я не могу решиться на разлуку с женою, и она, по своей бесконечной доброте, согласилась ехать со мною.

Это было сказано так самостоятельно, так серьезно, как будто эти уста никогда не открывались для оскорбительных насмешек, как будто он никогда безжалостно не предавал стоявшей рядом с ним стройной, молчаливой молодой женщины пересудам и злоречию беспощадных языков. Герцогиня начала вдруг поспешно обмахиваться веером, как будто в зале стало невыносимо душно.

– Опять новый каприз, барон Майнау? – спросила она, напрасно стараясь придать своему

голосу тон веселой насмешки. – До сих пор вы ревниво устраняли все, что могло хоть сколько-нибудь затмить личность интересного путешественника, – вы один хотели быть сказочным принцем... И вдруг появление возле вас современной леди Стенхоуп! Недурно! Это возбудит громадное волнение и толки в свете.

– Ненадолго, ваше высочество, – сказал Майнау, спокойно улыбаясь, – потому что я еду не на Восток с моей леди Стенхоуп, но в мое уединенное имение Бланкано во Франции.

Герцогиня отвернулась и подала знак к началу концерта. Те, которые знали ее ближе, трепетали.

С этими неестественно широко открытыми глазами, мертвенно-бледным лицом, выдвинутым подбородком она не знала ни милости, ни пощады.

Глава 25

Придворный оркестр играл мастерски, примадонна пела увлекательно, и герцогиня сама подала сигнал к аплодисментам, а во время антрактов осыпала иностранную певицу знаками своего благоволения. Все шло, по-видимому, так ровно, так непринужденно; все требования этикета исполнялись так строго, что Лиана думала, что только ее одну мучит смертельная тревога, заставляющая болезненно биться ее сердце. Она не могла без страха смотреть на медузин профиль герцогини. Там, среди группы офицеров, сидели резко выделявшиеся своими блестящими парадными мундирами две черные фигуры: то были гофмаршал и придворный священник. Лиана по выражению лица гофмаршала ясно поняла, о чем именно он с таким страстным волнением шептал своему соседу, и с гневом отвела глаза в другую сторону. Священник, не стесняясь, смотрел на нее и с таким демоническим выражением лица, как будто мысленно повторял ужасные слова: «Я буду все выносить, молча и терпеливо, и вы не освободитесь от меня никогда...» Но теперь она больше не боялась его. Человек, стоявший возле ее кресла, скрестив руки и прислонясь к стене, охранял ее; он был достаточно силен и телом и духом, чтобы раздавить ехидну, которая старалась разрушить его семейное счастье... Если бы только скорее покинуть этот зал и этих нарядных людей! Но час освобождения еще не пробил.

Невероятное известие, что Майнау хочет переселиться со своей молодой женой во Францию, подобно лозунгу, переходило из уст в уста, и после концерта масса любопытных окружила его, чтобы услышать подтверждение этого факта от него самого. Затем на долю Майнау выпало счастье открыть с герцогинею бал.

– Проводите меня, пожалуйста, в соседний зал, – приказала она, прерывая вальс. – Здесь слишком светло и многолюдно! Настоящая тропическая жара.

Они переступили через порог большого зала, а прочие пары помчались далее, кружась в вихре вальса.

– Вы неподражаемо играете вашу новую роль, барон Майнау, – вполголоса сказала герцогиня, проходя мимо буфета, около которого заняты были некоторые из гостей, вскочившие со своих мест при ее уходе; но она милостиво кивнула им головой, предлагая не беспокоиться.

– Могу я узнать название пьесы, которую играет двор и в которой я, сам того не зная, принимаю участие? – возразил Майнау в том же тоне, каким заговорила с ним герцогиня.

– Мефистофель!.. – Она грациозно погрозила ему веером. – Не мы играем, – мы для этого слишком угнетены и утомлены внутренней борьбой. К тому же мы не одарены гениальным талантом барона Майнау, который так мастерски умеет выводить на сцену внутреннее побуждение... Неужели же я должна сказать вам, что в зале все перешептываются о том, будто сегодня разыгрывается второе действие драмы «Месть»?

С этими словами они вошли в зимний сад. Быстро проходя по анфиладе комнат, они оба не заметили, что в соседнем с зимним садом и, по-видимому, пустом зале сидели двое мужчин: гофмаршал и его друг – придворный священник. Перед ними стояло фруктовое мороженое и шампанское; но наблюдательный глаз заметил бы, что мороженое таяло, а нетронутое

шампанское перестало уже искриться.

Майнау резким движением опустил свою руку, так что рука герцогини, потеряв опору, бессильно повисла. Они стояли одни под широкими листьями пальмы. Над их головами спускались со стеклянного потолка бесчисленные ветки тропических ползучих растений; при ослепительном свете газа палевое атласное платье прекрасной, бледной герцогини отливало каким-то металлическим блеском, и она походила на сказочную Золушку, осыпанную золотым дождем.

– Совершенно удовлетворенная месть не имеет второго действия: она, подобно пчеле, умирает в ту минуту, как вонзает жало, – сказал Майнау, слегка побледнев.

Герцогиня бросила на него огненный взгляд.

– Ah, pardon! Значит, там, в зале, ошиблись, – сказала она, пожимая своими красивыми плечами. – Ну, так есть какая-нибудь другая причина! То, в чем вы хотите уверить нас в минуту мимолетной прихоти, так же невероятно, как предположение, что гранатовое дерево со своими пурпурными цветами может расти среди льдов глетчера... Пусть эта белокурая графиня Юлиана, со своею заученною глубокомысленною миной, с сомнительною дозой учености, внушает вам уважение, но ведь любить такую женщину нельзя.

– Вы говорите о такой страсти, которую и я когда-то испытывал, – возразил Майнау суровым, ледяным тоном: его возмущало, что она произносила дорогое ему имя. – Как мало было в ней силы, доказывается тем, что она могла так бесследно умереть.

Герцогиня отшатнулась от него со стоном, как будто ее коснулось смертоносное оружие.

– Если действительно так, как вы говорите, – продолжал он неумолимо, – что такая женщина редко бывает любима, то слава Богу! Тогда я, может быть, понемногу избавлюсь от мучений ревности, которую прежде никогда не испытывал и которая так часто терзает меня теперь... Я объясню вашему высочеству, почему я сегодня здесь в сопровождении белокурой графини Юлианы. Это не второй акт «Мести», но раскаяние, публичное извинение перед моею оскорбленною женой.

Герцогиня захохотала так громко и судорожно, точно в припадке помешательства.

– Извините, – воскликнула она, как бы задыхаясь от смеха. – Но картина слишком пикантна! Отважный дуэлист, неугомонный забияка... – pardon! – храбрый воин, беспощадный насмешник, не признающий женской добродетели, – с раскаянием извиняется перед графиней с рыжими косами! Пройдут годы – и люди все не перестанут смеяться над львом, смиряющимся перед пряхой!

Он сделал шаг назад. Ее голову украшала корона, от ее руки, управлявшей государством вместо малолетнего сына, зависели благоденствие и несчастье подданных, и она стояла перед ним, заливаясь безумным хохотом, забыв достоинство, которое умеет сохранять даже и простая женщина из народа.

– Ваше высочество! Дуэлист и неугомонный забияка не имеет надобности в особом мужестве, – проговорил он, слегка нахмутив брови, – но насмешнику Майнау, легкомысленному преследователю женщин, нужно гораздо больше силы воли, чтобы покаяться перед «добрыми людьми» в своем внутреннем перерождении и показать, что ревностный проповедник браков по расчету имеет одно только желание – снискать любовь собственной жены; но я должен дать удовлетворение белокурой графине Юлиане, чистой девушке, с пылкой, артистической душой, со смелыми, самостоятельными понятиями... Я решился наложить на себя эту епитимью прежде, нежели позволю себе вкусить своего нового счастья.

Веер выскользнул из рук герцогини и, сверкая, повис на тонкой цепочке, прикрепленной к поясу. Повернувшись к Майнау спиной, она остановилась перед чудным, в полном цвету, померанцевым деревом и начала торопливо обрывать его цветы, как будто не хотела позволить этим роскошным веткам украситься хоть одним плодом... Она вдруг умолкла. Ни одного звука не издали ее похолодевшие губы, только в нервном движении ее рук сказывалось подавленное отчаяние, и он почувствовал к ней сострадание.

– Я желал бы, насколько это возможно, загладить все безумства моей жизни, – продолжал он. – В ней так много, чего я должен стыдиться, потому что поступал против чести и

благородства... Натуры своей я, конечно, переделать не могу. Я ненавижу тех, кто ненавидит меня, и обуздать своего характера я не в состоянии, но от души раскаиваюсь, что был слишком жесток в своей мести... Ваше высочество, я горячо желаю, чтобы счастье и спокойствие водворились там, где некогда я старался поселить несчастье и страдание.

Герцогиня обернулась к нему с совершенно изменившимся лицом.

– Да кто же вам говорит, барон Майнау, что я несчастлива? – спросила она тоном холодной насмешки.

Она вдруг выпрямилась, как будто стояла на ступенях трона и давала аудиенцию подданному. Принять гордую, повелительную осанку ей вполне удалось, но не так вышло со взглядом: ее черные глаза горели диким огнем оскорбленной женщины.

– Я счастлива! Я могу одной ногой раздавить тех, кого ненавижу, потому что я имею власть! Я могу разрушить надежды тех, кто мечтает о верном счастье и блаженстве, потому что и на это имею власть!.. Для гордой, честолюбивой женщины иметь власть – значит быть счастливой. Заметьте это, барон фон Майнау! Ваше скромное желание было совершенно лишнее, как вы сами увидите.

С этими словами герцогиня направилась к двери, но на пороге она остановилась и, указывая на ряд открытых дверей, посмотрела на него через плечо.

– Вот идет она, кроткая и бледная, как холодная лунная ночь, – сказала она с дьявольской улыбкой, показывая свои маленькие белые зубы. – Право, барон Майнау, вам можно позавидовать... Но один совет я дала бы вам: не ездите во Францию! Только разве температура Сицилии могла бы еще растопить холод такой строгой добродетели и самонадеянной женственности.

Лиана шла медленным шагом под руку с камергером, с которым танцевала. Герцогиня вышла из зимнего сада, а Майнау остался в дверях в ожидании своей жены. Приближающаяся пара остановилась у противоположной двери, чтобы пропустить вперед проходившую с гордо поднятой головой герцогиню, но она остановилась прямо перед молодой женщиной.

– Любезная баронесса Майнау, – сказала она несколько глухим, но совершенно твердым голосом, – вас увозят от нас... Вы действительно призваны держать дом и мужа в «нежных, но твердых руках». Держите их крепче, чтобы призрак не исчез в ту минуту, как вам будет казаться, что вы держите его очень крепко Мотылек должен порхать – это его жизненная потребность... А пока счастливого пути, прекрасная невеста!

Она грациозно подняла судорожно сжатые руки и, раскрыв их, осыпала руки и шею молодой женщины дождем измятых, неузнаваемых померанцевых цветов и опять взялась за веер.

– Господин Ливен, я желаю танцевать следующий галоп с графом Брандау, – обратилась она громко к камергеру.

Тот полетел передать стройному лейтенанту приказание танцевать с герцогиней. Слегка кивнув кланявшейся Лиане, герцогиня прошла в концертный зал.

– Мотылек не улетит больше, будь спокойна, – сказал Майнау с веселой улыбкой, привлекая к себе Лиану через порог зимнего сада и со страстной нежностью прижимая ее к груди. – Он вообще никогда не был мотыльком по врожденной склонности, и если бы раньше нашел свою Лиану, то ему не пришлось бы теперь раскаиваться в стольких безрассудных поступках.

Ничего не отвечая, она робко освободилась из его объятий и указала на соседний зал, где видела сидящих в углу друзей; она слышала, как они встали и последовали за герцогиней в зал.

– А, вот и вы! Где же вы прятались, господин гофмаршал? – спросила гордая герцогиня. Граф Брандау стоял перед ней, склонившись почти до земли, а гофмаршал, видимо смущенный, подошел ближе. – Я слышу чудеса. Барон Майнау намерен переселиться во Францию. Вы тоже поедете туда?

Гофмаршал отскочил в ужасе.

– Я, ваше высочество?! – воскликнул он дрожащим голосом. – Скорее в могилу! Скорее буду скитаться из дома в дом, нежели проведу хотя один день с моим... развращенным

племянником!.. Я остаюсь в Шенверте, и если ваше высочество соблаговолите изредка пролить милостивый луч света на одинокую жизнь своего верного слуги, то оставьте по-прежнему Шенверт целью ваших прогулок верхом...

– Господин фон Майнау, – прервала она его холодно и сурово, принимая почтительно предложенную ей руку графа Брандау, – я слышала, что бурю сломило вашу великолепную музу, а она-то преимущественно и привлекала меня в «Кашмирскую долину», – теперь же все миновало, миновало!.. К тому же я должна сознаться, что до сих пор прихожу в ужас при воспоминании о происшествии с порохом, которое чуть не стоило зрения наследному принцу и его брату в бытность у вас. Вы понимаете, что нужны годы, чтобы такие ужасы изгладились из материнского сердца.

На эстраде раздались звуки галопа, и прекрасная герцогиня понеслась со своим кавалером, высокомерно кивнув головой уничтоженному гофмаршалу, – «необыкновенно раздраженная и взволнованная», как шептали между собою некоторые жадные до скандала дамы. Гофмаршал с минуту постоял с дрожащими коленями и мрачно смотрел вслед удалившейся герцогине... Непонятно, неслыханно! Уж не встают ли предки из своих могил и не указывают ли они пальцами на него? Неужели не разверзнется земля, чтобы поглотить злополучного, заклеяменного!.. Он впал в немилость – он, который скорее желал бы умереть, чем пережить такое несчастье! И все это произошло без его вины, вдруг, точно набежало темное облако. А через десять минут интересная новость будет переходить из уст в уста, и сотни глаз и пальцев злорадно устремятся на впавшего в немилость гофмаршала... Он исчез из зала.

Вскоре после кареты гофмаршала подъехал к portalу герцогского дворца экипаж, запряженный серыми рысаками.

– Моя миссия кончена – я могу наконец увезти невесту домой, – шепнул Майнау Лиане, сажая ее в экипаж.

Глава 26

Майнау опять сидел на козлах и правил лошадьми, а Лиана приютилась в углу кареты, но не как серая монахиня с холодной решимостью в сердце, некогда всеми осмеянная, но теперь счастливая, в дорогом подвенечном платье, тяжелый шлейф которого расстился на белых атласных подушках экипажа; в волосах сверкали смарагды, отливая зеленоватым светом, а прекрасные умные глаза молодой женщины восторженно следили за каждым движением красавца мужа, для которого она совершенно вышла из своей холодной, строгой замкнутости и забыла оскорбления, нанесенные ее гордости.

Была тихая, теплая ночь... Бледная луна плыла в темной синеве безоблачного неба, освещая землю своим мягким серебристым светом. За неподвижным прудом парка величественные группы лип Майенфеста соединялись в одну бесформенную массу; в их тени совершенно бесследно исчезала рыбацья деревня, как будто исполинская рука погрузила в воду эту герцогскую игрушку... Лиана не знала, что там в первый раз произнесено было пред герцогиней ее имя, что графиню с рыжими косами вызвали под липы только для того, чтобы заставить против ее воли выполнить давно задуманную месть. Но она тем не менее с содроганием отвернулась: огромная темная масса деревьев, мертвая неподвижность поверхности пруда имели какой-то зловещий вид. Молодой женщине и без того приходилось бороться с тяжелыми ощущениями. Она знала, что в ехавшей перед ними карете сидел также и придворный священник, который как тень всюду следил за гофмаршалом. Она видела из гардеробной, как он сел в карету и захлопнул дверцы... Этот ужасный священник был уже в Шенверте, куда входила она в последний раз; он на самом деле имел отважность и постоянство хищного зверя, с которыми тот преследует по пятам намеченную им жертву... Сильный страх овладел ею, когда они выехали из леса и стали спускаться в живописную, освещенную луною Шенвертскую долину. Там, внизу, ехала карета гофмаршала; было видно, как сверкнули стекла, прежде чем экипаж исчез за можжевельновыми кустами. Лиане нужно было все ее мужество, чтобы не попросить мужа провезти ее прямо в Валькерсгаузен, не заезжая в Шенверт...

В ту минуту, когда серые рысаки как вкопанные остановились у подъезда замка, точно из земли выросшая Лен уже стояла у подножки экипажа.

– Час тому назад все кончилось, баронесса, – шепнула она задыхаясь. – Тот, с бритой головой, тоже перед вами приехал. Он в состоянии еще сегодня ночью потребовать от меня все ее украшения для передачи их гофмаршалу, как было и в первый раз.

– Я приду, – сказала Лиана.

Она выпрыгнула из кареты, а Лен тем временем возвратилась в индийский домик. Теперь для молодой женщины наступала тяжелая, ужасная минута: она должна была передать Майнау все случившееся у смертного одра Гизберта, сказать ему все, что знала, а потом он должен будет пойти с нею в индийский домик и собственноручно взять злополучную маленькую серебряную книжку.

Майнау не заметил ключницы и спокойно повел Лиану в ее комнаты. Оба они невольно отступили назад, когда перешли из голубого будуара в соседний зал: на столе среди комнаты горела лампа, а рядом стоял гофмаршал, выпрямившись и слегка опираясь правой рукой о стол.

– Извините, баронесса, что я явился в ваши комнаты, – сказал он с холодной вежливостью. – Но уже одиннадцатый час, и я сомневался, что ваш супруг согласится переговорить со мною еще сегодня; а так как это необходимо, то я предпочел подождать его здесь.

Майнау оставил руку жены и твердыми шагами подошел к старику.

– Я здесь, дядя! И охотно пришел бы к тебе наверх, если бы ты это потребовал. Что ты хочешь сказать мне? – спросил он спокойно, но с видом человека, который не собирается уступать несообразным требованиям.

– Что хочу я сказать тебе? – повторил гофмаршал, сдерживая гнев. – Прежде всего я желал бы запретить тебе называть меня «дядей». Ты сегодня еще сказал, что порешил с прежними друзьями. Я же принадлежу им душою и сердцем, плотью и кровью, значит, этот разрыв разлучает тебя навсегда и с братом твоего отца.

– Я сумею перенести эту потерю, – сказал Майнау, побледнев, но спокойным ясным голосом. – Будущее покажет тебе, что ты выиграл, поставив все на карту. Один из так называемых друзей поспешил сообщить мне, когда я уезжал из герцогского замка, что ты через меня попал в опалу. – При спокойно произнесенном слове «опала» гофмаршал поднял руки, как бы желая предупредить произнесение рокового слова. – Такая жалкая, мелочная месть человеку, не причастному к делу, может возбудить только отвращение, и неужели у тебя не остается ничего иного, как по возможности скорее отделаться от своих единственных родных, отрешиться от всего, что в действительности могло быть целью твоей жизни, твоего одинокого будущего? И неужели это должно было непременно случиться сейчас, в эту же ночь, чтобы ты мог завтра же утром известить о своем совершенном разрыве с падшим племянником и именем Бога молить о возвращении герцогского благоволения? Чего же лишаешься ты от...

– Чего я лишаюсь? – крикнул гофмаршал. – Солнечного света, необходимого мне для дыхания! Я умру, если эта опала продолжится хоть только месяц... Как ты об этом думаешь – это твое дело, я об этом не забочусь.

Проговорив последние слова, он пошатнулся и, чувствуя, что не в силах более стоять на ногах, опустился в ближайшее кресло. Майнау с презрением обернулся к нему спиной.

– В таком случае мне нечего напрасно терять слова, – проговорил он, пожав плечами. – Я считал своей обязанностью еще раз напомнить тебе о твоих родственных чувствах к Лео.

– Ага! Вот мы наконец и добрались до того пункта, который вынудил меня искать встречи с тобой... Мой внук, сын моей единственной дочери...

– Мой сын, – прервал его Майнау совершенно спокойно, повернув к нему лицо. – Само собою разумеется, он останется при мне.

– Никогда!.. На первое время ты можешь тащить его во Францию, – я, конечно, не могу этому воспрепятствовать. Но не далее как через несколько месяцев ты узнаешь, что значит дерзко вызывать на бой всеильную светскую и духовную власть.

– Я мог бы бояться, – сказал Майнау с презрительной иронией, – если бы не стоял здесь на

своих собственных ногах... Я знаю, куда ты хочешь направить удар. Ты думаешь, что если я дал моему католику-сыну протестантку-мать и выбрал для него законоучителем либерального богослова, то церковь считает себя вправе потребовать принадлежащую ей душу, чтобы спасти ее. Разумеется, права отца не принимаются в расчет папскою властью. Да и кто же станет спорить о такой мелочи в то время, когда приговоры светской власти и решения представителей народа считаются в Риме за мыльные пузыри!.. Я мог бы перейти на сторону врагов клерикальной партии, если бы не предпочитал один ожидать на своем рубеже нападения черной толпы. Пусть подходит.

– И подойдет, будь в этом уверен! Твоя вероломная оппозиция будет наказана, как того заслуживает и как верные должны желать! – воскликнул гофмаршал в желчном раздражении. – Пеняй на себя, на свой строптивый дух, на свою беспокойную голову, с которой ты думаешь одержать победу; но через нее-то ты и потерпишь фиаско! Спроси завтра всех придворных – они единодушно скажут тебе, что ты сегодня вечером был не в своем уме. Человек в здравом рассудке...

– Не несет прямо своей головы, а пресмыкается перед властью имеющими, хочешь ты сказать?

– Я хочу сказать, что твои поступки и вообще твое поведение в последние дни так странны, что требуют медицинского приговора! – заключил старик вне себя от бешенства.

– А! Так вот брешь, в которую хочет ворваться светская власть... – Мертвенная бледность покрыла на секунду прекрасное лицо Майнау. Он был глубоко раздражен, но, скрестив на груди руки, проговорил небрежно, хоть и едко:

– Удивляюсь тебе: ты, такой опытный дипломат и придворный, и вдруг, в гневе, выдаешь тайно обдуманый план действий... Так, значит, когда борьба с клерикалами счастливо минует, тогда выступит на сцену суд и объявит человека «безумным» только потому, что он боролся и что многочисленное придворное общество, и, конечно, с герцогиней во главе, подтвердит клятвою, что он однажды вечером был не в своем уме.

Гофмаршал поднялся с места. – Я попрошу в моем присутствии не злословить об особе герцогини, – протестовал он своим неприятно резким голосом. – Впрочем, я с намерением сообщил тебе так называемый план действий. Ты должен его знать, потому что я не хочу доводить дело до крайности и, как Майнау, считаю своим долгом насколько возможно избегать скандала. Но я не отступлю ни на йоту от своих требований уже ради моей усопшей, истинно веровавшей дочери, а потому спрашиваю тебя коротко и ясно: хочешь ли ты добровольно предоставить мне Лео, на которого я имею такое же святое право, как и ты?..

Далее он не мог продолжать, так как Майнау прервал его речь громким смехом. В эту минуту молодая женщина проскользнула в уборную, а оттуда в колоннаду. Нельзя было медлить ни минуты. Беспрецедентная выходка гофмаршала ясно доказывала ей, что в своем несправедливом требовании он рассчитывает на могущественную поддержку. Уверенному в победе жалкому гофмаршалу, с руками убийцы, суждено было вторично пасть, и на этот раз по своей собственной тяжелой вине! Как болело ее сердце за Майнау! Как любила она его, выдержавшего так мужественно неизбежные последствия своей любви к ней.

Она забыла, что оставила в зале мантилью и капюшон; не заметила, как прислушивавшиеся к спорящим голосам лакеи отступили перед ней в сенях, когда она, с обнаженной головой и плечами, в роскошном бальном наряде выбежала из дому.

Индийский сад представлялся ей опять в том же волшебном виде, освещенный серебристыми лучами бледной луны, как и в первую ночь, проведенную в Шенверте; но какую разницу представляли эти обе ночи! Еще сегодня же, несмотря на поздний час, суждено было, чтобы карающая рука Немезиды совершила переворот в доме баронов Майнау так же быстро, как буря сокрушила могучий банан.

Лиана шла так скоро, как будто и не касалась земли, отчего среди ночной тишины неприятно раздавался шелест ее длинного шлейфа. Войдя в густую аллею, любимое местопребывание попугаев и обезьян, она вздрогнула и остановилась: шум чьих-то шагов коснулся ее слуха.

– Кто тут? – спросила она, осторожно отступая к выходу.

– Егерь Даммер, баронесса, – отвечал человек с заметным смущением.

Она свободнее вздохнула и пошла вперед, а он, почтительно поклонившись, прошел мимо и остановился у противоположного выхода. Бросив взгляд в сторону, она поняла, что привело сюда Даммера: опустив глаза и пряча вспыхнувшее лицо, ей приседала одна из хорошеньких служанок замка; молодыми людьми, разлученными перемещением егеря в Волькерсгаузен, назначено было здесь свидание. У Лианы точно гора свалилась с плеч при мысли, что поблизости находятся живые люди.

Дверь индийского домика была заперта, окна завешены, а разбитые стекла двери забраны досками. Лиана тихо постучала, и осторожная рука отодвинула немного в сторону одну из плетенок. Вслед за тем дверь бесшумно отворилась.

– Если бы черный пришел, так не попасть бы ему сюда, – шепнула Лен, задвигая опять задвижку.

Покойница лежала на своей тростниковой кровати, покрытая белым полотном, а в кресле полулежал утомленный Габриель и спал глубоким сном. Ключница прикрыла его теплым одеялом; грустное личико его казалось еще бледнее от темной обивки кресла. Эта картина освещалась трепещущим пламенем восковых свечей, горевших в серебряном канделябре.

– Тоже остаток прежнего величия, который мне удалось спасти от жадного старика, – сказала ключница, указывая на великолепный канделябр. – Бедняжка была такою же госпожой в замке, как и другие, – пусть же будут отданы ей и последние почести.

Осторожными движениями откинула она покрывало. «Сердце бедного „цветка лотоса“ перестало уже биться, а между тем казалось, что прекрасная белая водяная роза на груди мерно поднимается от ее дыхания. Подушка и платье покойницы были усыпаны целыми водяными цветами.

– Их принес Габриель, – сказала Лен. – Это были ее любимые цветы, и бедный мальчик не раз получал за них побои от садовника, когда попадался ему у пруда.

С этими словами она нежно приподняла с подушки голову умершей, а Лиана дрожащими руками сняла с шеи цепочку; также легко вынула она и книжку из похолодевших пальчиков: они не оказывали уже ни малейшего сопротивления... Молодая женщина надела на себя цепочку, а злополучную книжку спрятала на груди.

– До завтра, – сказала она Лен глухим голосом и вышла вон.

Какое-то необъяснимое чувство стеснило ей грудь и заставило замирать ее сердце, как будто, надевши на себя серебряную цепочку, она пророчила свою собственную гибель. Напрасно всматривалась она с веранды в окружающую ее местность, напрасно прислушивалась, затаив дыхание, к малейшему шороху, – не было и признака присутствия вблизи ее живого существа. Ловчий и его невеста, верно испуганные ее появлением, ушли уже из сада. Но, сходя со ступенек веранды, она невольно содрогнулась – ей было страшно идти одной, а между тем она совестились снова постучаться в запертую дверь и просить Лен проводить ее. Медлить тоже нельзя было: на ней лежала ответственность за каждую лишнюю минуту борьбы Майнау за своего сына.

Она быстро сбегала со ступенек и миновала розовый кустарник, но тут стоял тот, чье присутствие она предугадывала; лицо его было бледно и расстроено, и белое пятно гуменца как-то странно выделялось на его темных кудрявых волосах, когда он, торжественно кланяясь, наклонял голову.

В первую минуту кровь молодой женщины застыла в жилах от страха, но вслед за тем в ней поднялось такое глубокое чувство гнева, какого она до этих пор никогда еще не испытывала. И это чувство одержало верх – оно сделало ее суровую, беспощадную... Подобрав около себя платье дав, чтобы и край его не коснулся заграждавшего ей дорогу человека, она хотела пройти мимо не отвечая на поклон. Но он снова загородил дорогу и даже осмелился коснуться ее обнаженные руки, желая удержать ее. При этом прикосновении Диана побледнела. С силою оттолкнув ее. Она несколько раз вытерла дорогим кружевным рукавом то место, до которого коснулись его пальцы.

– Безжалостная! – воскликнул он. – Вы выходите от умирающей...

– От умершей... от умершей в язычестве, то есть, как мы, христиане, говорим, умершей телом и душой. Вам лучше знать, точно ли Бог принимает душу только из рук священника, хотя бы эта рука служила подлогам и не содрогалась ни перед чем, что может предать душу в распоряжение духовной власти?.. Сойдите с дороги! – приказала она гордо и запальчиво. – Истинным священникам я с уважением уступаю дорогу, и, слава Богу, у нас еще есть такие! А вы открыли мне свои карты, и я вижу, что в вас нет и тени благочестия, и меня не удивляют те театральные фразы, которые я сейчас слышала из ваших священнических уст. Пропустите меня!

– Куда вам спешить? – спросил он насмешливо, но голос его изобличал глубокое волнение. – Вы как раз вовремя поспеете, чтобы видеть, как произойдет окончательный разрыв между дядей и племянником, как интересный господин фон Майнау порвет все свои прежние связи и отношения, чтобы исключительно принадлежать вам.

Значит, он опять подсматривал, притаившись за колоннами у стеклянной двери, а потом последовал за ней, как и в первую ночь. В эту минуту ей удалось пройти мимо него, но она принуждена была идти по самому берегу пруда, так как он снова нагнал ее.

– Да, исключительно вам, баронесса! Ваша угроза покинуть Шенверт, без сомнения, привела его к вашим ногам; но как и когда? Я отдал бы полжизни за то, чтобы узнать это... Но сегодня в концертном зале ваше прекрасное лицо блистало торжеством: вы гордитесь им, но надолго ли?.. «Мотылек должен порхать», – сказала герцогиня, и я тоже скажу: блестящий мотылек должен порхать, чтобы свет мог удивляться радужным цветам этого оригинального существа. Вы можете рассчитывать многое на один год вашего гордого счастья и ни одним днем более.

– Хорошо! – возразила она, подняв голову. Невольно отступая перед священником, она постепенно дошла до самого края пруда; тут она остановилась, скрестив на груди руки, а прекрасное лицо ее, освещенное луной, сияло неподдельным восторгом. – Один только год, но целый год невыразимого счастья! Я люблю его, люблю всею силой души и буду вечно любить, и этот год взаимной любви я с благодарностью принимаю из его рук.

Подавленный крик бешенства и отчаяния вырвался из его груди.

– Вы клевете на себя, – воскликнул он, – чтобы удовлетворить вашу трахенбергскую гордость тем сознанием, что этот Майнау действительно хоть на мгновение находится у ваших ног... Вы не можете любить того, кто при мне и многих других обходился с вами с такою ледяною холодностью, который целому свету показывал, что ему неприятно даже прикосновение к вам. Он оскорблял вас так, как больнее не может мужчина оскорбить женщину, и вы хотите уверить меня, что не замечали этого, не чувствовали его оскорблений и не краснеете и в эту минуту при воспоминании о них? Посмотритесь в это прозрачное зеркало! – Он указал на неподвижную поверхность воды. – Взгляните в ваши собственные глаза там!

Вы не можете повторить, что за минутную прихоть вы осчастливите его упоительным блаженством любви.

Она действительно взглянула на воду под влиянием неопишуемого страха, который наводили на нее устремленные на ее лицо огненные глаза священника.

– Вы ведь любите этот пруд, прекрасная баронесса, – сказал он тихим, глухим голосом, как будто сообщал ей тайну. – Вы проговорились мне, что предпочитаете его мягкие волны моему прикосновению. Посмотрите, как он приветливо манит вас!

Она содрогнулась и с невыразимым страхом взглянула на него.

– Вы боитесь меня? – спросил он с сардонической улыбкой. – Ведь я ничего от вас не требую, кроме одного признания пред лицом этого неподвижного зеркала, что вы не настолько чувствуете влечение к «тому» и отвращение ко мне, как стараетесь уверить меня.

Она призвала на помощь все свое мужество и всю силу воли.

– Это неслыханно!.. По какому праву требуете вы от меня объяснений? Я протестантка, а не ваша духовная дочь; я – госпожа в Шенверте, а вы гость; я – женщина, свято хранящая

слово, а вы – клятвoprеступный священник. Я могла бы дать вам почувствовать мою гордость и молча уйти, но так как вы с угрозой стоите передо мною, то знайте же, что я не боюсь вас, но презираю от глубины души уже потому только, что вы осмеливаетесь так дерзко анализировать и профанировать первую и единственную любовь женщины.

Лиана хотела было уйти, но две сильные руки охватили ее.

– Если я не могу, то и он не должен прикасаться к вам! – долетело до ее слуха.

Она хотела закричать, но горячие губы прижались к ее губам... затем толчок – и стройная женская фигура мгновенно полетела в расступившуюся гладкую поверхность пруда... Страшный крик пронесся над водою, но это был голос не утопавшей, но бежавшей из аллеи служанки, а за нею егеря.

– Мы все видели, бессовестный убийца! – кричала девушка как безумная, протянув руки, чтобы удержать спасавшегося бегством священника. – Спасите, спасите! Держите его!..

Сильным движением оттолкнул он девушку с дороги, как сумасшедший бросился бежать и скрылся в аллее.

Между тем Даммер добежал до пруда и сбросил с себя верхнее платье. В этом месте берег был сух и не топок и почти отвесно спускался на страшную глубину. Вода была неподвижна и прозрачна, как на самой середине пруда. В первую минуту вода сомкнулась над головою Лианы, но вскоре из воды показалось ее затканное серебром тяжелое платье и, подобно блестящим крыльям сказочного лебедя, широко раскинулось по поверхности воды, а затем вынырнула откинутаая назад женская головка, с нее струилась вода и в волосах при лунном свете сверкали смарагды. Это было волшебное зрелище! Поднятые из воды белые руки напрасно искали точки опоры, и теперь только из уст молодой женщины вырвался трепещущий крик о помощи. Страшно тяжелая парчовая ткань, не пропускавшая воду, казалось, держала ее.

Егерь хорошо плавал, но ему пришлось проплыть порядочное пространство – толчок был настолько силен, что несчастную женщину отнесло далеко от берега. Ему, однако, удалось поймать ее за одну руку в ту минуту, как она вторично начала погружаться в воду. Он притянул ее к себе и медленно добрался с нею до берега. Не успел он еще достигнуть твердой земли, как уже бежали к ним по разным тропинкам люди. Страшный, потрясающий душу крик девушки был слышен как в индийском домике, так и в сенях замка. Лен, прибежавшая через розовый кустарник, видела, как ее госпожа чуть не погрузилась во второй раз в воду; из замка же лакеи сбежались как раз вовремя, чтобы вытащить на берег лишившуюся чувств Лиану.

Глава 27

Лен стояла на коленях на траве и поддерживала голову молодой женщины. Она громко кричала и плакала, когда молодая девушка глухим, прерывистым от слез голосом передавала лакеям все случившееся. Девушка сняла свой нарядный белый батистовый передник и нежно отирала им воду с лица и плеч своей госпожи. Это освежающее прикосновение и громкий плач ключницы скоро возвратили сознание молодой женщине.

– Тише, тише. Лен! – прошептала она, приподнимаясь. – Не нужно тревожить барона!..

С приветливою улыбкой протянула она руку своему избавителю, потом энергичным движением поднялась на ноги. Голова у ней кружилась.

Ей казалось, будто деревья гнулись под напором сильного ветра, дорожки вились причудливыми зигзагами, а кругом нее стелился такой туман, что она не решилась идти вперед. Однако Лиана пересилила себя и быстро направилась к замку. Дорогой она испуганно ощупала цепочку: слава Богу, важный документ не остался в пруду.

С каждым шагом головокружение исчезало, и она чувствовала себя все крепче; она шла скоро и изредка оборачивалась к сопровождавшим ее людям и прикладывала палец к губам, когда возглас негодования касался ее слуха.

В сенях суежилась прочая прислуга. Все знали, что случилось что-то неслыханное, но никто не мог сказать, что именно и где. Лакеи исчезли из сеней, страшный отдаленный крик услышан был в кухне и коридорах, кучер гофмаршала клялся, что видел собственными глазами,

как его преподобие точно бешеный пронесся через усыпанную гравием площадку и исчез за северным флигелем... Ко всему этому из комнат баронессы беспрерывно доносился взволнованный, дрожащий от гнева голос гофмаршала, по временам прерываемый убеждающими или грозными словами молодого барона...

В это время Лиана переступила порог замка; ее лицо было бледно и неподвижно, как у восковой фигуры; с длинных кос на затканное серебром мокрое платье капала вода, а длинный шлейф ее оставлял за собою светлую полосу на мозаичном полу: она походила на русалку, явившуюся с морского дна за человеческой душой...

Она скрылась в колоннаде, и Ганна бросилась за ней в уборную; у девушки от страха волосы становились дыбом. До ее слуха долетели только обрывки того, что вошедшие с Лианой люди передавали друг другу, и она слышала восклицания гнева и озлобления.

Лиана переделалась с неестественною поспешностью. Она ничего не говорила, только зубы ее стучали от лихорадочной дрожи. Из дверей соседней комнаты доносился к ней резкий, крикливый голос неугомонного гофмаршала; можно было расслышать каждое его слово... Он с наслаждением осмеивал своих умерших братьев и их «бродяжническую» жизнь. Он коснулся самого отдаленного прошлого, чтобы доказать, какой длинный ряд горестей и оскорблений должен был по милости этих двух «сумасшедших» выносить он, настоящий сын своих отцов, олицетворение правил и добродетелей, присущих истинному дворянину.

На все возражения Майнау он отвечал презрительным смехом: что мог ему сделать этот раздраженный молодой человек, безостановочно шагавший взад и вперед по комнате.

Завтра он должен будет оставить Шенверт, и хотя они оба имели на него одинаковые права, но после всего обидного, что злой язык одного высказал сегодня другому, они не только не могли жить вместе, но не могли даже дышать одним воздухом. А что гофмаршал, как старший представитель рода Майнау, не уступит – это было несомненно.

Ганна, насколько возможно, старалась просушить густые косы своей госпожи и надела на нее черное домашнее платье. Взглянув на Лиану, она испугалась и задрожала – так страшно бледными казались от черного платья ее лицо и судорожно сжатые синеватые губы.

– Баронеса, не ходите туда! – умоляла ее со страхом горничная и невольно схватилась за платье молодой женщины, которая уже подходила к двери соседней комнаты.

Дрожащие, горячие пальцы коснулись удерживавшей руки и указали на дверь, выходящую на колоннаду. Горничная вышла и слышала, как заперли за ней задвижку.

– Надеюсь, ты не станешь отрицать, что у Лео проглядывает порядочная доза этой дурацкой крови. Он часто, к моему отчаянию, принимает этот «гениальный шик», который, к несчастью, привился к нашему когда-то почтенному, доблестному имени, – говорил гофмаршал. – Только строгое, благоразумное и богобоязненное воспитание может помочь тут. Еще раз повторяю, что в крайнем случае только железная рука деда может спасти его, и во что бы то ни стало это так и будет! И хотя бы ты стал заявлять о своих родительских правах во всевозможных судах – Лео мой и останется моим!.. Впрочем, у тебя есть кем заменить его, – твоим приемным сыном Габриелем! Ха-ха-ха!

В это время дверь отворилась, и Лиана вошла в гостиную; остановившись перед креслом старика, она сказала:

– Мать Габриеля умерла.

– Пусть она низвергнется в адскую пропасть! – в бешенстве крикнул гофмаршал.

– У нее была душа, как и у вас, а Бог милосерд! – воскликнула Лиана, и лицо ее покрылось румянцем. – Вы истинно верующий, господин гофмаршал, и знаете, что Он – праведный Судия... Если бы вы положили на весы ваше знатное происхождение, строгое исполнение обязанностей вашего звания, то всего этого было бы недостаточно... Где требуется приговор судьбы – там есть и обвиняющий, а она предстоит теперь пред Ним, указывая на следы пальцев на своем горле...

Гофмаршал сидел сначала подавшись вперед и смотрел на молодую женщину с насмешливой улыбкой. При последних словах ее он откинулся назад; от овладевшего им ужаса лицо его исказилось: нижняя челюсть отвалилась, рот открылся, он походил на умирающего

человека...

Майнау, стоявший на противоположном конце комнаты, теперь приблизился к Лиане; он, по-видимому, не слышал ее последних слов, – изменившееся лицо и голос молодой женщины до того поразили его, что он, забыв борьбу, которую выдерживал за своего сына, забыл и кипевший в нем гнев... Он обнял ее и, привлекая ближе к свету лампы, хотел приподнять ее голову, но, коснувшись ее волос, с ужасом отдернул руку.

– Что это? – воскликнул он. – Твои волосы совершенно мокры! Что случилось с тобой, Лиана? Я хочу это знать.

– Баронесса больна! – воскликнул слабым голосом гофмаршал; он опять выпрямился и выразительным жестом указал на лоб. – Я сейчас это заметил по ее театральным движениям, а последние слова подтверждают, что твоя жена в нервном возбуждении и подвержена галлюцинациям. Пошли за доктором!

Лиана отвернулась с презрительной улыбкой и взяла руку Майнау.

– Ты все узнаешь, Рауль, позднее... Еще сегодня утром я намекнула тебе, что имею много грустного, что хотела бы передать тебе. Покойница в индийском домике...

– А, вот и опять галлюцинация! – весело засмеялся гофмаршал. – Но где же именно явилось вам это привидение?

– Перед дверью красной комнаты, господин гофмаршал. Один человек охватил руками тоненькую шейку бедной баядерки и сдавил ее так сильно, что она замертво упала на пол.

– Лиана! – воскликнул Майнау в страшной тревоге.

Он привлек ее к себе и положил ее голову к себе на грудь; он и теперь еще скорее готов был предположить внезапное помешательство у дорогого ему существа, нежели... допустить возможность покушения на убийство в его «благородном Шенверте».

Гофмаршал встал:

– Я ухожу, я не могу видеть помешанных людей.

В его голосе и движениях сказывалось отвращение. Но он не мог держаться на ногах и неверною рукою оперся о спинку ближайшего кресла.

– Успокойся, Рауль! Я докажу тебе, что я не помешана, – сказала Лиана.

Отойдя от мужа, она приблизилась к старику. В эту минуту кроткому и миловидному лицу ее сообщилось выражение суровой решимости.

– Господин гофмаршал, – продолжала она, – человек этот преследовал хорошенькую индианку ночью по всему саду, чтобы отнять ее у умирающего в красной комнате, так что та принуждена была запереться от него... Посмотри на него, Рауль, – прервала она свою речь, указывая на гофмаршала, который, как уничтоженный, стоял с поникшею головой, – барон фон Майнау хочет отнять у тебя сына под тем предлогом, что один он, как единственный истинно честный и благородный представитель рода, имеет право воспитывать наследника своего имени; но от его рук чуть не угасла человеческая жизнь, а интрига, с помощью которой он вынудил брата отвергнуть Габриеля и его мать, кладет неизгладимое пятно на его «ореол дворянина». Ты можешь спокойно слушать его угрозы – никогда не отдадут ему Лео!

Но Лиана горько ошибалась, если думала, что при этих обличениях неминуемо заговорит гофмаршальская совесть. Он очень скоро оправился. Когда она говорила о Габриеле и его матери, он самодовольно покачивал головой и наконец разразился громким смехом.

– Картина моих преступлений очень искусно сгруппирована, прекрасная баронесса... Ведь я говорил, что эти женщины, с рыжими волосами, обладают дьявольскою способностью к интригам. Какой пикантный рассказ!.. И вы передаете его с таким театральным эффектом, наскоро набросив траурное платье, которое, сказать мимоходом, делает вас бледной и некрасивой, как привидение.

– Дядя, ни слова больше! – воскликнул ожесточенный Майнау, в первый раз указывая на дверь.

– Хорошо, хорошо, я уйду, когда мне вздумается! Но теперь и я считаю своим долгом пролить свет на эту историю... Я понимаю, баронесса, отчего вы вдруг заговорили со мной таким вызывающим тоном. Пока мы тут спорили, вы, сгорая весьма простительным

любопытством, отправились в индийский сад, чтобы присутствовать при кончине «несчастной женщины». Подобное зрелище, понятно, возбуждает нервы, приятно щекочет жаждущую ужасов сатанинскую способность женской натуры...

– Прошу тебя, Рауль, не делай ничего, в чем бы потом тебе пришлось горько раскаиваться! – воскликнула Лиана, обняв обеими руками Майнау, который, вне себя, хотел было броситься на ядовитого старика.

– Женской натуры, – повторил старик, злобно улыбаясь, так как Майнау, топнув гневно ногою, повернулся к нему спиной. – Может быть, к разбитой параличом «бедной баядерке» на мгновение возвратилась способность говорить, и она в предсмертном бреде болтала подобные вещи, но кто же из людей здравомыслящих поверит таким несообразностям и придаст им значение серьезных обвинений?.. Кто бы вы ни были, попробуйте рассказать эти интересные новости моим друзьям и знакомым, вам никто не поверит. Меня все знают, а про вторую жену моего зятя всякий скажет, что она мастерица строить козни...

– Продолжай, Лиана! Я боюсь, что его друзья и товарищи услышат такие вещи, которые сильно поколеблют мнение о его врожденном благородстве, – сказал Майнау, – но говори мне: ведь ты слышала, что господину гофмаршалу нет до этого дела, а я, напротив, глубоко заинтересован.

– Женщина в индийском домике умерла до моего прихода; ее уста не разверзались тринадцать лет, так она и умерла! – возразила молодая женщина; она вдруг замолчала и закрыла глаза, потому что опять почувствовала головокружение; она крепко оперлась о стол и спеша продолжала говорить:

– То, что мне известно, я узнала от свидетеля, который не оставлял Шенверта со дня возвращения дяди Гизберта из Индии, этот свидетель не бредит, но знает наверно и может клятвенно подтвердить свои слова.

Лиана исключительно обращалась к Майнау, как будто гофмаршала и не было в комнате. Она рассказала, как с помощью придворного священника сделался он господином Шенверта, как с утонченною жестокостью разлучил дядю Гизберта с женщиною, которую тот любил до последнего вздоха...

По временам, при ее рассказе, слышалось насмешливое хихиканье или раздавалось глухое проклятие, но Лиана не смущалась. Когда же она в первый раз произнесла имя Лен, ей пришлось остановиться.

– Бестия! Змея! – прервал ее гофмаршал со злобным смехом. – Так вот кто ваша поверенная, баронесса?.. Вы слушали сплетни самой грубой, самой неотесанной женщины из всей шенвертской прислуги и, основываясь на ее донесениях, атакуете меня, меня?

– Дальше, Лиана! – настаивал Майнау, бледнея. – Не смущайся! Я теперь все понимаю!

– Если вам и удалось бы опровергнуть все доказательства Лен, так как вы сами бдительно следили в то время за малейшими событиями в Шенверте, то одного не можете вы отрицать, потому что не знаете о случившемся тогда факте, – обратилась еще раз молодая женщина к гофмаршалу. – Несмотря на вашу бдительность, индианка виделась с дядей Гизбертом за несколько дней до его смерти, и он умер с убеждением, что ее безвинно оклеветали.

– Ба! Вы рисуете слишком яркими красками, милая баронесса. Вы должны бы знать, что вероятия заслуживает лишь то, что основывается на несомненных данных, – возразил гофмаршал с хорошо разыгранным равнодушием, хотя голос его еще никогда не звучал так глухо. – Я, конечно, не знаю об этой чувствительной сцене – и это весьма понятно! Она, как и все прочее, плод досужей фантазии... Впрочем, что же так долго и терпеливо выслушивать ваши ничтожные бредни! Я всегда дома, и вы можете во всякое время прислать ко мне наверх приказного служителя, которого вы так любезно желаете навязать мне на шею... Ха-ха-ха!.. Отправляйтесь-ка теперь спать, баронесса! Вы ужасно бледны и, кажется, едва держитесь на ногах; да, да, говорят, что импровизации истощают физические силы... Покойной ночи, моя прекрасная неприятельница.

– Нет, дядя! – воскликнул Майнау, став перед дверью, к которой торопливо приближался гофмаршал. – Я слишком долго слушал с невозмутимым терпением, как ты поносил моих

родных, и теперь требую, чтобы и ты остался тут до конца объяснения, если не хочешь потерять в моих глазах последнего остатка твоей «рыцарской чести»

– Poltron¹¹! – прошипел гофмаршал и бросился в кресло.

Молодая женщина рассказала последнее происшествие у смертного одра дяди Гизберта. В комнате царствовала мертвая тишина; но когда она описала, как умирающий особенно тщательно приложил к записке две печати, то оба слушателя встрепенулись.

– Ложь! Бессовестная ложь! – закричал гофмаршал.

– А! – воскликнул Майнау, как будто светлый луч вдруг блеснул среди мрака ночи. – Дядя! Герцогиня и ее свита должны будут засвидетельствовать, что видели перстень со смарагдом, о котором ты тогда же рассказал, что дядя Гизберт торжественно вручил его тебе при свидетелях десятого сентября... А записка, которой он таким образом хотел придать законную силу, – существует ли она еще, Лиана?

Молодая женщина молча, дрожащими руками сняла с шеи цепочку и отдала ее мужу.

Маленький медальон был точно спаян, – никакого следа какой-нибудь механики не было видно. Майнау пропустил свой острый карманный ножик между обеими половинками книжки, и тонкая крышка сломалась... но так счастливо, что обе печати остались невредимы. Записка лежала в том же самом виде, как положила ее туда индианка, покрыв поцелуями.

– Эти оттиски, которым так умно придана законная сила, служат неопровержимым доказательством не только для меня, но и для тебя, дядя, так как ты заявил, что приложение этой печати важнее для тебя самой подписи.

Ответа не было.

– Мнимая царапина на камне выступает тут очень ясно. Завтра, при дневном свете, мы можем полюбоваться в лупу на красивую мужскую голову... А вот внизу и число, подчеркнуто два раза:

«Писано 10 сентября».

Он на мгновение закрыл рукою глаза, а потом развернул бумагу.

– Ко мне адресовано? Ко мне? – воскликнул он в глубоком волнении...

Подойдя ближе к лампе, он громким голосом прочитал содержание записки.

Сначала умирающий объяснял, что вследствие своей физической и умственной слабости он находился как бы в плену у своего брата и у священника. Хотя его и уверили в измене индианки, он все-таки хотел упомянуть о ней в своем духовном завещании; но они всеми средствами старались препятствовать ему в том; даже доктор был подкуплен ими и просьбу его – пригласить следственную комиссию – называл лихорадочным бредом. В такие минуты все старались описывать ему в самых черных красках проступок и нравственное падение отвергнутой женщины, преступность его прежних отношений к ней, и он, тревожимый галлюцинациями, покорялся им по своей бесконечной слабости... Но теперь он узнал, что бессовестно был обманут ими, что у него есть сын, существование которого от него тщательно, скрывали. Он знал еще, что брат его преследовал своею бешеной страстью любимую им женщину и старался лишить ее всякого наследства, чтобы окончательно забрать несчастную в свои руки... Из всех окружающих его негодяев не было ни одного человека, которому было бы знакомо чувство сострадания; в эту минуту полнейшего одиночества он вспомнил о своем юном племяннике «с пылкой буйною головой, но с великодушным сердцем». Ввиду приближающейся смерти, ежечасно ему угрожающей, он обращается к нему со своей последней просьбой. Он считал своей обязанностью смыть пятно с репутации индианки, – пятно, которым заклемила ее клевета: она никогда не была баядеркой и была чиста и непорочна, когда согласилась быть его подругой. Далее, он признавал маленького Габриеля своим сыном и заклинал племянника взять под свое покровительство обоих несчастных, помочь им предъявить свои права, чтобы получить третью часть всего наследства и признать за ребенком имя его отца... Лен, эта преданная душа, должна для верности лично вручить ему эту

¹¹ Трус! (фр.).

записку, достоверность которой он засвидетельствовал тем, что тотчас же после приложения печати передал перстень со смарагдом в «изменнические» руки своего «развращенного» брата.

– Прекрасно! Прекрасно! Нечего сказать, лестной характеристики удостоил меня этот «господин бродяга», достойная благодарность за все бессонные ночи, которые я проводил у его постели, ухаживая за ним во время его болезни! – сказал гофмаршал с нервным подергиванием в лице, между тем как Майнау прятал дорогой документ в свой боковой карман. – Он до самой смерти был бесхарактерным человеком и растаял, слушая сплетни двух лживых женщин... Одно только бесит меня, что такая личность, как Лен, осмелилась провести меня.

Майнау далеко отступил от говорившего, как бы гордясь тем, что не имеет ничего общего «с благороднейшим, честным представителем своего рода».

– Могу ли я завтра же, как уполномоченный дяди Гизберга фон Майнау, представить это в суд? – спросил Майнау, указывая на свой боковой карман.

– Не торопись, мы еще подумаем... У нас тоже есть свои документы. Посмотрим еще, кто победит: ты ли со своею запиской, или церковь с документом, который лежит в ящике редкостей? Придворный священник еще здесь, а это не такой свидетель, как Лен... Гм! Мне кажется, знаменательная записка, которую ты так нежно прижимаешь к сердцу, обойдется тебе дороже, нежели ты думаешь... А пока обрати внимание на свою супругу! Недостойная интрига, которую она так любезно вывела на сцену, произвела, кажется, и на нее довольно сильное впечатление.

Еще во время чтения Майнау Лиана чувствовала нервную дрожь. Ей казалось, что комната наполнилась подвижным, красным, как кровь, туманом, среди которого прыгало искаженное лицо гофмаршала... Потом в глазах у нее совершенно потемнело. С полусознательною улыбкою протянула она обе руки к Майнау, и он едва успел принять в свои объятия молодую женщину, как она с глухим криком лишилась чувств... Через пять минут летел в город экипаж, чтобы привезти докторов для сильно заболевшей владельницы Шенверта.

Глава 28

Над Шенвертской долиной стояли ясные осенние дни. Мягкий, теплый воздух был пропитан ароматом резеды и созревших плодов; дикий виноград вился густою сетью по серой стене башни и вокруг величественных колонн открытых галерей.

В двух окнах нижнего этажа были спущены голубые занавесы; одно окно было отворено, и ароматный послеполуденный воздух, врываясь в комнату, колебал тяжелые шелковые занавесы, раздвигая их по временам, и тогда узкий луч света проникал в голубой полусвет комнаты, отражаясь на красновато-золотистых волосах, рассыпавшихся по белому одеялу... Не одну неделю длилась ожесточенная борьба между жизнью и смертью в этой изнуренной, бессознательно лежавшей в постели молодой женщине... Но со вчерашнего дня доктора стали надеяться на выздоровление, и теперь, когда дрожащий солнечный луч коснулся спокойно дышавшей груди, поднялись темные ресницы, и большие серые глаза бросили первый сознательный взгляд, который остановился на муже, сидевшем в ногах кровати. Это было его постоянное место с тех пор, как он принес сюда бесчувственную Лиану; тут в первый раз в своей веселой, беззаботной жизни испытал он всю степень невыразимой душевной тревоги, которая заставляет нас желать себе смерти у кровати больного, потому что сердце разрывается на части при виде страданий дорогого существа и кажется, что с последним его вздохом наступит вечная непроницаемая ночь.

– Рауль!..

Кто бы мог сказать ему, когда он в церкви Рюдисдофского замка так равнодушно выслушивал «да», произнесенное этими устами, что в скором времени один слабый звук этих самых уст заставит его сердце трепетать от блаженства!.. Он притянул к себе маленькую ручку, покрыл ее поцелуями и приложил палец к губам. Лиана взглянула в сторону, и удивленные глаза ее заблестели. От стола подходила к ней, с ложкою лекарства в руке, некрасивая девушка

с покрытым веснушками лицом и жесткими огненными волосами, – то была Ульрика! Еще в ту страшную ночь Майнау вызвал телеграммой ее сестру, и эта некрасивая девушка, с решительным характером и твердою волей, с сердцем, исполненным нежности и материнской любви к его молодой жене, сделалась его другом, его опорой. Никто, кроме нее, не смел приближаться к Лиане. Нелегка была ее забота о двух существах, но Ульрика с радостью приняла ее на себя.

Оба знаками просили больную не говорить, но она улыбнулась и прошептала:

– Что делает мой мальчик?

– Лео здоров, – сказал Майнау. – Он пишет ежедневно по полдюжины нежных писем к своей больной маме, – вон там они все собраны – А Габриель?

– Он живет в замке, в своей комнате, рядом с комнатой наставника, который занимается с ним, и с величайшим нетерпением дожидается той минуты, когда позволят ему с благодарностью поцеловать руку своей прекрасной мужественной защитницы.

Глаза больной снова закрылись, и она впала в глубокий сон, предшествующий выздоровлению.

Спустя восемь дней Лиана под руку с мужем прошла в первый раз по своим комнатам. Был последний день сентября, но небо было еще сине и безоблачно, и пожелтевший лист изредка падал на землю. Верхушки штамбовых роз были покрыты множеством цветов, трава на лужайках зеленела, как весною. День был такой светлый и теплый, как будто никогда не могло наступить ни ночи, ни зимы.

Молодая женщина остановилась у стеклянной двери в гостиной.

– Ах, Рауль, какое блаженство жить и...

– И что. Лиана?

– И любить!.. – сказала Лиана и прижалась к его груди.

Но почти в ту же минуту она вздрогнула и стала прислушиваться к глухому стуку колес.

– Это Лео катается в галерее на своих козликах, – объяснил Майнау. – Будь спокойна, кресло, которое и днем и ночью преследовало тебя в лихорадочном бреду, давно уже не катается по Шенвертскому замку... – В первый раз он напомнил ей о роковом происшествии и тотчас же закусил себе губу. – Я должен объяснить тебе многое и прежде всего успокоить тебя; доктор позволил теперь говорить с тобой обо всем. Но я еще не могу этого сделать, как не в состоянии войти в индийский сад, где случилось с тобою несчастье. Ульрика, наша мудрая, благоразумная Ульрика, сообщит тебе в голубом будуаре все, что ты желаешь и должна узнать.

Лиана опять лежала на кушетке в будуаре, голубая обивка которого прихотливыми складками спускалась над ее головой. Того, что она пережила и выстрадала с той минуты, как в первый раз переступила порог этого маленького голубого будуара, было бы довольно на целую человеческую жизнь, а ей пришлось испытать это в несколько месяцев. А между тем нельзя было уничтожить ни одного звена из цепи обстоятельств, воспламенивших двух сначала равнодушных друг к другу, а под конец так быстро сблизившихся людей. Лиана еще не могла свободно и без опасения заглядывать в прошлое, не зная, что произошло после того, как она, падая в обморок, видела гофмаршала, дерзко и надменно стоявшего против Майнау то с угрозой, то с насмешкой на устах... Эта картина так глубоко врезалась в ее память, что и в горячечном бреду преследовала ее и не давала ей покоя, подобно тем неотвязчивым жасминным духам, которыми по временам точно обрызгивала ее невидимая рука насмешливо посматривавшей на нее из-под тяжелых атласных складок «сотканной из кружев души» покойницы.

Ульрика сидела возле нее, когда вошла Лен и принесла корзинку винограда, собственноручно срезанного для дам Майнау.

– Это со шпалерника, исключительно принадлежавшего гофмаршалу, – сказала она. – Это лучший виноград из всего сада; самые лучшие гроздья он всегда посылал герцогине, а остальные продавал за большие деньги, даже маленькому барону Лео не давал ни одной ягодки!

Очевидно, Майнау предупредил ее: она так свободно сообщала о прежних обыкновениях, как до сих пор не смела даже подумать.

– Когда уехал старый барон из Шенверта? – спросила Лиана, не оборачиваясь.

– На другой же день, баронесса. Он ночью вышел из колоннады, где мы все еще продолжали стоять. Таким злым я еще никогда в жизни не видала его; ну да я знала, что было этому причиной. «Что вы все собрались тут и подслушиваете! – крикнул он. – Смотрите-ка, да их здесь целая компания! Ступай к его преподобию и скажи, что я убедительно прошу его прийти ко мне в спальню», – приказал он, обратясь к Антону. Последний как привидение приблизился к нему, а мы разбежались в разные стороны. «Ну, что там?» – крикнул он Антону, а тот и рассказал ему все, что случилось, и добавил, что не может просить придворного священника, потому что он давно уже убежал неизвестно куда. Я стояла за лестницей и все видела и слышала, и выражение его лица, мне кажется, я никогда не забуду. Антон должен был помочь ему взойти на лестницу. Спать он совсем не ложился, но всю ночь укладывался. Раза два отворял дверь к священнику и заглядывал в темную комнату, думая, что этот, с бритой головой, непременно там... На другое утро, ровно в семь часов, он выехал за ворота Шенвертского замка.

– Жалкий субъект этот гофмаршал, – сказала Ульрика в то время, как Лен понесла остальной виноград к Лео на усыпанную гравием площадку, где тот катался на своих козликах, исполняя должность кучера, а Габриель сидел в экипаже. – Он даже не простился со своим внуком, кажется, просто забыл о нем... Через несколько дней после отъезда он напомнил о себе, прислав адвоката, чтобы получить третью часть наследства дяди Гизберта... Шенверт будет продан. Раз выехавши из него, Майнау никогда уже не захочет возвратиться сюда. При одном виде пруда он приходит в страшное волнение... Во Францию он тоже не поедет теперь, потому что хочет по возможности сам управлять своими имениями, но впоследствии побывает там непременно... Знаешь ли, душа моя, где в этом году зажжется для тебя елка? В белом зале Рюдисдорфского замка, на том самом месте, где зажигал ее для нас покойный папа.

Майнау нанял у кредиторов на несколько лет замок и парк; там ты должна совершенно оправиться. Я поеду отсюда прежде вас, чтобы все приготовить к вашей встрече. Новая мебель уже заказана... Магнус пишет, что Лена как сумасшедшая носится по замку и не помнит себя от радости, что возвращается «знатное» время... Мама, разумеется, не будет жить с нами. Она так же счастлива, как и Лена, потому что Майнау предложил ей выбрать между Рюдисдорфом и продолжительным пребыванием в Дрездене, конечно, на его счет. Понятно, что она ни минуты не колебалась и останется в Рюдисдорфе только для того, чтобы прилично встретить и приветствовать тебя и твоего мужа, а вслед за тем проникнет, как она пишет мне, луч счастья в одинокую жизнь безвинно страждущей женщины... ну, это, положим, зависит от взгляда на вещи, дитя... Лен едет с нами. Майнау хочет, чтобы она была постоянно при тебе, так как это безукоризненно честная женщина. Ему не хочется также разлучать ее с Габриелем, который еще некоторое время будет пользоваться отличными уроками наставника, а потом он, как молодой барон фон Майнау, отправится в Дюссельдорф, чтобы развить и усовершенствовать свой замечательный художественный талант. Твой спаситель, егерь Даммер, назначен главным лесничим в Волькерсгаузен и через два месяца привезет туда свою маленькую, храбрую молодую жену... Вот почти и все, что я должна была передать тебе по желанию твоего супруга; он радуется, что устроил все согласно с твоими желаниями... Знаешь, душечка, я не из числа слишком чувствительных душ, но готова воспевать благодарственный гимн, видя, как любят мою любимицу. А что ты скажешь на это, что я, графиня фон Трахен-берг, наняла у кредиторов хозяйственное здание Рюдисдорфского замка, чтобы устроить в нем цветочную фабрику на широких началах? Майнау вполне одобряет мое намерение и дает мне, конечно заимообразно, основной капитал на обзаведение и надеется вместе со мною, что деятельностью и трудом мне удастся постепенно выкупить то, что тщеславие и расточительность подвергли секвестру. Подкрепи меня, Господи, в этом деле!

Она замолчала. А Лиана со счастливою улыбкой на устах закрыла глаза, скрестила руки на груди и затаила дыхание, как бы боясь, чтобы не исчезли упоительные видения счастливой будущности. Вдруг темное облако набежало на ее лицо.

– А черный, Ульрика? – воскликнула она.

– Он исчез бесследно, – отвечала сестра. – Все думают, что он укрылся в каком-нибудь монастыре, где, конечно, будут ему покровительствовать. Он уже не может преследовать тебя. Он никогда не посмеет открыто появиться в свете: это происшествие наделало столько шума, что все протестантское население взволновалось, и даже сама покровительница его, герцогиня, сочла за лучшее удалиться на продолжительное время в Меран «для поправления ее расстроенного здоровья».

Вошел Майнау, а за ним оба мальчика.

– Рауль, как мне благодарить тебя? – воскликнула молодая женщина. Он улыбнулся и сел возле нее.

– Тебе благодарить меня? Смешно! Я, как истинный и неисправимый эгоист, придумал все, чтобы упрочить себе счастливую будущность, а осуществление моих сладостных надежд зависит от моей второй жены.